

**ЛЕОНИД  
ОГНЕВСКИЙ**



**ПЯТЬ  
ЖИЗНЕЙ  
В ОДНОЙ**



НОВИКИ · СОВРЕМЕНИК ·

---

Леонид Огневский

Пять жизней  
в одной

Роман

«Современник»  
Москва  
1980

**Огневский Л. Л.**

**O-38** Пять жизней в одной: Роман.— М.: Современник, 1980.— 288 с.

Роман Леонида Огневского «Пять жизней в одной» рассказывает о жизни деревни, о преобразовании крестьянского быта, о тех великих переменах, какие произошли в Сибири за годы Советской власти. В центре произведения — сложная судьба Родиона Лихова, человека с сильным и смелым характером.

О  $\frac{70302 - 276}{M106(03) - 80}$  61 — 80 4702010200

**ББКУ84Р7**  
**Р2**

# Жизнь первая

## 1

Из густой мглы хвойного леса лошади вынесли на полевой белесый простор — кое-где перелесок и кустик, — и Родька, озираясь по сторонам, убедился, что еще не ночь, сумерки, ветреные сумерки, ночью, ожидай, разыграется пурга. И теперь наискось через дорогу катились снежные вихорки, там, где дорогу перемело и взбугрило, сани проносились с пронзительным свистом. Родька вылупился из пестрой собачьей дохи и стегнул вожжами по серому, в мячиках жеребцу. Тот рванул наборную сбрую и ударил внамет. И вдруг буйно заржал, наверно почуяв близость желанного дома. На его возглас откликнулись Воронухи, старая и молодая, бежавшие с порожними санями позади.

— Эге-гей! — не удержался от радостного восклицания Родион. Лошади как бы разбудили в нем это дремавшее чувство, а дремало оно, пока пробирались по глухому, мрачному лесу; оно дремало нечасто, Родька был молод, здоров, кроме того, удачлив. Вот и сегодня три воза пшеницы распродал к закрытию базара, осталось каких-нибудь полпуда — он помял под собой конопляный мешок с остатками зерна, — и не продешевил, как раньше, — рука его привычно коснулась нагрудного кармана с вырученными деньгами: лежат, миленькие, воркуют, когда их гладишь и мнешь. Еще столько, и можно торговать мельницу. И у него, Родьки, не заржавеет, он сторгует и купит, а со временем заведет крупорушку и маслобойку, — только б не путался под ногами отец!

Родька сощурился от встречного ветра, от летевших в лицо, как градины, ледышек, их выбивал подковами

конь, и затанул вполголоса песню. У нее не было слов, были одни звуки, но и они говорили о том, что ему, Родьке Лихову, все в жизни доступно, все по плечу. Вот заскочит с лошадьми на выселок, постучится в окошко пятистенного дома рядом с проулком, вызовет Варьку и загребет ее, теплую, сдобную, в полы дохи, повалит будто бы шутя в сани и — хлесть по коню, привезет в Займище. Насовсем! Тятка с мамкой ее всполошатся и поднимут канитель. Поканительятся да перестанут, смирятся!

Впереди из сумеречной мути проступило черное расплывчатое пятно — уж не волк ли? — и Родька привстал на колени. Подвода! Только не поймешь, встречная или попутная. Вроде попутная, кто-то едет, может быть, тоже с базара. Кажется, свой, деревенский, Ипат-Ветродуй на задрипанной кляче. Ползет, как вошь по гашнику, уступать дорогу, как видно, не собирается. Вот я тебя проучу!..

Была доля секунды, малая, но была, Родька мог натянуть правую вожжанку, и чуткий Серко посторонился бы, прошел краем дороги, но Лихов не дернул вожжанку, он выхватил бич и огрел им коня, тот, взъярившись, полетел прямо. Тотчас хряснули сани, те, чужие, зацепленные пряслом о прясло, развернулись и отлетели прочь на обочину; лошаденка не удержалась в оглоблях, взбрыкнула и уткнулась головой в снег. Больше Родька ничего не видел, он не оглядывался, посчитал, что выберется из сугроба Ипат, вытащит лошадь. Обиду, наверно, припомнит. Завтра же пожалуется в сельсовет... Зря полез на рожон!..

Но раскаяние донимало Родьку недолго, он подумал и так, что Ветродуй не пойдет жаловаться, не посмеет, да на дороге мог быть и не он, а кто-то другой, незнакомый, а когда по бугру замелькали огни выселка — на выселке Варька! — парень совсем позабыл дорожное происшествие. Чуть поравнялся с Варькиным пятистенником, выскочил из саней и принялся бить кулаком в раму углового окна.

Варька вышла из ворот без головного платка, под черненой шубейкой внакидку.

— Ты откуда... такой?

— Пьяный? Ты мне вместо вина! — Он облапил ее и принялся, куда попадая, целовать. — Еще не увидел,

уже захмелел, а дотронулся — и пошла кругом голова. — Он отыскал губами ее губы.

— Ну, Родька! Ну, хватит! — отбивалась не очень решительно Варька.

— Вот посажу в сани, увезу к себе в Займище, будешь Родькина жена.

— Так я и согласилась, поехала.

— Я без согласия.

— Ну, Родька!.. — взмолилась она, перехваченная железными обручами его рук.

— Отцу, матери сказала, чтобы гоношили приданое?

— Тебе надо, ты с ними и говори.

— И поговорю! Сегодня же продиктую условия! — пригрозил Родион и разнял руки, дал Варьке запахнуть-ся полами шубейки, сам прошел к лошадям, привязал Серка к палисаднику, Воронух к оглоблям жеребца с правой и с левой стороны. — Идем!

Варькин отец Василий Васильевич сидел за столом выстывшей горницы в залатанной стеганке защитного цвета, читал, шевеля губами, газету. За переборкой бренчала посудой Фекла, Варькина мать, туда и стрельнула прямо с улицы дочка. Родион не спеша содрал с себя оттянувшую плечи доху, бросил возле дверей, в полушубке направился в горницу.

— Здорово были, принимайте гостей.

Василий Васильевич ничего не сказал, только мотнул стриженной головой да повел локтем, а это могло означать: или проваливай, больно ты нужен, или садись, раз пришел, куда тебя деть. Родька привык к неласковым приемам в Варькином доме, потому не обиделся. Не хотят знаться, он кланяться особо не будет. И заднего хода не даст. Он достал из кармана пиджака нарядную коробку «Сафо» и без спроса закурил. Уж начнет взаправду бастовать Варька, другой разговор.

— Вот заехал, Василий Васильевич, насчет нашего общего, стало быть, с Варварой. Каким будет ваше последнее слово?

— Что, что? — переспросил тот. Но газету из рук не выпустил, не обернулся. — Ты о чем это, парень?

— Все о том же, Василий Васильевич, уже было говорено. Что ли, забыли? Или недоверие к жениху: не хозяин сегодняшний или завтрашний, не сам себе агроном? Так могу, не хвастаясь, пояснить, что за мной

есть, раз я единственный у отца-матери сын и наследник: хутор в тридцать пять десятин, земля пласт к пласту, засеваётся сортавыми, лошадей в упряжи шесть штук, в посевную тянут три сакковских плуга, кроме того, молодь на воле, коров дойных держим немного, четыре, некуда девать молоко, овец с ягнятами, кур и уток — не считано. Вот в какой дом невеста идет. И еще должен, не похваляясь, сказать: молотилку с конным приводом в то лето купили, косилку и жатку, теперь соображаю насчет мельницы, водяной.

— Рядом с мельницей крупорушку поставишь? — все так же спокойно спросил Варькин отец.

— Крупорушку.

— Маслобойный завод?

— И завод...

— Трактор «фордзон» со временем купишь? И не один, два?

— Для начала хватит одного, там видно будет. А что? — насторожился было жених и начал разнимать рукой дым, чтобы лучше видеть перед собой Василия Васильевича, убедиться, шутит он или серьезно. Будто бы не смеется, всерьез. — Теперь, сами знаете, упор на машины: машиной пахать землю, машиной убирать хлеб. Вон в Америке выдумана такая, величиной с дом, идет по полю, жнет и молотит, чуть ли не насыпает в мешки.

Василий Васильевич отложил в сторону газету, сунул руки в облохматившиеся рукава стеганки; лицо серое, в глазах сухость.

— Не нацелились ли и вы с батюшкой на ту машину-чертовщину американскую?

— Про машину к слову сказал, раз она не у нас, а в Америке. Уж появится и встретится на дороге, будь уверен, в сторону не сверну.

— Дом богат, деньги есть, не хватает малой малости — Варьки?

— Ее.

— Кем же она тебе нужна позарез, хозяйкой в доме али работницей у скотины несчитанной, у посевов на тридцати пяти десятинах земли?

— Хозяйкой. Да я ее барыней сделаю, будет ходить в бархате, есть на серебре! И я, раз я задумал, добьюсь, могу поклясться перед иконой.

— Так ты же, сказывали, безбожник, даже в комсомольцах до прошлого года ходил, значит, твои клятвы перед иконой напрасны. Ох, Родька!.. — Василий Васильевич покачал начавшей сесть головой. — Знаю я вашу породу, что дед твой покойничек был, что отец, не зря его донимают болезни, что сам ты, выходит. Соловьем заливаться вы мастера, мягко стелете человеку, да жестко спать; вечно вы норовите подмять односельчанина под себя, вытянуть из него жилы; не минует вашего благодетельства наизнанку и твоя будущая жена, изломаешь ты ее своими планами и замашками. Нет, не отдам я за тебя девку. Нет, нет! Ты, наверно, слеп и глух, хотя был в комсомольцах, не видишь, не слышишь, куда зовет крестьянина партия и Советская власть.

— А я что? Я ничего... — пробормотал Родион.

— Это покуль вам поблажку даем, ничего. А погладят не по шерстке, взадир? Нет, парень, разные наши дороги. И ни к чему мне твои бархат и серебро, не польстится на них, смекаю, и Варька. Так что не обивай наши пороги и не надейся.

Такого, уж такого Родька не ожидал. И совсем не думал он, что Варька укроется за переборкой и будет молчать. А она там не пикнула даже. Раздосадованный и злой, он подхватил в кутке собачью доху и, не нахлобучив еще треуха, выскочил из избы — к черту! Чтобы еще разговаривал с Варькой? Ни в жизнь!

А она, Варька, уже каялась, что не подала голоса, и сейчас, вот сейчас, когда за окошком зафыркали лошади и завизжал под полозьями снег, спохватилась, заупрекала отца:

— И всегда ты такой поперечный, хочешь, чтобы по-твоему! А вот и не будет по-твоему, все равно уйду к Родьке! Убегом к нему убегу!

— А я тебя ремешком сыромятным еще до убегу да под замок, — пообещал отец.

— Не удержишь! Не справишься! Не те времена!

— И чего девку неволить?.. — проворчала вполголоса Фекла.

Но Василий Васильевич был на ухо востер.

— И ты, старая дура, туда же?

— Чего лихоститься?

— Замолчь!



Родька тем часом нахлестывал бичом и вожжами Серка, гнал в темень распадка с замерзшей Удинкой, к своему Займищу. Хотелось побыстрее скрыться от стыда, от позора, выветрить из головы даже память о Варьке и ее отце. «...Не обивай наши пороги и не надейся». Да с полным удовольствием, на Родькин век девок и баб хватит, только он свистни, мигни!

А еще разжигало Родьку и злило: все учат его жить. Отец то и дело твердит: этак делай, по-иному не смей; мать тычет носом, как несмышлениша: так можно, сынок, этак нельзя. Сегодня взялся учить чужой человек. Да ну их к монаху, у него своя голова на плечах! И жениться будет, ни у кого совета не спросит, а решит заводить мельницу, тем паче ума займовать не пойдет.

И все-таки было досадно, что расстроилось сватовство, потерял Варьку. Теперь уже потерял, точно. И всегда-то в жизни препятствия, сколько ты ни силен, ни удачлив. Не обойдется без препятствий и с мельницей, наверняка будет против отец.

Разгоряченный Серко снежным вихрем влетел в Займище. Перед избенкой в два окна на дорогу, кое-как освещенных коптилкой, Родька осадил жеребца: нет ли следов к воротам Ипата. Кажется, есть... Пришлось подвернуть лошадей к изгороди, заняться осмотром понастоящему. Два полоза прорезали снег, две бороздки еще не задуты начавшейся пургой... Значит, там, в поле, был не кто другой, Ветроуд.

Гремя обмерзшими досками, Родька взбежал на крыльцо и отыскал ошупью скобку входной двери, рванул ее на себя. В холодной и сумеречной избе закачалось, задергалось пламя коптилки, стоявшей на разлапом столе, и сорвалось бы с веревочного тонкого фитиля, да сидевший сбоку Ипат придержал его поднесенной ладонью. Он сидел босиком, его подшитые валенки лежали на полу под ногами. Отклонившись от света, он разглядел нежданного гостя и гаркнул:

— Ты что тут бродишь, охальник? На дороге чуть не угробил, еще лезешь, бессовестный, в дом?! — Рука его потянулась к валенку, Ипат, кажется, хотел запустить им.

Родька кинулся наутек; за ним, топая голыми пятками о пол и на бегу всаживая сперва одну, потом

другую ногу в подшитые валенки, бежал, матюгаясь, Ипат. Догнал уже за воротами.

— Я тебе дам, пакостеныш! В тюрьму засажу него-дья!

И он уже затевал драку, гоняясь за обидчиком возле подвод, да Родька выхватил из саней и бросил ему под ноги мешок с остатком зерна; Ипат так и прилег на него, принялся ощупывать.

— Это у тебя что? Овес? Рожь? Пшеница? Чую, пшеница! А я как раз не купил хлебушка, дорог... Ладно, парень, прошу. Что было, того не было, поезжай. — И уже, поднимаясь и вскидывая на горб полупудовик зерна: — Сам куль конопляный принести али как?

— Пусть остается, — махнул рукой Родион. Он отвязал Воронух и вывел на дорогу Серка, бухнул на сани. — Пошел, Серый! — Но сильно гнать жеребца больше не стал, поехал к себе мелкой рысью. Сзади трусили Воронухи, старая обдавала теплым дыханием, молодая прядала ушами, той не терпелось скорее домой.

Летел сухой снег, возле дома сквозь муть пробивался огонек фонаря «летучая мышь» — запоздалого базарника встречал живший в семье дальний родственник и дружок Степка.

— Разыгралась пурга, свету белого не видать, я уж думал, плутанул в потемках.

— Обошлось, — солидно сказал Родион, выбираясь из саней и отряхивая с себя снег. — Как дома? Отец ходит маленько?

— Лежит.

## 2

Аверьян занемог позапрошлой осенью, перед снегом: ездил в город продавать хлеб и на обратном пути, перебираясь через речку, застрял меж обледенелыми валунами, промочил ноги. Но значения случаю не придал, подумал, мало ли бывало и раньше, и зимой тебя остудило, и летом нажгло, ты перемог хворь на ногах, она от тебя и отстала.

Эта решила не отставать, сжала, как тисками, суставы, сперва коленные, потом и локтевые; Аверьян еще посопротивлялся болезни и слег, а лежачего, известно, и комар с мухой горазды зажалить: пристал сухой

кашель, старик, гавкая, напрочь изорвал легкие, навязался, будь он неладным, понос, а потом и позловреднее что-то, в опухший живот будто накатали раскаленных камней. Хвори не отпускали зиму и лето и вот еще ползимы.

Аверьян лежал на деревянной кровати, под старым дубленным тулупом; его темная курчавая голова, покоившаяся на цветастой подушке, и борода, припорошенная сединой, тоже темная, в мелкое кольчи́ко, делали его обличие цыганским, хотя ничего цыганского в крови Лиховых не было. В характере, как и в обличии, да: с молодых лет метался Аверьян по базарам и ярмаркам, скупал и перепродавал то хлеб, то скотину. В японскую войну мужиков из деревни забрали на фронт, Лихова оставили: плоскостопье. Недолго, но попетушился среди баб-солдаток белобилетник. Старую жену спровадил куда-то, привел в дом молодую, Родькину мать. Началась германская война — и опять один с бабами. На копейку кому-то помог, на рубль после содрал. У кого-то весной недосев, осенью недобор хлеба, у него по всем займищенским еланям пшеница и в амбарах полные сусеки зерна. После войн люди обессилели, обеднели, Аверьян Лихов лишь входил в силу и богател. Чего-чего только не наменял он в голодные годы на базарах и ярмарках, сделался одним из первых в Займище богачом. Ходил по селу гордо и на односельчан глядел свысока. Болезнь свалила с ног старика. Он лежал на кровати, разъятый, и думал, думал о жизни, быстро катившейся под уклон. Перевалило за семьдесят, ясно, что под уклон. Все чаще мерещились воронье, соловьи, чалые кони, когда-то носившие по сибирским проселкам и трактам в одну сторону до Мариинска, в другую до Ачинска; и без конца стояла перед глазами картина, не та, что с холодным купанием в реке, более ранняя, — в корень был запряжен чалый конь, пристяжкой бежала молоденькая рыжей масти кобыла, они так и стлались над оледенелой дорогой. И вдруг поворот, сани занесло, раскатило, и он, Аверьян, вылетел из них и нырнул в рыхлый сугроб, набрал полный рот снега. Когда выбрался из сугроба, очухался, лошади были уже далеко, трясли гривами, сизой, что тебе дым, и рыжей, похожей на жаркое пламя, над перевалом. «Куда ж это вы? — взвыл от ро-

бости Аверьян. — Да тут же замерзнуть середь зимы и безлюдья, отдать душу небу, тело земле!» Но он тогда уцелел, даже не похворал, не покашлял, был еще крепок, а потом и запамятовал тот злополучный раскат. Теперь видение прошлого стояло перед глазами денно и ночью. Раскаты, стало быть, снова раскаты, того гляди, вылетишь из саней жизни. Уже вылетел, раз окрепшен кулаком.

Это случилось на сходе, в прошлом году. Решали, с кого и сколько брать самообложения, и кто-то из задних рядов выкрикнул: «С кулака Лихова поболее!» После Ивана Степановича Царегородцева и Пентюхова Матюхи и он стал кулаком! Раньше при всем обществе так не «величали». Даже Ипат-Ветроудуй, накануне клявшийся в верности (когда брал займы мешок хлеба), даже он не так смело, как бы исподтишка, но поднял свою руку. По дороге с собрания Аверьян упрекнул его: «Ты что же, сосед, не так сделал, как говорил?» — «А все вверх, и я вверх». — «Все головой об стенку, и ты со всеми об стенку? А я тебя вчера выручал. И давал займы мало ли раньше». — «Ну и драл после. Всемеро драл! Сколько нашему брату подачками жить?» Подачками! А сам без подачек не может.

Уже тогда Аверьян Лихов решил, что надо сократиться с хозяйством: землю — в залежь, половину скотины — под нож. А молокосос Родька норовит не от себя, а к себе: больше пашни — больше базарного хлеба, больше скотины — больше мяса и масла на тот же базар. Да еще приспичило покупать мельницу водяную у Пентюхова, не случайно тот вьется около дома, вот и сегодня наведывался. И Родька привечает его, якшается с ним, жулябой, отцу глаз не кажется, как съездил в город, почем распродал пшеницу, не говорит.

Заскрипела дверь, потом зашаркали ноги о половицы, кто-то вбежал в прихожую из сеней.

— Это ты, Родька? — спросил Аверьян.

— Я это, я, — приплясывая, откликнулся Степка.

— А где тот, что делает?

— Сидит в старой избе, ладит хомут.

— Хомут ладит в старой избе!.. — проворчал Аверьян. — А не Матюха Пентюхов опять у него, не о купле-продаже толкуют? Ну-ка пошли его, поганца, скажешь, требует немедля отец.

Сын вошел боком, набычась. Темные брови сведены к переносице, в глазах, тоже темных, настороженность. И весь он, Родька, подобран и напружинен, как молодой волк, тело, кажется, из одних сухожилий, корпус не грузный, но плотный, голова выглядит маленькой, потому что вровень с головой шея.

— Велел, что ли, зайти?

— Требовал, чтобы немедленно шел! — Аверьян по-сверлил сына скошенным глазом. — Раз не идешь сам... Дорого ли продал пшеницу?

— Хорошо продал, не продешевил. На полтинник дороже прошлой субботы.

— Выиграл. То, что нас обложили снова хлебным налогом, можем проиграть. Сказывал тебе Степка?..

— Говорил. Так неужели ж мы, батя, так и будем круглыми дураками и повезем? Да лучше в прорубь спущу, чем в заготовку!

— Не то, не другое, не в прорубь, не в заготовку, пусть лежит, где положено, — по-своему рассудил Аверьян. — А положено в надежное место.

— Тогда уж отвезти тоже, продать.

— К весне знаешь как взиграет цена? Как вода в речке в пору разлива. Понятно? Теперь, Родька, о приятеле твоём новом Пентюхове Матюхе. С виду он пентюх, и фамилия ему соответствует, а хитрости в нём больше, чем тела, костей. Неспроста он к нам зачастил, ластится к тебе, желторотому. Он что-нибудь предлагает? Что-то купить, что-то продать? Не с мельницей водяной опять насылается?

— Ну с мельницей, — Родька присел на краешек широкой скамьи.

— Гони ты его со двора, не нужна нам мельница. Не нужна!

— А мы уже хлопнули по рукам. И я расплатился.

Аверьян оторвал от подушки курчавую голову, придержал себя на локтях.

— За мельницу?..

— Так он отдал ее за половину цены. Видишь ли, у Матюхи сын Гришка в городской больнице чуть ли не при смерти, ну отец и не стал особенно торговаться, лишь бы какие-то деньги, говорит, позолотить ручку профессору, тот обещает спасти жизнь.

— Прогадал ты, Родька, дал маху! — Аверьян по-

держался еще на локтях и рухнул на подушку. — Обгорил тебя хитрый соседушка. Это ж лиса, волк и змея в одной человеческой наружности, недаром на два голоса говорит, тонко — по-лисьему и толсто — по-волчьи, и по-змеиному со временем выучится. Вот какой он в Займище пентюх. Теперь, поди, похохатывает: «Сыскался покупатель-дурак!» И тянет, потягивает водку из рюмки. И чего ему не потешаться и не тянуть: без мельницы еще лучше. Ведь все равно заберут, да еще без копейки. Теперь забирать будут у нас, олухов. Скажут: молодой-то чище старого эксплуатирует бедноту, собирает нетрудовые доходы, чего на него растакого смотреть?

— У меня на мельнице чужого человека не будет, сам стану у жерновов, — тихо сказал Родион.

— И в поле, и дома со скотиной, и на мельнице сам, даже без Степки? На три части разорвешь себя одного? Двух работников придется держать, а тут и из-за одного, родственника по матери, и то волынка. Соображать надо. А чтобы соображать, голову надо иметь, не капустный кочан.

— У самого у тебя капустный кочан! — вспылил Родька и, выбежав в сени, хлопыстнул дверью, что зазвенело в оконных рамах стекло.

— Баламут! — сказал Аверьян и отвернулся к стене. — Сам себя погубит, баламут, и отца с матерью утянет за собой. И что делать с ним? Отстегать вожжами, так руки коротки, не дотянуться до вожжей. Женить кобелину, может, лучше будет соображать!

Но ни через неделю, ни через две ничего не случилось, мельницу Матюха передал в исправности, на ходу, в сельсовете поговорили о хлебе и почему-то умолкли, может, вышли другие распоряжения, и Аверьян постепенно смирился с проделками сына: пусть как знает, так и живет!

Перестал очень-то волноваться, и внутри, чувствовал, полегчало, да и ноги стали маленько носить, сперва по избе, потом и по двору, по усадьбе, заваленной снегом. Много выпало снега. А много снега — много влаги в полях, стало быть, жди хорошего урожая. И Аверьян, махнувший было рукой на остаток жизни, снова ощутил желание видеть и новую весну ручьевую, и зеленые, потом золотые на солнце хлеба. И, как

раньше, как всегда, замелькали перед глазами старого Лихова конские гривы — предел его увлечений и страсти с детских лет.

Еще сильнее, неумейней был зов жизни у Лихова-молодого.

3

Перед вечером Степка принес и бросил под ноги Родиона только что сшитые хромовые сапоги.

— Получай! Скрипа будет на весь клуб, на все Займище, хоть ночи напролет пляши. Подковки железные хотел присобачить — не стал, ты, помнится, был против.

— Не надо, — подтвердил Родька, — испортят тот скрип, — и осторожно поднял с пола сапог, оглядел его с задника и с носка, потер ладонью прибитый к каблучку верхний лист подошвенной кожи. — Как влил! — похвалил Степку. — И подошву как влил! — Он и по ней прошелся несколько раз широкой ладонью, после чего поставил оба сапога рядом на половицу между собою и другом. — Как фабричные! — И мигом сорвал с одной ноги валенок, засунул ногу в сапог, а чуть дотронулся им до полу — заскрипело. — И как ты делаешь, Степка, что форсно скрипят?

— Вот это секрет. — Без того круглое лицо Степки расплзлось, как блин на сковороде. — Еще от деда своего, когда тот жив был и сапожничал, перенял.

— Я так мыслю, ты что-то кладешь между подошвой и стелькой.

— Аха, слоями бересту кладу, — не смог доле таиться Степан. — Положишь пластика три, и этого скрипа не оберешься. И будут исправно скрипеть твои сапоги, покуда не пронесишь насквозь!

— Ну что же, ты молодец, все умеешь и можешь. Можешь с лошадьми на дороге и в поле, умеешь с машинами в сенокос и жнитво. На гармонии опять же играешь отменно. А ты все понял, как сегодня играть?

— Понял, аха!

— Значит, если я на кругу — двухрядка из себя выходит, наяривает, мой соперник на круг — возникают всякие перебои, то с ладов срываются пальцы, то не ладится на басах, а разошелся, к примеру, выселков-

ский плясун, удержу нет, тогда сводишь мехи и делаешь вид, что руки устали.

— Идет!

После ужина оба в навакшенных сапогах и шевиотовых черных костюмах, поверх пиджаков — козыи дохи, только Родькина новая, на зеленой атласной подкладке, та, что на Степке, поплоче и пообдерганнее, женихи шли в клуб, наскрипывали сапогами о скрипучий без того снег; на правом обвисшем плече Степки затаилась до поры до времени Родькина гармонь.

Любит Родион вот так мирно, вразвалочку пройти под покровом ночи по родному Займищу, вдыхая крепкий морозный воздух, сдобренный совсем не угарным дымом березовых дров, горевших в каждой печке каждого дома, вслушиваясь в редкие звуки деревни: в говор неразборчивый впереди, хлопок чьей-то калитки, тьяканье из какой-то конуры или подворотни старой глупой собаки, одновременно предвкушая еще большее удовольствие той скорой минуты, когда они, чуть ли не крадучись, подойдут к сельскому клубу, бывшим хоромам попа, и тут, перед крыльцом или на крыльце, по Родькиному сигналу, Степка раздернет мехи, даст волю двухрядке. Ни у кого в деревне нет такой голосистой гармонии, да и никто не умеет, как Степка, играть: размашисто, буйно. Они вломятся в освещенный лампой-молнией клуб и взбудоражат ребят, те начнут сбивать с бровей шапки, высвобождая чубы, всполошат девок, они задрожат от счастья, зашепчутся: «Родька со Степкой пришли. Что будет, что будет!»

Пока ничего особенного не происходило, плясун и гармонист, один на голову выше другого, только еще выруливали из проулка на маячившие огни клуба, шли нога в ногу; их скрипучие сапоги жарко поблескивали, когда ноги одновременно попадали на свет из окошек чьей-то избы. В зубах Родьки торчала папираса, попыхивала красным огнем хотя и часто, а с предосторожностью, без толку не крича.

На крыльце клуба толпился народ, больше ученики, и хотя они почтительно расступились, освобождая дорогу, и кто-то открыл дверь в помещение, Степка, уже взявший гармонь на руки, не раздернул, как бывало, мехи — не было сигнала от Родьки. Тот увидел в толкучке своего бывшего учителя Павла Петровича, ссуту-



лившегося под тяжестью лет, и не посмел крикнуть: «Давай!» — даже смутился и выпустил из руки папиросу, наступил на нее сапогом. И сам тому удивился, как врезалась в память былая строгость учителя «Не курить!» и вспомнилось самое первое школьное «Мама и Маша. Маша мыла раму». Теперь у Павла Петровича были другие ученики, вот эти шустрые, заполонившие крыльцо, он маленьких отправлял домой, маленьким разрешал побыть со всеми полчаса. Полчаса, но не больше!

Легкий кивок Родькиной головы, и Степка с приплясом переступил порог клуба, заиграл, поднимая там, в зале, шквалы восторженных возгласов; Родион притворил дверь, задержался возле учителя, помог ему справиться с ребятней. Скоро на крыльце они остались вдвоем.

— Ну что?.. — как когда-то в школе, вызвав к доске, начал Павел Петрович. И Родьке показалось, он увидел щетинистый бобрлик учителя, короткую, но твердую щеточку усов и глаза, тоже твердые и настойчиво ждущие. — Как живешь, чем дышишь, Родион? Я слышал, купил мельницу. А зачем?

— Муку молоть, Павел Петрович, — попробовал отшутиться бывший ученик.

— Зачем? — повторил требовательнее старик. — Вон назрела коллективизация, а ты мало что купил мельницу, слышно, еще замахваешься на крупорушку.

— Собираюсь съездить на Чулым, посмотреть.

— А зачем?!

И тогда Родька решил открыться перед учителем до самого, как думалось ему, дна.

— Надо же, Павел Петрович, чем-то заняться, куда-то себя деть. Потому что руки чешутся, просят дела и дела, душа раскалилась, горит! А что, что делать другое? На Турксиб ехать, что ли?

— Может быть, ехать.

— Так на Турксибе уже закругляются, вон были выселковские ребята, говорят, шпалы и рельсы через пустыню проложены, а на паровозах хватает народу без них.

— Кузнецкстрой начинается. Мало ли строек.

— А если охота делом заняться не на чужой стороне? Если хочу в своей Займище, тогда как?

— Тогда по течению иди, а не против. Кха-кха!.. — раскашлялся Павел Петрович.

— Как умею...

— Ну-ну...— Учитель заторопился.— Еще тетрадки проверить... Теперь не маленький, так что смотри.

Заторопился и Родька. И только заскочил в клуб, как увидел на скамье у окна Варьку. В ожидании танцев, она сидела с выселковскими подружками, теребила лежавшие на коленях кисти серого пухового платка. Перед нею топтался коротенький паренек в расклешенных брюках, возвратившийся недавно с Турксиба. И эти брюки, каждая гача, как колокол, и суконное полупальто с мерлушечьим воротником, он, конечно, завел там, на Турксибе, и теперь выхвалялся перед девчонками, больше, конечно, перед Варькой. «Но вот я тебе дам от ворот поворот! — мысленно пригрозил ему Родион. — Достанется и тебе, Варька».

И, кажется, не успел мигнуть Степке, как гармонь в руках того трепыхнулась и завыводила мотив «цыганочки», да так пронзительно, четко, что козья доха сама слетела с Родькиных плеч, ее подхватили девчонки, толкавшиеся в дверях, а сам он пошел, пошел, тонко шаркая и поскрипывая берестяными прокладками, по широкому кругу, правда уже сжимаемому со всех сторон.

Сделав два с половиной круга, остановился перед парнем в расклешенных брюках и топнул, что означало: вызывает соревноваться. И тому уже закричали: «Выходи, не бойся, Турксиб! — так прозвали его в Займище и на выселке. — Соревнуйсь!» Но Родька куда не собирался сдавать круг, он только сделал вызов, сам боком, боком пошел, легко шаркая и скрипя, и вдруг подскочил и начал выбивать дробь, она покати-лась во все стороны горошинами, посыпалась маковым зерном, пылью. Далее предстояло опять топнуть и пройтись взад пятки, как говорили, веревочкой, после чего наклониться и хлопнуть ладонями по голенищам сапог, еще хлопнуть, нет, выбить хлопками мотив все той же «цыганочки», подойти вплотную к сопернику и, топнув, дать отдых ногам.

Правда, отдыха ноги не просили. Но Родион заметил, что его соперник пугливо оглядывается, и начал сокращать программу, подошел к претенденту на Варь-

кино внимание без «веревочки», охлопывая ладошками голенища. Славные тоже получились хлопочки, та же самая дробь, только помягче, пошелковистей.

— Прошу!

Парень с Турксиба попереминался с ноги на ногу, а на круг вышел — Родьке думалось, что откажется, не будет плясать, — вышел, не сняв шапки, не скинув пальто. Перебирал неумело ногами, обутыми в коричневые ботинки, кружился, а брючные колокола — хлоп, хлоп; и хлопал по спине, по бокам хлястик полупальто, державшийся на одной пуговице; в зале вспыхивали смешки, а когда незадачливый плясун поскользнулся на ровном, клуб потрянуло от хохота. Не подавала голоса, замечал Родион, одна Варька, сидела, смущенная, прячась за спины подруг. Кто-кто, а она понимала, что все это затеяно из-за нее, из-за нее мучается на кругу всеми осмеянный Родькин соперник.

А тот не на шутку умаялся и начал делать круги меньше и меньше и наконец топнул ногой.

— Прошу!

Ну, просит, подумал Родион, надо человека уважить, и пошел сразу вприсядку, попеременно выкидывая ноги вперед. Он мог бы пройти по кругу раз десять подряд, но ему уже на третьем дружно захлопали, а девчонки азартно застучали ногами, значит, понято и одобрено, переходи на другое колено. И Родька принялся кружиться волчком. Этот трюк он разучил когда-то без гармонии в ограде. Потом кружился под Степкину игру в старой избе. И вот получился волчок, нравится, раз хлопают тоже, стучат. Теперь удивить хлопками не по одним голенищам, а еще по коленям, груди, снова по коленям и голенищам, ладони о ладонь, по надутым щекам; в завершение — палец в рот, чтобы хлопнуть, вырывая его быстро из-за щеки.

Каскадом неожиданно сменяющихся хлопков, от мягких, чуть шаркающих, до тугих, резких и звонких, при мягком тоже и резком скрипе сапог Родион и закончил второй выход на круг, подбежал к сопернику и, выбив дробь, хлопнул, как выстрелил, одним пальцем, сунутым в рот, и вторым, получился дуплет.

Теперь клуб неистовствовал, ревел, восхищенный Родькиной пляской; и уж теперь, думалось Родиону, его посрамленный соперник прекратит состязание, боль-

ше не выйдет на круг. А тот вышел. Опять начал двигать колоколами — хлоп, хлоп и стегать себя полуоторванным хлястиком. Уж и Степкины пальцы соскальзывают с ладов, гармонь сбивается с «цыганочки» на «камаринскую» — «Турксиб» пляшет, а вернее, топчется у всех на виду, повторяя одни и те же колена. Нет, пробует, дурья башка, приседать и крутиться, да ноги не гнутся, не получается без тренировки волчок. В довершение, крутясь, приступил каблуком болтавшийся конец хлястика и свалился на локоть.

— Х-ха! — взорвался от хохота клуб.

— Если бы не хлястик!.. Хлястик ему помешал.

— Хреновому плясуну собственные ноги мешают.

— Ха-ха!..

Девушка, из-за которой бьются-соревнуются плясуны, достается победителю; будут они или не будут в дальнейшем гулять, поженятся или не поженятся, а этим вечером вместе, он танцует с нею и провожает домой. Родька же, признанный победителем, и не подошел к своей завоеванной, к Варьке, пусть не шибко-то зазнается. Потерзается пусть и ответит за тот его стыд и позор!.. И ведь никто его, крестьянского парня, тому не учил, как разжигается в девчонке любовь, книг и газет он почти не читал, выписывали с отцом журнал «Сам себе агроном», там про любовь не писалось, а вот где-то и как-то прознал, что огонь страсти разжигается напускным холодом невнимания.

Его козью доху держала в охалке всегда льнувшая к нему Фроська. У нее были огненно-рыжие волосы, а теперь и лицо занималось жарким пламенем, верхняя губа в огне трепетала. Родион только шагнул в сторону Фроськи, она уже бежала навстречу, что-то бессвязно лепеча, все еще обалдевшая от его пляски. Он потянулся к ней за дохой, в это время Степка заиграл вальс (все шло как по-писаному): они сообща взвалили доху на край сцены и пошли танцевать.

— Ой, Родька!.. — задыхаясь, шептала Фроська и теперь, а когда он начинал кружить ее, прижималась к нему, мелко дрожа.

Родион и сам старался держать ее ближе к себе, пусть некоторые посмотрят со стороны, покумекают. Они станцевали и вальс, и польку, и опять вальс. Танцевали весь вечер. На скамье у окна весь вечер сидела

в одиночестве Варька; она даже не развязала на шее платок. Родион небрежно кивнул ей, уходя с Фроськой из клуба,— пока!

Успело вызвездить, взошел месяц, и деревня, хотя нигде не горело ни огонька, просматривалась по главной улице на всю глубину. Серединой улицы, накатанной кошевками и санями, уходили в оба конца притихшие парочки. Только под ручку парни и девки не шли, это в Займище и по округе не принято. Уходили по двое под одной дохой, козьей, оленьей, собачьей; и под простым бараньим тулупом молодым и здоровым даже в лютую стужу было тепло.

Родион почувствовал, его бросило в жар, как только он накрыл Фроську полами своей козьей дохи и прижался грудью к ее упругой груди. Фроська после этого не шла, пятилась. И не вырывалась, не возражала. И только когда Родька высвободил из рукава дохи одну свою руку и запустил ей под кофточку, она вся задрожала, заойкала, извиваясь: «Ой, Родька, не надо!» А сама искала губами его губы, норовя привстать на носки.

Так и шли, целуясь и задыхаясь при поцелуях, никого и ничего в деревне не замечая. Правда, Фроська и не могла замечать, она была накрыта воротником дохи с головой. Родька временами выглядывал поверх мехового барьера, но только затем, чтобы не сойти с накатанной дороги, не свалиться вместе с девчонкой в сугроб.

Так и дошли, неровно ступая, он носками вперед, она пятками, до лиховского крестовика с деревянным кружевом по карнизу, до ворот в косую плотно подогнанную дощечку; Родька приставил Фроську к широкой тесаной верее и подпер своим напружиненным телом, принялся торопливо разбирать то, что было на ней, что-то и как-то разнял, что-то вгорячах распорол.

Фроська и теперь, обняв его обеими руками за шею, не столько сопротивлялась, сколько допытывалась свистящим и прерывистым шепотом:

— А женишься потом? Женишься?

— А почему бы и нет?

— Побожись, Родька. Побожись. Вот те крест?..

— Вот те крест.

Потом-то, когда все случилось и Фроська висела на его плече, влажная и обвядшая, Родион покаялся, что наобещал лишнего. С какой стати он будет на ком-то жениться, у него есть своя... точно, своя любимая Варька. И вот не собирался ей изменять, думал только досадить, тоже с досады, не думал обижать и обманывать Фроську, а так получилось, что эту обидел и обманул, а той изменил.

Он ворохнулся под жаркой дохой, хотел перевести посвободней дыхание, Фроська вцепилась в его шею.

— Куда?

— Сходить дать овса лошадям.

— На это есть Степка.

— Так его ж нет. Наверно, пошел провожать Марьку на выселок, вернется после вторых петухов

— Вернется и даст...

— Сходить и проверить, может, не заперты двери, — придумал после этого Родион. — Если не заперты, пойдем к нам.

Фроська еще подержалась за него цепко и начала помаленьку сдаваться: руки ослабли и сползли с его шеи на грудь, она, кажется, заснула в ожидании того, что сделает он. И тогда он, не торопясь, осторожно, выбрался из дохи, оставил в ней одну Фроську, укутал ее поплотнее и, послушную, сонную, положил у ворот на сугроб, мол, полежи, пока сбегая, разужаю. Сам открыл бесшумно калитку и нырнул в темень двора.

Потом сидел в избе, не зажигая лампы, выглядывал из-за оконного косяка, как там, на улице, Фроська. Ничего, полеживает в дохе. В козьей дохе даже голой можно лежать, а на ней кое-что надето. Приподняла голову... Наверно, подумала: «Что-то Родька долго не идет». Дождись, придет, поднимет с сугроба и на руках занесет в дом!.. И самому же сделалось муторно от таких своих мыслей. Надо пойти и сказать... Надо признаться, как получилось...

И он вышел из дома. Когда спускался с крыльца, скрипя сапогами по скрипучему снегу, услышал, неподалеку заиграла гармонь: возвращался с выселка Степка.

За воротами, на примятом сугробе лежала скомканная доха; Фроськи не было, убежала, чтобы не встретиться со Степкой.

А тот уже подворачивал к дому. Резанул еще в завершение на всех ладах и басах и свел мехи двухрядки.

— Откуда сейчас, с выселка? — спросил Родион, как ни в чем не бывало встряхивая доху.

— Оттуда.

— С кем пошла Варька?

— Одна.

#### 4

В понедельник, вторник и среду не однажды на дню Родька порывался запречь в кошевку Серка и махнуть на выселок к Варьке и каждый раз как-то удерживал себя, переносил поездку на завтра. В четверг перед сумерками Варька сама появилась в Займище. Она приехала с младшим братом в сельмаг; из магазина послала брата к Родьке с запиской. И вскоре они, Варвара и Родион, стояли у магазинского крыльца на ветру и упрекали друг друга в непостоянстве. Но тут же и простили друг друга.

А на следующий день, тоже под вечер, Родька был на выселке. И опять бы им стоять на холоде, на ветру, да сжалилась, завидев их вместе, Варькина соседка-вдова и ввела к себе в дом, сама вышла будто бы по делу к другой какой-то соседке, дала парню и девке поговорить.

И они в тот вечер условились, как им, молодым и любящим, жить, так что Родька едва дождался сегодняшнего, субботнего вечера и, когда отец с матерью, поужинав, закрылись в своей половине крестовика, мигнул державшемуся настороже Степке. Тот сразу накинул на себя полушубок. Родион облачился в драповое пальто, купленное на случай женитьбы еще прошлой осенью. В холодных и гудящих от налетавшего ветра сенях они натянули на себя дохи — путь предстоял не длинный, но, может быть, долгий. Открыли настежь двери — обоих с головой обсыпало снегом, он летел сверху и снизу. Ничего не видя перед собой и увязая в свеженадутых сугробах, пробрались через двор, начали выводить из конюшни застоявшихся лошадей и надевать на них сбрую. Ранее собирались запречь Серка в кошевку, старую Воронуху в сани-роз-

вальни, теперь решили дать лошадям по пристяжке, жеребцу — карюю молодую кобылу, старой Воронухе — Воронуху молодую. Торопились, запрягая коней, потому что Родька побаивался, вдруг выйдут во двор отец или мать, спросят: «Куда?»

Уже отворили ворота, хватился: а еще доху, Варьке?

Пришлось возвращаться, крадучись, в сени, искать в темноте собачью доху, в которой ездил всегда на базар. Велел надеть ее Степке. Сам натянул его старую козью. Козью новую, на атласной подкладке спрятал под облучок.

Снова остановил лошадей за воротами: не взяли веревки, а Варька наказывала обязательно взять что-то такое, чем привязать к саням-розвальням ее сундук с приданым и швейную ножную машину; и мешков дорожных просила захватить; все это, и мешки, и веревки, у них на выселке было, но хранилось в амбаре, ключ от амбара держал при себе отец, вдруг не удастся без подозрения раздобыть. И опять Родион, крадучись, шарил в темноте сеней, а потом в старой избе, покуда не разыскал. Возвратясь, свалился с веревками и мешками в кошевку — лошади понесли вскачь.

За кружившимся беспорядочно снегом быстро исчезли расплывчатые огни Займища, справа и слева замелькали черные вешки по дороге на выселок. А дорога была, конечно, переметенной, и лошади с нее то и дело сбивались, то коренник, то пристяжка, но сметом бежали недолго, снова выскакивали на твердое. Не успели сколько-нибудь притомиться и перейти на шаг — уже одолели перевал, впереди выселок: полузатонувшая в сугробах жидкая изгородь поскотины и крытые драпью сараи по обеим сторонам узкого, едва разминуться, проулка, впереди, поперечно к нему — широкая улица, по ней с шумом и свистом несло снег.

Тут, в проулке, было потише. Тут и остановили коней, подвернув к бревенчатой стенке сарая. Родька отогнул рукав дохи, рукав драпового пальто, рукав пиджака, а Степка зажег спичку и, осветив циферблат Родькиных наручных часов фирмы «Павел Буре», спросил:

— Сколь?

— Без пяти девять, хорошо приехали. Ты постой здесь, я пойду на разведку.



А снег по улице выселка несло и крутило. Родька едва высунулся из-за угла, как на нем расстегнуло доху, подхватило полы. Пришлось идти, притираясь к заплоту и палисаднику.

В доме Василия Васильевича поматывалась на проволоке семилинейная лампа; по потолку перекатывалось невесомое колесо тени от абажура. А ни одной живой души в избе вроде и не было. Нет, кто-то промелькнул на свету против углового окна, кажется, Варька. И опять промелькнула. Ну, подумал Родион, готовится к выходу, уговаривались на девять часов, сейчас и на их ходиках, наверное, девять. Пока суд да дело, отворачиваясь от ветра, прошел за два дома дальше. Возвратился — а Варька все там же, в избе, и даже не мелькает, не ходит, а сидит на скамейке, что-то починяет или шьет. Нашла время занятию! А может, обман? И не боится, что Родька выхлещет окна?

Родион еще походил возле дома, кутаясь в воротник и полы дохи и уклоняясь от ветра и снега, и снова остановился под Варькиным, снизу обмерзшим, окном, — шьет. Хотел уже постучаться в наличник, уже занес руку, державшую кнутовище, из проулка сквозь завывание пурги голос Степки:

— Ну как?

Родька погрозил ему кнутовищем, мол, что ты, дурень, орешь.

— Выйдет?!

Пришлось идти к парню, чтобы заткнуть ему глотку. И хорошо, что вернулся к устью проулка: из ворот Варькиного дома вышел, поживаясь, высокий человек («Василий Васильевич!» — опознал его Родион) и, поглядывая сторожко — его смущала, конечно, пурга — и нагнув голову, пошел в противоположный конец деревни. Вот почему не выходила невеста, мурыжила жениха — отец был дома! Варька же говорила накануне, что ей надо будет дожидаться, когда уйдет к своему брату отец, — они пимокаты и после ужина еще за полночь бьют шерсть. Теперь она выйдет, мать с нею заодно.

Родька дал затеряться во мгле сгорбленной фигуре Василия Васильевича и позвал Степку, уже хлопотавшего возле лошадей.

— Пошли!

— А кони?..

— Да оставь их! Тут им удобней... — Еще не лучше, подумал, очутиться перед Варькиным домом на четырех лошадях, что-то выносить из дому, грузить в кошевку и сани. А вдруг возвратится зачем-то Василий Васильевич? Да он закричит: «Караул, грабят!» — испортит всю обедню. Сколько там Варькиного приданого, уж переносят в проулок вдвоем. И Родион отчетливо слышал за спиной прерывистое дыхание Степки. Они пробежали до освещенной висячей лампой избы, до ворот с железной щеколдой. На нее, на эту щеколду, положи палец — она и поднимется. А она вдруг поднялась без нажатия, и дверь растворилась сама, Родька увидел закутанную в пуховый платок Варьку.

— Готово?

— Со вчерашнего все готово, оставалось перетащить из чулана сюда. — Она показала кивком на сундук с отвисшей скобой, что стоял у нее под ногами. — Помогла мать. — Но той уже не было, может, убежала еще зачем-то в чулан. — Беритесь двое со Степкой. Спроворите? — Сама она взвалила себе на загривок узел с постелью.

Сундук оказался нелегок, парни подняли его, но развернули неаккуратно, он торкнулся боковиной о веревку. На улице больше тащили волоком по свежему снегу. Да и Варька свой узел не столько несла на загривке и в ноше, сколько, опустив под ноги, волокла. Пока добрались до проулка, запарились, даром что ветер и стужа. Сундук поставили в розвальни, и Степка начал привязывать его к пряслам и передку; узел с постелью Родька принял от невесты и пока положил в кошевку.

— Еще что-нибудь есть?

— Есть, есть! Я хоть и убегом иду, а на постоянно, как что с вещами. Побежали скорей. Да все трое!

— Мешки припасенные брать?

— Не надо! — донеслось уже из ветра, из мглы, Варька подбегала к своему дому.

Мешки у нее нашлись собственные, с ключом или без ключа, она попала в амбар и взяла два конопляных, набила их почти под завязку. Теперь они лежали во дворе у самых ворот. Тут же валялись чем-то натолканные узлы и котомки. Все это успела поднести Варь-

кина мать, маленькая, а проворная женщина, в шерстяной шали. Родька никогда не видел ее при свете, вблизи, всегда она шебаршила за переборкой или копалась у печки, обычно ворча.

Ворчала вполголоса и теперь, считая и пересчитывая мешки, узлы и котомки (со стороны казалось, она их крестила):

— Не знаю, уцелеют ли дорогой, не растрясете ли, не оброните что. Ты поглядывай на них, Варька, в пути. Да не теряй, потом сами мешки и котомки, которые оставь себе, пригодятся, которые обратно сюда. Да пусть они не как попадая берут их!..

Это уже относилось к Родьке и Степке, подхватившим по мешку, по котомке, и Варька окликнула их:

— Слышите, парни?

— Парни!.. — и тут придралась мать. — Один-то парень, а другой для тебя мужик, муж. С церковным браком идешь али так, а все равно муж; ты для него законная жена. Слышь, Родька? — остановила она зятя в калитке. — Чтобы во всем остальном по закону, как муж и жена!

— По правилу, как же иначе.

— Навек!

Последние наставления Родькина теща, Варькина мать, давала молодоженам в проулке, пока Степка увязывал воз:

— Приспичило жить вместе, бог с вами, живите, только не смешите больше людей. Обойдетесь и без венца, раз церква закрыта, а в сельсовет должны сходить завтра же. Вот и все. Больше я вам ни в чем не помощница, и так грех на душу взяла. Да живите как следует, без обмана! Надсмеешься над моей дочерью, Родька, запомни: отольются волку овечьи слезки, за горами, лесами найду, через стены каменны проломлюсь, а споймаю и выцарапаю глаза!

— Да с какой стати я вдруг?! — пробормотал Родька. Он стоял бок о бок с невестой, отмахивался от снега, летевшего на них откуда-то с крыши. Варькина мать стояла против них, подбоченясь, воинственная.

— Так и знай, выцарапаю! — поклялась она. — А теперь бог с вами, — она перекрестила их, — поезжайте, начинайте жизнь семейну, благословясь. — И снова перекрестила.

Лошади стояли, мелко дрожа, и уж прядали ушами и прикладывали уши к затылку, когда в промежутке между сараями врывался шальной ветер, крутил снег. В сплошной круговерти Варька кое-как, и то с помощью Родьки, натянула на себя козью доху. Родион застегнул на ней все пуговицы и усадил ее в кошевку с правого края. Расправив ременные вожжи, оглянулся — теща все еще стоит посреди проулка и крестит их. Уж и сарай проехали, вонзились в снежную муть — стоит, разведя в стороны локти, сама как вкопанный в землю и полузадутый пургой крест.

А рядом, под слоем козьего меха, у самого подбородка была живая и теплая Варька, жена. Теперь уж бесповоротно — жена! Родька раскопал ее подбородком и носом в козьем пуху и впился в губы губами. Да так и ехали, целуясь и обнимаясь, пока не залаляли займищенские собаки.

5

Утром молодых разбудили шаги: кто-то прошел мимо кровати, тоненько скрипнули половицы. Родька, ворочаясь, забрался глубже в одеяло, Варька приподняла голову и открыла глаза. Кто прошел, она разглядеть не успела, видна была только полуоткрытая дверь, за дверью горела настольная лампа. Там, на кухне, перешептывались двое, конечно, свекровка со свекром. Ее шепот был торопливый, с подсвистом:

— ...Лежат двое на койке, две головы на подушке, четыре высунутых из-под одеяла ноги. — Она, казалось, вот-вот рассмеется.

— Скажешь, пять ног,— шероховатый, с басовитыми нотками шепот мужской. — Верно, ходили на вечерку со Степкой, пришли вместе, вместе легли.

— Да какой тебе Степка, две косы в руку, одна до полу опустилась, в ногах юбка белая, мелкие кружева.

Варька подтянула, сколько могла, ноги, спрятала их под одеялом, до косы только дотронулась, подбирать не стала: все равно увидят, да и пусть видят, коса как коса, даже получше, чем у некоторых других. Снова прислушалась.

— ...Это же с выселка Варька, краснокавалеристова дочь,— шепот с подсвистом.— Он за нею ухлестывал,

сказывали, чуть не подрался с каким-то парнем из-за нее. Она и прежде у нас в доме бывала, еще ученицей. Родька в третьем классе сидела, она в четвертом, хоть и младше годами, вместе разучивали спектакль. Позаботились бы отцы с матерями, отвезли учиться в район, теперь вышли бы в люди.

— Без семилетки не люди? — свекров шепот, шероховатый.

— Тоже люди. Да поучись больше, теперь бы сами кого-то учили, а то надо ходить за скотиной и землю пахать.

— Ты скажи, зачем он таился. Почему не сказал отцу с матерью, так, мол, и так?

— Значит, причина. Может, ее там не отпускали, пришлось умыкать. А раз умыкают — торопят, некогда советоваться в семье.

— Не иначе был против Васька-кавалерист. Он такой: «В дом Лиховым дочь, к чужакам?» Но теперь что поделать ему ли, Ваське, с его набожной Феклой, нам ли с тобой? Ничего. Теперь — хочешь не хочешь... Но я их сразу же отделию.

— Ты с ума сошел, старый? Опозоришь их и себя.

— Отделю, сказал тебе, отделю! Вы же с Родькой котята слепые, не понимаете жизни, а я вижу, я знаю. Отделю... Ой, да что это, опять в поясице стрельба, идти погреться на печке.

— Ляг, полежи, покуда пекутся блины. Блины я надумала завести... Да не лихостись ты при молодых, Аверьян. Сразу отделишь... К чему?

— Я знаю, к чему: пусть будут два хозяйства, поменьше...

И Варька снова услышала звуки шагов, тяжелые, шаркающие — это шел там, по кухне, ее свекор, перед тем как забраться на печку, и быстрые, ласковые — пробежала опять возле кровати свекровка, что-то взяла в ящике, стоявшем в углу, и возвратилась на кухню, притворила за собой дверь. Еще молодая, красивая, — Родька же говорил, мать на двадцать лет моложе отца. И, кажется, добрая. Тогда, с ребяташками, была доброй, звонко смеялась и угощала какой-то стряпней. И теперь вон затеяла блины... И свекор не такой уж злодей, как о нем говорят. Как все люди. Варьку смущало, что он собирается их с Родькой сразу же отде-

лить. Плохая досталась невестка — поэтому? Беглая? Из бедной семьи?

Раздумавшись, Варька приуныла: нелегкой будет ее дальнейшая жизнь, от своих отца с матерью оторвалась, а к мужниным родителям, стало быть, не прибьется. И соседи, конечно, будут оглядывать с подозрением, коситься. Уж поехать бы с Родькой куда-то, попытать счастье на стороне, так он — где там! — не согласится, у него в голове водяная мельница, которую он купил, крупорушка, маслобойный завод... Ей и самой не очень хотелось куда-то уезжать от всего знакомого с детства, родного, да вот знакомое и родное оборачивается другой стороной: там, на выселке, уже без возврата чужое, здесь, в Займище, еще не свое. Свой только Родька. Он что пообещал, то в точности сделал. Она обернулась к нему и прижалась плотнее; он проснулся и принялся обнимать ее, целовать.

Они задышали одним общим дыханием, и на какое-то время Варька забылась, где она, почему и зачем, рядом с Родькой, и ладно; потом она даже успела заснуть. Но лучше было не засыпать, раз пришлось опять просыпаться, а проснулась и почувствовала, обдало холодом, будто вошла в какой-то промерзший подвал. Ведь придется сейчас, вот сейчас вставать, одеваться и показывать себя свекровке и свекру. Какими они посмотрят глазами? И ясней прежнего осознала Варька свое незавидное положение в новой семье. Изгонять ее, конечно, не станут, да и заступится Родька, но и радоваться особо не будут, если посадят за стол.

В это время дверь из кухни приотворилась, и свекровка сказала, не высовываясь в просвет:

— Ты бы встал, Родя, подрубил мяса. Отец вон забился на печку, опять приболел.

«Ну вот,— подумала Варька,— сын для матери в доме, а невестки не было и нет.— И тотчас упрекнула себя: — А ты, невестка, показалась свекровке, представилась?»

— Сейчас встану, схожу,— сказал Родион, но прежде обнял ее, Варьку.— Ты полежи, я скоро. Или тоже будешь вставать?

— Нет, нет,— зашептала она перепуганно.

— Тогда жди. Я скоро, одна нога здесь, другая там, пятки там, носки здесь.

Но скоро у него там не получилось, надо было и подрубить мяса и принести дров и воды, он много раз открывал и закрывал входную дверь дома и грохал на кухне поленьями, бренчал дужками ведер; потом они со Степкой орали за стенкой крестовика, гоня по двору лошадей; голоса на дворе смолкли, захрустел снег на улице, под окошками, загремели железно обледенелые ставни. И вдруг в комнату хлынул голубой утренний свет. Варька аж вскрикнула негромко от его изобилия. Скорей принялась натягивать до глаз одеяло. Родька стоял у окна, дурашливо расплещив о стекло губы и нос, она боялась ему улыбнуться.

Вернувшись в дом, он больше не лег, не дал и ей дольше залеживаться, смеясь, стаскивал с нее одеяло; Варька тянула его на себя, она стеснялась остаться в одной нижней рубашке. А Родька настаивал. И он вынудил ее встать, она быстро накинула на себя платье. После этого толкал ее впереди себя, заставляя выйти на кухню, даже приподнял чуточку, чтобы она переступила порог.

— Вот, мама, твоему Родьке жена, тебе помощница в доме.

Мать, разгоревшаяся у печки, отставила сковородник и обтерла фартуком руки, лицо.

— А почему ты, сынок, вводишь жену и помощницу не в ту дверь, не с улицы, как это полагается, а откуда-то изнутри? Или, вышло у вас, заблудились немножко?

— Так вышло, мама, уж не сердись.

— Теперь поздно сердиться. А мог бы сказать загодя про женитьбу, и отец говорит, что мог бы сказать, мы тебе не противники. А ты решил затаиться от нас. Но и в этом я тебе и жене твоей не судья. И отец не судья. Как хотите, так и живите, раз такая пошла безбожная мода. А теперь проходите к умывальнику, мойтесь и садитесь за стол.

За столом Варька сидела ни жива ни мертва. И ведь ничего же, ничего грубого, нечестивого свекровь Екатерина Николаевна — Николаевна, как ее называли в Займище, — не сказала, ничего плохого не сделала, наоборот, угощала блинами, подкладывая горяченьких, подливая в глубокую миску сметаны, свекор, тот и с печки не слез, не подал голоса, а вот почему-то робела.

И есть совсем не хотела. Родька брал с тарелки один блин за другим, складывал вчетверо и, обмакнув в сметану, жевал, аж у него пищало за щеками, она нехотя, пальцами отрывала по лоскутку от одного и того же блина, но лоскутки, как тряпочные, застревали в горле, она не могла их проглотить.

Немного встряхнуло Варьку, когда свекровь сказала, что какую-то-нибудь свадьбу они все же сыграют, отцово согласие на то есть, пусть Родька едет в потрениловку и покупает, что надо из угощения.

— Съезжу,— сказал Родион.

— Хорошо бы, если сват со сватьей пришли. Что сердиться? И сколько сердиться?

— Я сбегая к ним,— сказала Варька, и это было первое, что она сказала за столом.— Я им передам...

Она дождалась вечера, благо, зимний день короткий, и побежала на выселок. Через замерзшую речку, мелким кустарником распадка, на перевал... Пурга, разыгравшаяся накануне, к утру поослабла, и день простоял студеной, но тихий, а теперь снова дуло, несло, в особенности на перевале, летевший снег заносил протертую было дорогу, скрывал санные колеи. Варька то и дело соскальзывала с заледенелого, твердого в снежный пух до колен. Выбиваясь из сил, она вся взмокла от пота, а передохнуть не хотела, твердила себе: «Только подняться на перевал!» Казалось, взойди на бугор, там вниз ноги понесут сами, только успевай их переставлять.

Но вот вышла на гребень бугра, даже увидела в мутной синеве вечера выселок, отыскала глазами свой дом: крутую двухскатную крышу и журавель колодца между избой и амбаром, а ноги сами не понесли, наоборот, что-то такое с ними случилось, увязали в снегу и не хотели из него выбираться. Тут-то и поняла Варька, что зря она заспешила домой, не пойдут отец с матерью на ее свадьбу; мать еще взяла бы на душу дополнительный грех и пошла, так отец не пустит. И еще неизвестно, что сделал он с матерью за ту, вчерашнюю, ее поблажку дочери, может, побил.

Варька не вошла сразу в свой дом, тем более что стоял он с темными окнами, мертвый, завернула к соседке-вдове и, только узнав точно через нее, что мать дома, отца нет, поспешила через низкую изгородь, раз-



делявшую два двора, в свой двор с колодцем и журавлем, к родному, в три ступеньки крыльцу. В темной избе (свет не зажигали, сэкономили керосин) долго стояла, уткнувшись в плечо матери.

А та голосила:

— И в кого ты уродилась и выросла, что убогом ушла! И за какие грехи нам с отцом досталась такая? Мало того, что воровски убежала, еще зачем-то пришла! Досадить, что ли, материному, без того кровавому, сердцу?

— Я пришла позвать вас на свадьбу,— не подумав как следует, бухнула Варька.

— На каку свадьбу, куда?

— Ну, к ним, в Займище...

— Да ты в уме, девка? Кто ж туда к ним пойдет? Отец твой? Да он тут собирает свою, выселковскую, артель, грозитя извести всех займищенских богачей... И он к ним пойдет, пропивать дочку им! Али я пойду пропивать? Да он убьет меня, если пойду. Он и за вчерашнее грозил кулаками. А тебя встретит, засадит в холодный амбар. Так что беги назад, девка. Откуда пришла, туда и ступай! — Мать убрала дочерину голову с плеча.— Уходи, пока не пришел он. Уходи, уходи! Да надень еще теплую шаль! — кинулась она вдогонку дочери, уже растворившей дверь избы. — Слышишь, ветер на улице, морозище... Хоть рукавицы меховые возьми!..

Про рукавицы Варька услышала уже на крыльце. Дул ветер, как накануне, швырялся снегом в лицо, она не отворачивалась от снега и ветра и в родной дом не вернулась, чтобы взять рукавицы и шаль, выбежала из ворот. Да она лучше замерзнет на перевале, чем потянется за подачкой из рук матери и отца! Раз они чужие, недобрые.

И в проулке не переставала твердить о недобрых, чужих, что тут, что там, в Займище! Нет в мире добрых людей!.. Так думала, разобидевшись, Варька. Уже миновала сарай, очутилась на самом юру меж двумя жидкими изгородами и тут, неподалеку от выхода в поле, завязла в сугробе. Он был продолговатый, округлый, наподобие могильного холмика, и Варька, глядя на него, обреченно подумала: «Вот здесь и замерзнуть и умереть».

А подем, поперек заметенной дороги, летел снег, будто мчались серые лошади, трясли гривами. Одна, сильная и грудастая, повернула в ее сторону, неся выше себя круто поставленную дугу, и остановилась, не добегая.

— Родька, родненький! — обрадованная, вскрикнула Варька и по колено суметом пробежала к кошевке, свалилась мужу в колени. — Ты куда?

— Куда более, за тобой.

6

С этого дня Родька частенько катал в легкой кошевке молодую жену: запряжет в корень серого жеребца, пристегнет сбоку карюю молодую кобылку и — берегитесь, люди! — помчались. И на выселок залетят, и проскочат сгоряча на Чулым за семь километров, и, случалось, урежут вдоль по Чулыму; а после свадебного пиршества (Варькиных родителей на свадьбе не было) до рассвета гоняли на двух парах с гармонью и песнями, немного не доезжали до железной дороги, до города.

Варьке нравились эти поездки, чувствовал Родион, не мог попервости разобраться, чем нравились, позднее начал догадываться, да и сама Варька призналась: разрывается надвое между Займищем и выселком сердце, а села в кошевку, поехала, и вроде не надо дележки, на равном расстоянии от двух точек, даже над ними, и вольна, будто птица, легка.

В этот день сразу после обеда Родька решил свозить ее вниз по Удинке, впадавшей в Чулым, на мельницу. Работала новокупленная вторую неделю исправно, молола пшеницу и рожь, каждый день одаривала доходом, а видеть ее молодые муж и жена в четыре хозяйских глаза не видели. И вот подкатили на жеребце, Родька в драповом пальто цвета маренго, она в плюшевой черной жакетке, купленной уже после свадьбы, по плечам разлеглась черно-бурая лиса, с лапками, с мордочкой, на руках — муфта, тоже плюшевая, по краям обшитая мехом. В таком наряде только ездить по гостям, они пожаловали на мельницу — так захотел Родион.

Мельница, издали слышалось, устало гудела и тяжело вздыхала, как натруженный человек, ее врытое в

речной берег невысокое здание содрогалось от движений в деревянном нутре, заматеревшем в сырости и на холоду; правой входной двери, скрытая от глаз щелястым забором, плескалась на плечах вода, растекалась мутным озерком,— его уже видели Родька и Варька,— превращалась снова в речушку, делала крутой поворот и за поворотом ловко подныривала под лед. Лед и снег... На утопанном снегу слева от входа стояли три распряженных и привязанных к саням лошаденки,— значит, были помольщики, может, свои, займищенские, может, из других деревень. Молодые хозяева торкнулись в дверь,— она далась им не сразу, и оказались в затхлом помещении, едва освещенном двумя окошечками где-то вверху. Варька даже наткнулась на что-то мягкое, но тугое. Кули с мукой! Скоро Варькины глаза видели их великое множество, сложенных кучками и поставленных на попу, видели хлопотавших возле большущего бункера мужиков в полушубках и шапках, прибеленных мучной пылью. На приветствие Родьки люди, как один, оглянулись, а самый старей из них, с бородищей до пояса, не поймешь сивой или тоже в муке, отделился от остальных и, подбегая вприпрыжку, запричитал:

— Благодетель мой, Родион, стало быть, Аверьянович!.. Посмотреть приехал на свое заведение? Проходи, молодой хозяин, смотри. Покажи супружнице своей мельницу. Добра вам, здоровья, мои благодетели, а придет срок, как подходит ко мне, грешному, нонеча, то и царства небесного! А до того царства небесного, Аверьянович, еще царствовать, ух, царствовать тебе на земле. Да с твоей мельницей!.. Да с умом твоим и молодыми годами!.. Дако, дако я тебя обниму.— И он, весь пропитанный мучным, полез обниматься, и Родька не отстранился от него, видела Варька, дал чмокнуть в одну щеку и в другую, а главное, разрешил завозить новое драповое пальто, по всему переду его лохматились белые пятна.— Вот так! — явно довольный тем, что он натворил, ухмыльнулся старик.— Теперь пожелать что-то тебе, молодая хозяйюшка...— Теперь-то Варька догадывалась, это мельник, доставшийся от прежнего хозяина Пентюхова Матюхи.— Пожелать тебе, белая лебедушка, жить в мире, согласии с лебедем сизокрылым да нарожать деток, сколь пожелаете, сколько можете прокормить. А прокормите сколько угодно, было бы желание

рожать. Одна мельница полдеревни прокормит.— И он потянулся к хозяйшке, не отважился целовать, но попробовал загрести руками, поелозить своей одеждой по ее черному плюшу. Он даже мазнул ей лицо, будто обмакнутым в муке рукавом полушубка. Да еще хитро подморгнул Родьке: — Так ли я, Аверьянович, действую?

И тот подтвердил, тоже с хитрой ухмылкой:

— Так, так!

Варька ничего не могла понять из их разговора с подмаргиванием и ухмылкой, как не понимала странных выходок деда, стояла, робко отряхиваясь перчатками. Хотела, покуда сильно не въелось, оттереть и Родькино драповое пальто, да не успела, он пошел следом за стариком, пригласившим его зачем-то в глубь сырого темного помещения.

— И ты, ты с нами, благодетельница моя,— оглядываясь, помел бородищей старик.— Приглашаю к себе.

Обойдя кучи мешков, они протиснулись в какую-то щель, закуток. Варька прикрыла за собой узкую дверь. Тут стоял топчан, под драной шубенкой, в углу торчала печка-буржуйка — вот и все имущество мельника, все его удобства. Даже окна не было, в косой стенке зияла дыра с кое-как вделанной в нее мутной стеклиной. И в этой конуре, как поняла Варька, старый мельник жил много лет и зим.

— Мне тут сподручно,— говорил он, присаживаясь на топчан. Сел рядом с ним Родька, она, Варька, стояла у дверей, больше места для сидения не было.— Привычно! — хвалился старик, хлопая себя по коленям и выбивая белесую пыль.— И ты меня не гони, Аверьянович,— рука его коснулась Родькиного колена, оставила на нем след пальцев.— Зима на дворе, холод, куда я пойду? А касаясь денег, так денег от вас мне не надо, молочишко, мясишко будет немного когда, мне и ладно, мучка у меня под руками, смолол рожь ли, пшеницу кому-то, горох али гречку смолол, всегда насыплют старому туесок. Да там и насыпано, еще при Матюхе.— Он показал локтем на две полки, висевшие около печки, на стоявшие там туески.— Уж ты не обидь меня, Аверьянович, оставь, буду молиться за тебя Иисусу Христу.

Родька поскреб пятерней затылок, будто бы трудно, так трудно уступить мельнику.

— Я тебя понимаю, дедок, но и мне, сам посуди, что делать, как быть: второй работник в хозяйстве.

— Да я старый, какой я второй!

— Какой ни есть, а работник,— продолжал для вида упираться молодой Лихов.— За родственника еще, может, и выйдет какая поблажка, за чужого не жди.

— А хочешь, я тоже родственником скажусь?

— А поверят в деревне? Кто нам поверит?

— Ну, буду жить, как Матюхин работник, не ваш. Будто задолжал тому и, стало быть, изволь отработать вам с батюшкой, такие у вас с Матюхой расчеты.

— Не знаю, выйдет ли что. Пожалуй, не выйдет,— хитрил Родион, не собираясь, конечно, прогонять старого мельника. Скажешь ему: «Уходи!»— а на кого оставишь свое заведение? Кто будет управлять жерновами, принимать помольщиков и, на худой конец, сторожить мельницу? Степка? У того хватает возни со скотом, с лошадьми. Можно бы самому тут заняться, покуда зима, но как оторваться от Варьки? Нет, от Варьки он теперь ни на час!.. Так что старика надо призадержать, если он и побежит с мельницы, уговорить, чтобы остался. И ни черта ему, Родьке, за этого деда не будет, раз он сам прилепился. Молочишка, мясишка, пожалуйста, ешь, только сиди в этой дыре, чертомель! — Ума не приложу, что с тобой делать, старик. Да и сам ты сегодня так говоришь, завтра скажешь иначе,— когда получать заработанное. Еще раньше потянешь Лихова в сельсовет, заставишь подписывать договор, по закону.

— Да милый ты, Аверьянович! Да на кой ляд мне тот договор, может, седня я жив, завтра нет меня, закопали. А пока мне тут хорошо. Привычно! — опять начал он похваляться.— И вам будет хорошо.

Варька, шагнувшая от дверей, уже хотела что-то сказать, кажется, заступиться за старого, Родька опередил ее, вставая с топчана:

— Ладно, дед, покуда живи!

— Благодетель ты мой! — старик начал было опускаться перед ним на колени. Родька придержал его за подмышки.

— Не надо.

— Не надо, значит, не надо, — согласился старик и протянул руки, хотел обнять благодетеля в знак благодарности, да тот уже шел к двери, потому успел толь-

ко похлопать ладошками по спине; потер пальцы о свой полушубок в муке и еще царапнул ими, оставляя следы.— В память о посещении! — гыгыкнул.

— Не возражаю, пятнай!

Они прошли к деревянному бункеру, полному свежей муки, громоздившейся конусом выше краев; а сверху, из-под гремящего жернова все сыпалась белая распушенная струйка. Родька сунул под нее руку и шевельнул забеленными пальцами.

— Горяченькая!

Протянула руку и Варька.

— Пусть не горячая, теплая.

— А запах, запах какой! — Родька наклонился над бункером и нюхнул струйку, а потом и бочок конуса.— Понюхай-ка, Варька.— И когда та наклонилась, положил руку ей на затылок, заставил ее макнуть носом в муку.

— Родька?! — вскинулась она ошалело. Нос, щеки ее, подбородок да и ворот жакетки, лисий горжет,— все было в муке.— Ты что со мной делаешь? Вы что надо мной вытворяете?

— Да это же шутка,— расхохотался Родион и, набрав горсть муки, посыпал на ее полушалок, тоже новопкупленный, из темного он сделался белым.

— Ну, Родька!..

А позади ее стоял старый мельник, кропил мучкой затылок и плечи.

— Вот так-то! Так полагается, хозяйева, тем паче молодожены, и обижаться на такое нельзя.

Варька же не на шутку обиделась. Она первой выбежала на воздух и свет и принялась выхлопывать полушалок. А от него не отставало, надо отмачивать в теплой воде. И жакетка новая не поддавалась никакой чистке, сколько она ни терла перчатками и клочком сена,— хоть плачь.

Родька стоял поодаль и зубоскалил:

— Испортили у молодушки наряды! Испохабили!.. Да купим другие, шикарней! — Потом убеждал жену, что такой существует обычай, ничего не поделаешь: обзавелся мельницей, понюхай муки. Новичков, чуть они появились на кораблях, окунают в морскую соленую воду, новоиспеченных хозяев мельницы вываживают в муке.

Обратно ехали под одной дохой и в обнимку. Дорога была ровная, лошади без понукания шли ходко, и Родька, переполненный радостью, что он отныне хозяин — хозяин! — и есть у него молодая хозяйка, он чмокнул в нос Варьку, затянул песню «Хазбулат удалой». Пел о неведомом ему Хазбулате, у которого какой-то богач хотел выменять на коня, на седло молодую жену, и чувствовал, что пьянеет от пения. И уж не какого-то удальца Хазбулата, не охочего до его жены богача видел перед собой Родька, он видел себя, одновременно богатым и удалым. Ни покупать, ни выменивать у кого-то молодую жену, ни тем более променивать свою — это Варьку-то?! — ему, конечно, не потребуется, а вот крупорушку он купит, присоединит к мельнице, пусть вместе гремят жерновами. Там можно замахнуться и на маслобойный завод.

Пел Родька громко, орал на все поле про Хазбулата, про Стеньку Разина и про славное море, священный Байкал и умолк только на окраине Займища, и то голос умолк, а душа продолжала петь. Все перевернулось внутри и заполнилось другим, пока непонятным, однако тревожным, когда подъехали к родному крестовику с деревянным кружевом по карнизу: у ворот в плотно подогнанную косую дощечку стоял заседланный пегий конек, на котором всегда ездили председатель сельсовета и участковый милиционер.

— В чем дело? — требовательно спросил Родион, войдя впереди жены в дом и, обращаясь к участковому (тот сидел в красном углу горницы, за столом, и что-то писал) и к своим займищенским Ипату-Ветродную («Чего ему надо?!») и к Фроське («А эта, эта зачем?!»), сидевшим по правую и левую руку от милиционера.

Ответил, жалуясь, перепуганный не на шутку отец:

— Вот, сынок, описывают имущество...

— Как это?.. — Родион шагнул к участковому. — Почему?

И тот поднял над бумагой усатое лицо с прилипшей к нижней губе сигаркой, которая уже не дымила, спокойно и вежливо пояснил:

— Задолжали по хлебушку? Не вывезли к сроку? Хитрили?.. Вот и сделали себе хуже.— Он оглядел перед светом из окошка бумагу.— Остается переписать.

В первый момент после этого Родька даже подумал

с облегчением: «Пронесло!» — и попятился к двери, сел на скамью рядом с женой. Он же более опасался, что ему попадет за ту выходку на дороге, за историю с Фроськой, потому и приехал милиционер, потому и очутились в избе Фроська и Ветродуй. А оказывается... И тут Родьку охватило еще большее беспокойство: могут припугнуть только, а могут и забрать что-то, к примеру Серка, уж больно старательно переписывает бумагу милиционер. Ветродуй, этот ерзает беспрестанно на стуле, трясет бородашкой.

— Приходится... — донесся его полушепот. — Скажи идти, куда деться — пошел. И Фроське сказали — пошла. Если бы не сказали...

Родион не очень-то верил в Ипатовы слова, знал, какой он непостоянный, сегодня одно может сказать, завтра другое, не зря и прозвище дадено — Ветродуй. Но бояться его не боялся. Пугала в эти едва тащившиеся минуты, пока участковый скрипел перышком по бумаге, молча сидевшая Фроська. Она сидела, наглухо повязанная платком, сидела, не шевелясь, и только глаза ее, круглые от напряжения, вскидывались изредка, будто стреляли, улавливал Родька, в него. Ох, и ненавидела она его, в душе своей костерила! А, разобраться, за что? Что не женился на ней, взял Варьку? Так в ее, Варькину, сторону потянуло. Что воспользовался тогда?.. Ох, хотела бы она задавить своими руками обидчика, стереть в порошок всю их лиховскую породу.

А Фроськины глаза все круглей и свинцовей. Временами Родьке казалось, что это даже не займищенская поденщица Фроська; по тому, как повязывается платком, затягивая уши и оставляя нос да глаза, конечно, она, а в остальном не совсем похожа. Да та, Фроська, умела смеяться, она дрожала и вся извивалась под его козьей дохой, эта сидит каменно и смотрит железно.

Участковый переписал начисто два тетрадных в клетку листка, проставил фамилию и дал на подпись понятному и понятой. Фроська быстренько расписалась и, неожиданно всхлипнув, выбежала из дома; Ипат-Ветродуй задержался. Задержался и милиционер. Родька угостил их дорогими папиросами и, покуда отец читал опись и потом неохотно расписывался, успел поговорить с участковым. Тихо и спокойно. И когда тот ушел, тол-



кая впереди себя Ветродуя, даже подумал, что все обойдется благополучно. Отцу сказал:

— Пронесет!

7

Последней со двора уводили карюю молодую кобылку. Упираясь, она нехотя переступила передними ногами вмерзшую в лед подворотню и повернула гривастую голову, жалобно заржала. И Родька, ревниво следивший за всем, что происходило в их доме, соскочил с крыльца, побежал вдогонку. Что хотел сделать, он и сам толком не знал; да и не успел бы что-нибудь сделать: лошадь, взвившись, выскочила на улицу, ее задние ноги в белых чулках хлестнули о подворотню копытами. Калитка тотчас захлопнулась.

Родька постоял, потупившись, посреди пустого и враз онемевшего после сутолоки двора и, стариковски сутулясь, прошел под навес, там бухнулся в привезенное накануне еще рыхлое сено. Пласт сухого пырея, шурша, накрыл его с головой, он не стал из-под него вызволяться, только подтянул к лицу правую руку, чтобы убраться с глаз сенинки, дотронулся пальцами до виска и ощутил сырое, горячее. Слезы!

...Он тогда, после описи имущества, не стал перечить отцу, дал согласие вывезти хлеб. А наутро, когда надо было запрягать лошадей и грузиться (и Степка прибежал, спрашивал: «Запрягать?»), опять передумал, не повезет. Покуда не повезет. Да и на улице дуло, несло снег. С утра и до позднего вечера бесновалась пурга; и весь день с перерывами на завтрак да на обед провалился в постели Родион. Конечно, не один, с Варькой. На следующий день пурга унялась, так опять неохота было одеваться и обуваться. Сегодня в дом пришли люди и объявили торги. Только тут Родька и понял: не пронесло. Отец пробовал говорить, что вывезет хлеб, на базаре купит ржи и пшеницы (хотя было припрятано зерно), а сдаст; но на этот раз не поверили ему. Считай, за половину базарной цены и увел красно-пеструю с прямыми рожками корову один займищенский переселенец из Вятки. Кладеный бык двух лет, по третьему году, достался, тоже за бесценно, районной столовой.

Карюю молодую кобылку и старую, но еще справную Воронуху забрал вновь созданный выселковский ТОЗ — дорогой тестюшко удружил молодому зятюку. Родька особенно жалел лошадей. Если бы повели за ворота Серка, он ввязался бы в драку. Нет, он забежал бы в дом и схватил со стенки ружье.

Так думал после случившегося Родион. Его кто-то звал, кажется, Варька, он нарочно не откликнулся: не хотелось никого видеть, даже ее, молодую жену. Насторожился, когда разобрал знакомые с детства глухой бас и мальчишеский писк Пентюхова Матюхи. Чего он пришел? Посочувствовать соседям? Или тоже пожаловаться?

Осторожно, чтобы не шуршать сеном, Родька выбрался из укрытия и заскочил в конюшню и, только отряхнувшись там и выхлопав шапку, как ни в чем не бывало, спокойный и строгий, через ограду взял направление к крыльцу дома, на голоса.

У крыльца стояли и разговаривали Варька и Степка, оба в полушубках внакидку, значит, только что из избы, и тепло одетый, в собачьих унтах и дохе, стало быть с улицы, Пентюхов. Он первый заметил его, Родьку, и не по-мужски тонко воскликнул:

— Да вот он! — И неуклюже рванулся в его сторону, коренастый и длиннорукий, руки его в мохнашках, тоже собачьих, чуть ли не касались земли, забасил трубно: — Что делает с нашим братом голытьба. — И опять тонко и плачуще: — Грабют, бесштанники!

Родька шел ровным шагом, не торопясь; он на первых порах меньше вникал в смысл Матюхиных слов, больше прислушивался к звучанию его голоса и, хотя знал этого человека давно, как всегда удивлялся: то дишкантит, то басит. Это случилось с Матюхой, рассказывали в деревне, давно, когда он был конопатым подростком и у него ломался голос. Он тогда наткнулся в тайге на медведя и сильно перепугался. С той поры и говорит двумя голосами, будто бы повлиял тот испуг. Двухголосый, из себя кряжистый, что тебе пень, а лицо дряблое, бабье, подслеповатое, ни бороды, ни усов. И одежда на человеке, хотя и теплая, а старье, вон доха в заплатках и дырах, унты стоптаны, с вытертым мехом, — посмотреть со стороны, тюха-Матюха, пентюх, тоже из голытьбы. А он хлеба насевал до прошлого го-

да больше всех в Займище, держал столько скотины, что переселенцы всей округи косили на богатея траву, вятские косами, вологодские, те горбушами, похожими на серпы. И как он с мельницей распостылся?! Учужал, что отберут?..

Родька провел нежданного гостя в полутемень старой избы, где держали конскую сбрую да кожевенный материал и шорный инструмент и где обычно дневал, а по летам и ночевал Степка.

— У тебя тоже были торги?

— Будут, — пискнул Матюха, сутулясь. — Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. — И уже басовито, шершаво: — Если не поднимем сжатый кулак... Да кто на смелится даже какую-никакую руку поднять, у кого она с костью? Вот моя, к слову, — он приподнял свою правую, ощупал левой рукой, — так себе, гуж сыромятный, а не рука, один путь с нею, на погост. Мог бы взять какую берданку, так опять глаза никудышные, за версту видят, а поблизости мушку и прорезь не разглядят. Вот сижу рядом с тобой и вижу тебя, а вижу так, в мутной воде. Неспособный стал, ни к чему не способный! Были бы парни дома, в чем-то помогли отцу, парней, сам знаешь, нету, один, как уехал, так будто в воду канул, другой живет в городе, так опять операция у него, я тебе говорил. А Иван Степанович, что в заречье, тот вовсе без сыновей, у того, сам знаешь, одни девки. Своей же смелости нету, пуглив. Вот такие мы, неспособные постоять за себя, слабосильные.

— Так уж и!.. — буркнул Родька сердито.

— У одних поджилки трясутся, у других руки коротки, без когтей. Некому!

— Найдутся!

— Уж не ты ли? — хихикнул Матюха. — Это ж... хи-хи... не «цыганочку» под гармонь, не с Фроськой у вереи...

— Плохо ты меня знаешь! — Родька прошел в угол, где стоял невысокий верстак, над ним, в стенке, торчали, сунутые в щели закоптившихся бревен, ножи, шилья, напильники, и выдернул поавшийся под руку Степкин сапожный нож, поднял выше головы, мол, смотри в оба глаза, тюха-Матюха, и, когда тот подслеповато заморгал, черкнул лезвием ножа наискось по ука-

зательному пальцу левой руки. Рана получилась неглубокая, кровь выступила отдельными бисеринками, но Родька подавил палец, и с руки закапало на верстак.— Ясно?

— Ясно, — выпучил глаза, будто оробел от одного вида крови, Матюха. — Вот теперь ясно. Только что же ты делаешь, нарень? — засуетился он около Родьки. — Долго ли подхватить какую заразу, надо присыпать золой. И завязать. Найдется, чем завязать?

— Есть Варькин платок. — Родька вытянул из кармана белый платок, меченный голубыми каемками, и обтер порезанный палец. Степкин нож тоже обтер и с размаха вонзил в стенку. Черенок, обтянутый кожей, заходил, вибрируя, вверх-вниз-вверх.

— Не сапожным ли ножом думаешь действовать, Родион?

— Нет.

— Я тоже думаю, нет. Да что у нас ничего не найдется, кроме железячки заточенной? Ружей, может быть, мало? Дроби, пороху нет?.. А ты знаешь его, — зашептал Матюха прерывисто, — наиглавного дьявола, что продает нас? Не знаешь? И что он еще может затеять, неведомо? Так слухай. Да пойди и закрой плотней двери... — Родька сбегал к дверям, накинул на петлю крючок. — Вбирай в оба уха... Да отойдем от окошка в куток.

То, что услышал Родион, его обожгло, как раскаленным железом: оказывается, и в газетах недавно писалось, что будет сплошная коллективизация, за нею вслед и раскулачивание. Был на той стороне Чулыма выселковский ТОЗ, была за Чулымом коммуна, теперь в каждой деревне появятся не коммуна, так ТОЗ, и все будет ихним. А нашего брата отправят в другие края.

Родька и верил Пентюхову и не верил, во всяком случае, сомневался. Что они с отцом не работают сами, только за счет Фросек и Степок одних и живут? Тоже трудятся, ночи не спят... Нет, не может этого быть!.. И опять думал: а хлеб-то выгребают из ям... А Матюха дышал луком в лицо и нашептывал:

— Оберут! Ох, не пожалеют, оберут, кто побогаче, до нитки, потом, голых, вытурят из домов! Если не вздеть на рогатину их наиглавного, дьявола...

— Да кто он у них?! — взорал Родька. — Сельсоветский наш председатель?

— А ты, Родюшка, покумекай, чтобы определить кто.

— Районщик-уполномоченный?

— Так он что, он приехал сюда, ему о ком-то сказали, он и... А есть человек, который районщикам говорит. И своей бедноте вшивой, наподобие Ветродуя, внушает, кого не сегодня, так завтра к ногтю.

«Председатель сельсовета, дальний родственник Фроськин! — загвоздил себе Родион. — Он рассылает окладные листы на налог, он дает предписания на хлеб в заготовку...»

— И он, наиглавный, — продолжал шепотом, сбиваясь на писк и воровато озираясь, Матюха, — бедноту собирает сегодня, будут решать окончательно, кого, стало быть, в порошок... Первого кого там, второго по счету, пятого и десятого... Завтра сам повезет займищенские бумаги на утверждение в район.

— Рано утром поедет? — еще точно не зная зачем, спросил Родион.

— На рассвете, чтобы к вечеру возвратиться. По дороге на выселок... Теперь снега полно, только наискось через падь да бугром через выселок и проедешь... — Пентюхов задышал тяжело, как при быстрой ходьбе. — Там самолучшее место...

«Ах, сволочь! — отшатнулся от него Родион. — Уже в полной уверенности, что пойду убивать!»

— На сельсоветской пегашке поедет, так что приметно. В сельсоветской дохе, пестрые рукава... Да что думать особо?! И что я тебя силком заставляю?! Да мне и разговаривать с тобой более некогда. — Матюха заторопился, одергивая доху. — Бежать скорее домой, вдруг тоже пришли и распродают...

Родька выпустил его из старой избы и снова закрылся на крючок. Что-то такое происходило с ним, он боялся выйти на свет, показаться людям: вдруг на свету они разглядят на нем или в нем что-то такое, что не должны видеть и знать. Боялся встретиться с Варькой, — и она разгадает его тайну. И выдаст, хотя он и муж ее и ни в чем покуда не виноват.

Так и сидел в темном углу, уже и поборов в себе страхи, а под конец и бездумно, пока не приехал из ле-

су с двумя возами еще всенодельных дров Степка, не забарабанил в дверь:

— Кто там сидит, черт возьми, открывай!

8

Не отсебятину нес двухголосый Матюха, собрание займищенской бедноты совместно с партячейкой вечером состоялось. Который раз уже судили-рядили, кто в Займище явно классовый враг, кого следует раскулачить и выслать. И с Пентюховым Матвеем Никаноровичем и с Царегородцевым Иваном Степановичем было ясно, а вот на семье Лиховых споткнулись.

Учитель, он же секретарь ячейки, Павел Петрович поперебирал пальцами пуговицы на темной толстовке и встал за столом, аккуратный и строгий, заговорил тихо, а получилось сразу-то, заглушил все голоса:

— Я думаю, товарищи беднота, не будем разжигать в себе страсти. Не надо! — Он повел так ладонью, будто отодвинул что-то от себя. — Зачем увлекаться словечками «вампир», «гидра», «эксплуататор безжалостный», довольно того, что — кулак.

— А ежели правда? — задиристый голос из потемок кутка.

— Что правда?

— Вампир!

— Да значение-то слова «вампир» — не вижу, кто там в кутке, — вам известно?

— А как же! «Царь-вампир из тебя тянет жилы, царь-вампир пьет народную кровь...»

— Так все-таки царь, — сдержанно усмехнулся Павел Петрович, — эксплуататор масштабом побольше. А тут, как ни вертите, крестьянин, займищенский мужик Аверьян Лихов. К середнякам его не причислишь, не такое хозяйство, но и с кулаками, как Пентюхов, не сравнишь. Тот служил у Колчака, а после гражданской все время держал батраков, не по одному.

— И у этого постоянно работники! — не сдавался крикливый.

— Кто, какие? Скажете, Степка?

— Он самый, хотя бы.

Стоявший возле окна председатель выселковского ТОЗа Василий Васильевич приподнял руку:

— А он дело говорит, мужики, и Аверьян без работников не живал.

— Я сам гнул на него спину, жал и косил!

— О сенокосе и жатве говорить не приходится, — продолжал Василий Васильевич спокойно, — началось страдное время, редкий в Займище не ищет сезонника. А столько засеять, как Аверьян Лихов, держать полную ограду скотины, и чтобы без чужих рук? Были, есть у него наемные люди и всегда будут, если его только не тряхнуть. До последнего времени держал одного Степку, а теперь вон заполучил с мельницей от Матюхи еще старика.

— Стало быть, два работника у Аверьяна? — спросил Павел Петрович.

— Один да один получается два. И прошлый год было два, кроме Степки, еще жила девка из-за Чулыма. И тогда два, и теперь два.

— Но, товарищи! — Павел Петрович потянулся к собранию через стол. — Попробуем разглядеть, дорогие товарищи, нынешних Аверьяновых работников пристальней. Кто такой Степка? Да это же родственник ихний, не самого Аверьяна, его Катерины. Сирота. Взяли в дом сироту восьми лет, сразу в школу отдали, учился у меня хорошо. И вот вырос, живет в семье не за чужого, за своего.

— Ширма! — все тот же неистовый голос молотобойца общественной кузницы.

— Да какая тут ширма, на одних правах, что Родька, что он. Если даже не родственник, так ничего страшного, парень сытый, одетый. Наступит срок, пойдет служить в Красную Армию. Теперь о старике, что на мельнице. Тоже человек одинокий. И, пожалуй, не помнящий родства. Прогони Родька его, куда он пойдет? Может, вы кто-нибудь примете его в дом и будете кормить? Нет? Так что, дорогие товарищи, надобно разбираться, что за работники в семье, сколько их и каких.

Василий Васильевич, слушавший учителя внимательно, сунул в руки Ипата-Ветродуя кисет (тому приспичило закурить, а своего табака, как всегда, не было) и подался на шаг от окошка, заговорил без горячности, но укоряющим тоном:

— Вот вы, Павел Петрович, секретарь нашей ячейки

и учитель нашим детям и внукам, а говорите о кулаке по-доброму, мягко.

— Я должен говорить с кровью, со злом?

— Может, и без крови, но что их шибко жалеть? Они-то других особенно не жалели. Тот же Аверьян Лихов. Даст пуд хлеба взаймы, выговорит за него два. Али отработай с понедельника до воскресенья у Аверьяна в страду. А спекулянтичал? Это ж известно каждому в Займище, как спекулянтичал. Сколько было войн, ни на одну не ходил, куроводил тут над бабами, над солдатками, подминал старых и молодых под себя. — Василий Васильевич поотмахивался рукой от пристававшего к нему снова Ипата и наконец обернулся к нему. — Получил табаку, дай тебе огонька?

— Огонек у меня есть, возьми обратно кисет. А сватушку, значит, не жалко, что будем кулачить?

— Не жалко! — буркнул Василий Васильевич и рывком сунул кисет с табаком в карман стеганки. — Что его такого жалеть!

— И Варьки?.. Варьки не жаль, выгонят ее с Родькой из крестовика?

— А Варька, если хватит ума, возвратится домой. Не хватит — пусть пеняет на себя. Но она, что она, еще желторотая, а вот он, — Василий Васильевич опять обернулся к учителю и секретарю ячейки, — вы, Павел Петрович, человек большого понятия и партиец со стажем, проявляете лишнюю жалость. Кулака жалете, всем известного мироеда, и этим, я думаю, вы, Павел Петрович, клоните вправо.

Тот опять поперебирал пуговицы на толстовке, но быстрее и нервнее, поправил на себе ремешок.

— Не думаю, Василий Васильевич, — сказал без обиды, но все же досадливо. — Мне кажется, вы клоните влево.

— Уклон! — снова выкрик молотобойца. — У товарища учителя правый уклон!

— Да позвольте! — повысил голос и Павел Петрович. — Я же не зачисляю Аверьяна Лихова, к примеру, в середняки. Кулак он. Но я хочу сам и призываю вас разобраться в точности, какой он кулак, насколько социально опасный. И нам надо добиваться точного разбирательства, по каждой кандидатуре отдельно, не допускать перегибов, они на руку классовому врагу. —



Павел Петрович помолчал, требуя тишины и внимания. — Я предлагаю Аверьяна Григорьевича Лихова с семьей раскулачить, но не высылать. Поскольку особой опасности для нашего общества эти люди не представляют, сам Аверьян уже старый, больной...

— Не такой уж больной, вчера видел, бегают по усадьбе.

— Больной, выпали волчьи клыки. Сын Родька еще молод, только ветерок в голове. Еще мнения будут? Кто еще хочет сказать? Василий Васильевич, в завершенние?

Тот, как и многие, не удержался и закурил. Сказал, пыхнув толстенной, в указательный палец, сигаркой:

— С высылкой...

— Ипат Митрофанович?..

— А? Что? — откликнулся тот из-за спин, из дымного табачного облака. — Вы кого так называете, Павел Петрович, что ли, меня?

— Вас, кого же еще. Другого Ипата Митрофановича у нас в Займище нету. И не Ветродуем же вас по-уличному звать?

— Да я что, я ничего, — засмеялся тот желтозубо. — Меня хоть горшком назови, только в печку не ставь, насчет звания я негордый.

— Гордитесь тем, что не гордый! А по существу, что скажете? О Лихове Аверьяне?

— Дак можно так, можно эдак. Можно и оставить, все ж таки он, Аверьян, давал займы хлебушка бедноте.

— Значит, не высылать?

— Можно. Сам он еще ничего. Ничего. А вот Родька его, этот охальник. Этот зверюга! Ведь что сделал перед новым годом со мной?.. Ехал я из города, он, значитца, следом. Ну и налетел тучей на своем жеребце, сбил меня и мою лошаденку с дороги, в одну кучу свалил. Ведь какой варначина! Да он всю нашу деревню подомнет под себя, только оставь его тут...

— Начали за здравие, Ипат Митрофанович, кончае за упокой.

— Не так говорю? Дак я вместе со всеми. Куда скажет обчество, туда и пошел.

— Ефросинья? — позвал Павел Петрович единственную представительницу женщин и девушек на собра-

нии, и та молча встала, завязанная вокруг шеи платком, а заговорить не спешила. — Что ты думаешь, Фрося? Как поступить с Лиховым?..

— Не знаю.

— Что значит, «не знаю»?

— Как их кулачить, не знаю.

— Обычно активничала, не боялась высказать мнение, и вдруг сегодня не знать!

— Так я с шашкой на коне в кавалерии Буденного не скакала как Василий Васильевич, — Фрося посмотрела на того искоса, — книг с ваше, Павел Петрович, читать не приходилось, даже столько не видывала, откуда мне знать?

— Так что же ты, воздержишься от голосования?

— Присоединюсь, как Ипат Митрофанович, к большинству. — Она и на того поглядела, косясь.

— Другие что думают?.. — продолжал ставить вопросы Павел Петрович, так и не присев за столом. — Выслать или пусть останутся тут?

— Можно и тут.

— Пусть останутся! — загудели беззлобно скамейки.

— Ну что же, будем голосовать. — Павел Петрович расстегнул на толстовке верхнюю пуговицу — жарко и душно — тотчас же застегнулся. — Кто за то, чтобы Лиховых раскулачить и выслать, прошу поднять руки. Конечно, наше решение не окончательное, будет утверждать рик... Поднимайте, поднимайте, кто за. — Но рук не было. — Что же медлите, граждане? Василий Васильевич?

— Я поднимаю. — И он просунул меж двумя головами переднего ряда свою вялую, в обмошившемся рукаве.

— Куток?

— А, пожалуйста! — Сам молотобоец так и не показался, из-за боковины русской печи выстрелила рука.

— Двое, — объявил Павел Петрович. — Кто за второе предложение? — Он пересчитал руки. Пересчитал снова, потому что поднимались все новые. — Большинство. Кто против?.. Против нет. Стало быть, подавляющее большинство. — Он прибрал на столе бумаги, ссвал их в тощую папку. — Завтра утром доставим в район. Что тут говорено, товарищи, пока тайна, не разглашать. А теперь предлагаю спеть «Интернационал». Василий

Васильевич, ты после Конной армии мастер, а мне по должности в школе положено петь, начинаем. Раз... Два... Три!

Вставай проклятем заклеянный,  
Весь мир голодных и рабов...

К двум голосам присоединились остальные, и кое-как освещенная лампой половина сельсоветского пятистенника загудела, казалось, раздвинула бревенчатые венцы.

9

В глубине своего огорода, за баней, Родька перелез через затонувшую в рыхлом снегу невысокую изгородь и встал на лыжи, ошупью застегнул на тугих носках валенок ремни крепления. А шага, даже одного шага, вглядываясь в густую синеву раннего утра, не сделал, только надломил малость в коленном суставе правую ногу. Так обязательно и идти, кого-то там караулить? Да может быть, никакого раскулачивания и не будет, одни сивые бредни Матюхи. «А беднота собиралась вчера, — другой голос изнутри, — ведь что-то решала?..»

Правая нога Родьки двинула вперед широкую самодельную лыжу, бороздя снег, а левая потянулась за нею, как бы не размышляя, идти или погодить.

Снова остановился уже против сельсоветской усадьбы, со стороны поскотины и темневшего в отдалении леса... Накануне вечером не усидел дома, не завалился, как всегда, с Варькой в постель сразу же после ужина, а пошел посмотреть, что делается в сельсовете и клубе, действительно ли где-то там заседают ячейка и беднота, как уверял Пентюхов, решают их судьбу. Бревенчатый пятистенник сельсовета, еще издали заметил, был освещен; и такой гул в нем стоял, аж дребезжали оконницы. Привстав на носки и оглядываясь, нет ли кого поблизости, — будто бы никого, — Родька прошел впритирку с заплотом до обросших куржой зауголков и поверх ледяной корки на стеклах заглянул внутрь помещения. Там стояли плотной кучкой, в затылок друг другу, его, Родькины, односельчане и пели «Интернационал». Не ребяташки-школьники пели (мало ли певал

и он сам), а взрослые люди, бородатые и усатые мужики и только сбоку в первом ряду, повязанная серым платком, — женщина, Фроська. Она пела не так азартно, как некоторые другие, но старательно выводила мотив.

Это есть наш последний  
И решительный бо-о-ой!..

Ее голос выделился из всех и долго парил над мужскими, звонкий и чистый. Ипат Ветродуй, стоявший тоже передним, пел широко рото, но как-то неслышно, при этом под его реденькой бороденкой ходил вверх-вниз легкий, казалось, порожний кадык. Всяк по-своему пели и остальные, кто свободно и лихо выпятив грудь, кто немного смущаясь, потому глядя под ноги, на пол, выходило же у них хорошо. И Родька подумал, что не случайно они так складно поют, значит, есть и у них своя вера, своя правда и, может быть, поправдивей и повернее, чем у него. И он тут, под окошком, наверняка долго стоял бы, увлекшись неслыханным ранее пением, да где-то поблизости, на каком-то насесте взбалмошно кукарекнул петух и вспугнул его, он отскочил к зауголку.

И теперь, в липкой темени займищенских задворок, его, занятого воспоминаниями, вспугнул тоже петух, может, тот же, беспокойней других и горластей. Родька рванулся вперед и тотчас услышал скрип собственных лыж и скырлыкание палок о снег. Они скрипели и скырлыкали не так сильно, как ранее, с предосторожностью и с опаской. Так обязательно и идти и кого-то там караулить и убивать?..

Вскоре петухи горланили по всему Займищу, и были это третьи, предрассветные петухи; кое у кого по заречью уже светились желтовато окошки; а синяя мгла над открытой поскотиной как бы линяла, где-то далеко, далеко на юго-востоке, над чулымской тайгой проступала заря, еще не цветная, чуть светлая, даже было это только дыхание света, не свет. Хорошо, что встал рано, не залежался, пройдет мимо деревни, все-таки в темноте, не замеченным.

Только не было, совсем не было прежней уверенности, что надо идти. Идти, мстить за тот хлеб!.. За кобылку карюю, за старую, добрую Воронуху!.. За раску-

лачивание будто бы с высылкой!.. Нет, чувствовал Родька, он не может разжечь в себе возмущение, поднять его до вчерашнего уровня, сколько ни пытается восклицать. Временами ему казалось, что он только потому и не возвращается тотчас досыпать с Варькой, идет, что хочет утолить свое любопытство, увидеть, кто там поедет в район на сельсоветской пегашке, в сельсоветской дохе с пестрыми рукавами, что за дьявол, какой он из себя.

Огибая затонувшую в снегу изгородь, а далее распадашкой, между кустами Родька выбрел на луговину и устроился за стожком сена неподалеку от дороги, шагах этак в семидесяти, может быть в ста. Чтобы не мерзнуть — а было, наверно, под тридцать, — надрал сена и набросал себе под ноги да и сам наполовину втерся в стожок. С дороги, кроме стожка, его прикрывала еще загородка, вся в куржаке, а сам он в щель между пряслами видел темный отрезок дороги, по крайней мере угадывал в синеве; посветлей будет, разглядит и лошадь и человека. Он и ружье положил возле локтя, просунул стволы между пряслами. И теперь бы соображать, в какой точке дороги встретить выстрелом дьявола, как его не проворонить, не упустить, а он, Родька, опять начал сомневаться, зачем он пришел сюда, какой толк кого бы то ни было убивать. Да убьешь одного, поедет с бумагами второй, третий поедет, вон сколько их было на собрании и пело; всю бедноту займищенскую, всех партийцев не перестреляешь, одного порешишь, а вторым порешенным окажешься сам. Нет, не надо было идти на это черное дело. Если даже тебя не поймают, не разоблачат, ты все равно будешь мучиться угрызением совести: лишил жизни односельчанина, принял на душу грех.

Его начала донимать дрожь. Сидел вроде не на ветру, был одет в ватное, шубное, остыть так скоро не мог, а тряслись руки и ноги, все трепыхалось внутри. Сказывают, на войне человека знобит перед боем. И тут может быть бой. Да любой-каждый может взять на всякий случай берданку и пальнуть даже первым, если увидел — засада. Надо убрать с прясла стволы, вдруг и на самом деле заметят. Снял с изгороди ружье и тронул варежкой бараний малахай, сбил его на макушку. Уф! Перестало трясти, так бросило в жар. Стрях-

нув варежку с правой руки, коснулся лба ладонью, — точно, в поту. На лбу пот, а брови заиндевели, шурша, осыпается снежная пыль, на воротнике полушубка, ближе к подбородку, ледышки. А что будет дальше? Может, уйти, куда темно?

На рассвете заржала, выбегая из-за кустов, черная, в белых пезинах лошадка. Родион удивился собственному спокойствию: ни озноба, ни жара; даже испугался спокойствия: вот сейчас ударит из двух стволов сразу, и тому, кто едет, конец. Но может, еще пронесет нелегкая, кто бы ни ехал. Дай бог, чтобы пронесло! Дай бог, чтобы пронесло!

А бог не услышал мольбы, и двухстволка Лихова опять легла между пряслами, указательный палец правой руки, вылупившейся из варежки, подтянулся к спусковому крючку. Стрелять? Неужели-таки стрелять? А пегашка уже выбегала на прямую дорогу по направлению к стожку, ее передние ноги взбивали копытами снег, он летел брызгами; из ноздрей ровными порциями валил пар. Сквозь струю сизого пара Родька и разглядел за облучком саней контуры человека в дохе — того дьявола — и смело взял его на острие мушки, начал заводить ее в прорезь ружья. И подвел точно, а выстрела не услышал. И порадовался, что не прогремел выстрел. А когда пассажир, он же возница, опустил на плечи воротник пестрой дохи и повернул к стожку чисто выбритое, с короткими усиками лицо, Родька чуть не крикнул, тоже обрадованно: «Павел Петрович!» И тотчас вспыхнуло в памяти: «Мама и Ма-ша. Ма-ша мы-ла ра-му. Мы не ра-бы». Вот почему он после озноба и жара почувствовал себя на удивление спокойным: он знал, что не будет стрелять ни в кого! Вот почему он обрадовался, не выстрелив!

От стожка же, когда Павел Петрович проехал, уходил зверем, крадучись и петляя, чтобы запутать собственные следы. Хотелось поскорей скрыться, не попасть никому на глаза. И до деревни бежал, не было поблизости ни души. На окраине Займища издали увидел Ипата. Ветродуй, тоже на лыжах, держал направление в лес, за спиной у него болталась берданка. Побежал проверять петли на зайцев, попадетя косач — снимет с дерева косача. «Ну и я, — подумал о себе Родион, — я тоже охотник на зайца, на птицу». И приготовился

объясняться, что ничего не попало — не фарт. Но Ипат, кажется, не заметил его, пробежал стороной.

По пути к дому Родька завернул огородом через задние ворота к Матюхе. Но что за фокус, по двору бродит как-то обалдело скотина. Заскочил в дом — никого. И не только никого в доме, но выпотрошены сундуки и шкафы, что получше, стало быть, взято, а барахло валялось кучами на полу.

Родька вышел снова во двор. Мычали коровы, и блеяли голодные овцы. Лошадей не было; на лошадях, запряженных в кошевки и сани, Матюха бежал. Ты стреляй тут, а он — «До свиданьица, Займище!» Ну сволочная душа! Родька прицелился ногой к валявшемуся пустому ведру, явно брошенному в последний момент перед бегством, и подопнул его с силой; оно много раз подскочило, брэнча.

10

Варька, набиравшая из поленницы дров, увидела мужа, он входил осторожно через задние ворота в ограду и ставил в уголок лыжи, снимал с шеи ружье. Варька бросила под ноги набранные было поленья — грохот заставил Родьку вздрогнуть — и пошла к нему под тесовый навес, пружиня сильные ноги с набухшими в валенках икрами.

— Ты где был, говори?!

— Ходил за псокотину, думал, не попадетсЯ ли на мушку косач, — успел оправиться от смущения Родька. — Да нет, не попался. Зайчишку видел и разок выстрелил — промахнулся.

— Не ври, Родька! Ты и с вечера куда-то ходил. — Варька подступила к нему вплотную и взялась за цевье ружья. Она чувствовала, происходит что-то неладное, да и говорили в деревне, отдельных будут кулачить, и богатые мужики шушукуются между собой, к чему-то готовятся, понимала, что не стоит в стороне от событий и Родька. — Сказывай, где был вчера, куда сегодня ходил. Ну?

— Что «ну»? — вспыхнул Родион и вырвал ружье, закинул себе за спину. — Не запрягла еще, понукаешь.

Варьку будто оплеснули кипятком, она вскрикнула

и закрыла руками лицо, громко плача, запричитала:  
— Затеваешь что-то, не говоришь что. Еще меня впускаешь? Не бывать этому! Вы с отцом виноватые в чем-то, а я-то при чем? Заморочил мне голову, я к тебе прибежала, теперь роешь яму обоим?

— Что выдумываешь о яме? Какая, где яма?

— А зачем с ружьем ходишь? Куда?

— Заладила, куда да куда. На кудыкино болото!

— И-ш! — взвизгнула Варька, но тотчас умолкла, заслышав, что Родька говорит о ее отце, его тесте.

— ...Это он, председатель ТОЗа, точно, роет нам обоим могилу. А почему и зачем, его надо спросить. Вот сходила бы к ним да узнала. Не бывала более?

— Нет. — Варька утерлась ладошкой.

— Надо сходить к нему и сказать: «Мы ж тебе не чужие, свои, дочь родная и зять».

И Варька, до этого зарекавшаяся, что ноги ее не будет на выселке, решила, что надо идти, поклониться отцу, попросить его, пусть он не гневается на них с Родькой, пусть пожалеет, заступится. Где видано, где слыхано, чтобы тесть разорял зятя, отец ссылал дочь родную? Да неужели он такой бессердечный? Да отец ли он, если такой?

И вскоре, запыхавшаяся в пути, с распахнутой на груди шалью и взопревшим лицом, была на выселке, в родном доме, стояла посреди горницы и спрашивала — для начала спрашивала — отца:

— Это правда, что Лиховых будут кулачить?

— Правда. — Мать стояла у топившейся печки, передвигала ухватом чугуны и горшки, отец сидел за столом, завтракал; обмакнул половинку картофелины в зеленоватое постное масло и повторил: — Правда.

— А потом?

— Не исключено, что сошлют.

— И ты, мой отец, нам с Родькой ни в чем не поможешь? Не заступишься за нас?

— Нет.

— И несколько не пожалеешь? Свою Варьку не пожалеешь? — всхлипнула она, утираясь концом шали. — Она сгинет где-нибудь на чужбине...

— А она может не сгнуть. Варька может вернуться домой. Мы ее замуж не отдавали. Может, мать отдавала, а я нет.



— Но если она, не спросившись, ушла, — Варька зашмыгала носом, — так ей теперь пропадать? Девятнадцати годов на двадцатом?.. Живой ложиться в могилу?

— Правда что... — кудахтнула у печки мать, Фекла. Это дочку приободрило, она заголосила истошно:

— Не отец ты мне, а чужой человек, да еще злюка, и я ненавижу тебя, ненавижу! А чтобы пришла еще, поклонилась, так даже не думай, не жди! Был родной дом, теперь нету, были родители и тех нету. Что же, пущай!

Варька выбежала на мороз и, кое-как укутавшись шалью, кинулась за ворота, там свернула в проулок, на дорогу, что вела в Займище. Дул ледяной ветер, она не отворачивалась от него, шла. Сзади ехал займищенский мужик на двух лошадях, предложил, когда поравнялись, сесть в свободные сани — не села. Дойдет пешей! Не замерзнет, а если замерзнет, — пущай! Но лучше, конечно, дойти целой и невредимой, уехать куда-то и там, вот там, не обронив слезы единой, сгинуть в снегах.

Родьку встретила опять во дворе, они со Степкой грузили на сани-розвальни какие-то ящики. Погрузили, закрыли брезентом, и Степка выехал из ворот.

— Куда он? — спросила без него Варька.

— Тут недалеко, за Чулым. Была на выселке? Разговаривала с отцом?

— Говорила. Да ну его!.. Ты же знаешь, какой он есть. И сказал, да, Лиховых раскулачат и, вполне может быть, что сошлют.

— Знаю, — огрызнулся Родька. — И без него знаю.

— Так надо что-нибудь делать.

— Так вот делаю: отправляю кое-что за Чулым, к материной родне.

— А надежная это родня?

— А кто ее знает.

— Так надо же делать что-то еще, остальное спрятать где-нибудь здесь. — Варька метнулась под навес, где валялась солома. — Где-нибудь закопать.

Родька пошел за нею, озираясь, и стрельнул к погребу, вырытому прошлой весной. Там они прятали зерно. Ни один человек в Займище, кроме своих, в том числе Степки, про этот погреб не знал. В нем и теперь

лежали мешки пшеницы, оставшиеся от проданного уже после торгов. Но сколько они занимали там места! Родька открыл люк и спустился в подземелье по лесенке.

Не утерпела, спустилась и Варька, осмотрела потайник при зажженной спичке:

— Вот тут и спрятать которое подороже, чем возить куда-то, к какой-то родне.— Обратнo, в шубе и пуховом платке, проташить себя через лаз не могла, зацепилась за что-то, застряла, и Родька снизу бубнил: «Ну, что ты тут? Скоро ты?» А что она могла сделать? Пришлось опять спускаться на дно, сдирать с шеи платок и проталкивать его поверх головы. Завозила пуховый в глине и плесени, отчищать по-настоящему некогда, унесла и сунула за ящик в сенах. Тем более некогда было обихаживать себя Родьке, дай бог вынести из чулана, подтащить к погребу сундуки, приготовленные матерью и отцом. С тяжеленными управлялись с Варькой вдвоем, те что полегче, носили поодиночке.

Поздней, уже в сумерки, Родька стоял на дне погреба, Варька толклась наверху, подавала ему сундуки. Один крест-накрест обитый жестяными широкими лентами, не проходил в лаз и Родька командовал снизу:

— Другим боком его поверни!

— Поворачивала, все равно не проходит.

— Подруби топором края лаза! Бревешки!..

Варька притащила из старой избы топор, размахнулась и тюкнула, да угодила не по бревешку, по сундуку, боковая доска отлетела, в широкий пролом глянуло что-то мохнатое. Не смогла утерпеть, запустила в пролом руку и пошевелила там пальцами: овчины, готовые, выделанные, знай шей из них полушубки и шубы, не прохватит никакой на свете мороз.

Во втором большом сундуке (первый, подтесав бревешки, с грехом пополам пронесли) оказалось другое богатство. Этот сундук перед спуском Варька открыла: чего-чего только в нем не лежало, сверху шитое, а в середине отрезы, белое, голубое, коричневое, — у Варьки зарябило в глазах. Хотела проверить, что на дне сундука, да Родька закричал снизу:

— Ты что там уснула? Давай!

— Даю, Роденька, не сумлевайся, даю. Вот только

придвину к самому лазу и — получай, прячь понадежнее. Держишь?

— Держу.

Была плетуха с холстами и полотенцами; был ящик со всяческим инструментом, слесарным, плотницким, шорным, сапожным; оставалось подтащить к четырехугольному лазу небольшой, но тяжелый ящик с чем-то таким, что дребезжало и погромыхивало. И опять же из чистого любопытства, Варька приоткрыла крышку и заглянула искоса внутрь. Фарфоровая посуда! Чайная с голубыми цветочками и столовая в золотых ободках. Наверно и не держанная еще, в доме свекровки и свекра Варька такой не видала. Понатужившись, она начала придвигать ящик к самому лазу и в это время почувствовала, что под досками похрустывает и позванивает как-то особенно вкусно и сладко. Скорей окликнула Родьку:

— Держи там!

— Держу.

— Не тряхни, может разбиться, — посуда.

— Чувствую, что посуда. — Он принимал ящик на грудь, обхватывал обеими руками и уносил в дальний угол погреба осторожно, кажется, не дыша.

А Варька все равно слышала, как переговариваются чашки, тарелки, так и щебечут пичужками... Уж и погреб закрыли, сверху завалили соломой, а в ушах все стоял птичий клекот, фарфоровый звон, а перед глазами поднималась — из их подземного клада — разноцветная радуга.

## 11

Февральским пасмурным утром тяжело груженный санный обоз выполз из притихшего Займища; да и в обозе притихли и присмирели, больше ни истошного крика, ни плача, только скрип полозьев о снег; голова колонны закопалась в сонно заиндевелый кустарник начинавшегося сразу за деревней распадка. А они двое — Варька и Родька — все стояли посередине дороги против крайнего в Займище дома с обмерзшими окнами, потому незрячими; изредевшаяся за последние дни Варька повисла на мужнином плече и запричитала с новой беспомощной силой, охрипло:

— Ой, да что будет, что будет с тобой на чужбине?

Да как жить, пробиваться мне без тебя в Займище? Да тепереча у меня ни отца, ни матери, хоть они и неподалеку, за перевалом, ни свекровки, ни свекра поблизости, ни тебя-я-я! — растянула она голодной овечкой и вдруг сорвалась с Родькиного плеча, бухнулась в снег.

— Ладно, — сказал Родион, подхватывая ее под локоть и поднимая. — **Может, еще как-то устроится.**

— Что устроится? У других, может, устроится, у нас с тобой нет. Нас с тобой разлучили навеки. Ох, навеки вечные разлучили!

— Да с какой стати навеки? — встряхнул ее, скисшую, Родька. — Вот устроюсь там и дам о себе знать, ты летом на подготовленное приедешь.

— Да как я приеду к тебе с багажищем, вон он в подвале, его там на десять подвод?

— Продашь грузное, лишнее.

— Да когда я и чем торговала? Я и в городе, на базаре была один раз, продавала чеснок и не продала ни единой головки.

— Степка поможет продать, он не чужак какой-нибудь, свой. Степка и проводит на станцию, посадит в вагон. Поезд привезет, куда надо.

— А дальше? Как ехать дальше, если понадобится ехать опять не на поезде?

— Как, как! — загорячился Родион. — Ты сама вчера согласилась остаться, теперь спрашиваешь меня как. — Накануне вечером выяснилось, что их семье придется ехать только на своих лошадях, а всех лошадей осталось две пары, что дополнительных подвод даже до станции железной дороги председатель сельсовета не даст. А много ли чего увезешь на двух парах? Ведь и самим надо где-то сидеть. Вот тогда старый Лихов и предложил невестке остаться с тем, что припрятано, до весны. Варьку не выселяли, она могла ехать с мужем и его родителями, могла преспокойно жить в Займище или на выселке, она согласилась остаться, но не долее — до весны. Так и решили. Уж очень хотелось Аверьяну Лихову и Николаевне как-то уберечь припрятанный капитал. Родька ничего не жалел: потеряв голову, по волосам не плачут! Он тогда, вечером, даже осердился на жену, что она так быстро, легко согласилась остаться в Займище до весны. Дала слово свекру,

теперь голосит. — Не надо было вчера соглашаться, — сказал, уже остывая. — Теперь что делать, кроме как дожидаться весны?

Варька пошвыркала насквозь промоченным носом.

— Ваше же с отцом и матерью пожалела: сгниет за одну зиму в земле.

— Пожалела, теперь выручай. И я так думаю, выручишь, одно, что-то легкое, привезешь, другое, тяжелее, продашь, будут деньги, они карман не оттянут. А дорогу, дорогу ко мне, будь уверена, найдешь. — Он снова встряхнул ее. — Язык до Киева доведет. Был бы язык!

Они оба приободрились, уткнувшись лоб в лоб, Варька даже залепетала что-то о будущей встрече, вроде того, что встретятся и не узнают друг друга, так сильно оба изменятся; а когда же настал миг прощаться, снова охрипло завывала, запричитала и хлопнулась коленями в снег. Родька не мог ни утешить ее как следует, ни поднять на ноги. Так и оставил на обочине дороги, в снегу. Пробежал между кустиками, догоняя лошадей, оглянувшись — стоит на коленях, похоже, молится богу.

А обоз уже миновал забитый кустами и снегом распадок, взбирался по пологому склону на перевал. Впереди шли две пары карих лошадей Ивана Степановича с зареченской улицы, тянули сани-розвальни, нагруженные имуществом, забранным под брезент, и сани с семьей, из тулупов и дох торчали четыре головы: самого хозяина, хозяйки и двух дочерей. Лиховских подвод было три. Двух лошадей Аверьян распорядился запрячь парой, двух — поодиночке. Сам он, в черной шапке и пестрой собачьей дохе, ехал на паре, полужал на возу; над его курчавой, в седилах и инее бородой вздымались сизые облачка от дыхания. В ногах его притулилась Николаевна, правила лошадьми. В санях задней лошади-одиночки сидел Степка, ежился в старой дохе. Он провожал Лиховых до околицы. К нему в ноги и упал Родион.

Подождав, пока он отдышался, Степка сказал:

— Ну, теперь я пойду.

— Иди.

Они выскочили из саней оба и, распахнув дохи, обнялись. Были они дружки-одногодки, ходили вместе на

игрища, у них и помимо дома было немало общего. Степка собирался тоже жениться и тоже на девушке с выселка, она брала его к себе в дом. Да вот не успели сойтись. А Родьке хотелось погулять на их свадьбе. Теперь уже без него.

— Ну, ладно.

— Ладно,— сказал Степка, поглядев в лицо Родиона сочувственно и печально.— Как приедешь на место, так напиши. Вообще сообщай.

— Обязательно напишу... Ты тут помоги Варьке, как говорено, и продать что-то перед поездкой ко мне, и как-то добраться до железной дороги. Да отведи ее, Степка, домой, если она еще не ушла.

И опять Родька догонял свой обоз. Расстегнул воротник полушубка и снял с шеи покупной шерстяной шарф, а все равно было жарко, не хватало дыхания, и сердце колотилось так часто и сильно, что надо держать его, а то выскочит из груди.

Добежал до саней, в которые была запряжена старая Воронуха, уже за поворотом на перевал, ухватился за веревки, подтянувшие к пряслам сундуки, и еще долго не мог совладать с дыханием. Успокоившись немного, сел спиной к сундукам, лицом к Займищу. Деревня лежала внизу, в узкой щели распадка, двумя цепочками домов по обеим сторонам невидимой издали да и скованной льдом и заметенной снегом Удинки. Левее — белая пена заиндевелых кустов по распадку, справа, уже за Чулымом,— мутно-зеленой стеной лес, бескрайняя тайга, а выше серых цепочек деревни и дальше их — огромная и косо поставленная стеклина заречного перевала, займищенских полей. Сколько раз видел Родька свою деревню и ее окрестности вот такими; видел и под зимним негреющим солнцем, видел и по весне, зелеными, в улыбочивом блеске лазурного неба; но милее для глаза они были, как сегодня, небогатые красками, обыкновенные. И может быть, потому, что выглядели родные места так обыкновенно, привычно, они и притушили в нем на какое-то время щемящую боль расставания, может быть, навсегда. Хотя какое там расставание!.. Все это примерещилось или приснилось, просто езда. На базар!.. Почему отец на подводе? Да едет попутно в больницу, он и с осени ездил вот так же на возу. Ничего в мире не изменилось, и доказательст-

вом того, что не изменилось, это тихое, мирное Займище, как в прошлые зимы, как во веки веков. Варька?.. Варька на коленях в снегу?..

Мысль о Варьке вернула Родиона к настоящему: со всем прошлым, таким привычным и казавшимся вечным, покончено навсегда, на пути его образовалась какая-то трещина, в нее и погружается стремительно вся его жизнь. «Прощайте, родные края, прощай, Займище!»— успел мысленно произнести Родион, как сани тряхнуло раз и еще раз, и они покатались стремительно вниз. Это одолели хребет выселковского перевала. Теперь волнистая линия хребта стала приподниматься, закрывая и беспорядочно разбросанные цепочки улиц деревни, и кусты и деревья в распадке, и стеклину того перевала, все. Вот и все!

Родион зажмурился, выдавливая влагу из глаз, и прилег меж сундуками, уткнулся головой в жесткий узел из пеньковых веревок. Все, как есть, ничего не пришло, не примерещилось! «Варька... Прощай, Варька, тоже, может быть, навсегда! Напортил себе и тебе сам — конечно, по науськиванию сволочного Матюхи! — бродил тогда ночью по Займищу, заглядывал в обмерзшие окна сельсовета, где пела беднота совместно с ячейкой, думал, никто не увидит, а вот и увидели». Заметили его и на другой день утром, когда он слонялся по задворкам деревни с ружьем. Ипат-Ветродуй, оказывается, даже пробежал по его следам до стожка со свеженадерганными клочьями сена и потом заявил в сельсовете, что на людей охотился возле дороги молодой Лихов. Вскоре Родьку вызвал в сельсовет следователь из района, спрашивал, с какой целью он сидел в стогу, кого там подкарауливал. «Спасался от стужи»,— отвечал Родион. И поскольку выстрелов по проезжающим не было, парень отделался легким испугом. Но, вынося решение о раскулачивании Лиховых, учли подозрения и утвердили им высылку,— вот теперь и катились всем семейством вслед за Иваном Степановичем.

Пересекли выселок (Родька, крадучись, последил, не трясет ли гривой Серко, переданный ТОЗу,— не видно), обоз из пяти подвод двинулся через снежное поле на темневший вдалеке лес, на скрывавшуюся за тем лесом Михайловку. Знакомая по поездкам в город дорога. Много хлеба и мяса сплавил по этой дороге он, Родь-

ка. И зря, все зря. Выходит, не тем жил и не так жил. Да что теперь!.. Он подоткнул под веревки на сундуке ременные вожжи и побежал краем дороги вперед, обгоняя лошадей-одинок, к паре, запряженной в просторные сани, на которых ехали мать и отец. С разбега свалился на край прясла.

Зимний день короток — к вечеру приехали на станцию железной дороги.

Поездом ехали ночь, ехали день и вот опять ночь, но фактически не столько ехали, сколько стояли на больших и малых станциях. Даже на полустанках без конца запинаясь за семафоры, ожидая встречные поезда, до утомления следя, покуда они народятся своими стуками вдалеке, прогрохочут мимо и постепенно растворятся в пространстве. И паровоз, тащивший вагоны, в конце концов давал протяжный гудок, состав дергался, да так сильно, что плясала на середине вагона чугунная печка.

Лиховым достались нижние нары. Родька, как молодой и здоровый, сам выбрал себе место у стенки, привалив к ней козью доху, в изголовье натолкал полушубков, — тепло. Рядом лег снова притихший отец. А уж с другого бока от него устроилась под шубами и дохами мать. И они, конечно, не мерзли, пока бодрствовал возле топившейся печки дежурный, подкидывал уголька. Засыпал дежурный, прогорала буржуйка, и тогда в теплушку забирался холод и люди под мехами начинали ворочаться, ползли к печке, разжигали скорее огонь.

Родька проснулся среди ночи не от холода, потому что печка топилась, гудело в трубе, его разбудила резкая остановка состава, что означало — закрыт семафор. Все заворочалось и заговорили. Громче других изъяснялся явно проснувшийся ранее старик из Михайловки Осип Макарович, знакомый отца; по ту сторону печки, в дальнем углу верхних нар он выговаривал бормотавшему что-то соседу:

— Вот бормочешь, бормочешь всю ночь, а о чем твое бормотание, и сам, наверно, не знаешь. Зовешь



боженьку, просишь, чтобы он тебя не шибко наказывал за грехи, а зачем было грешить?

— Все мы у него грешные.

— Может, и все, да не одинаково. Кто-то у кого-то на копейку украл, а кто-то другой на тыщу рублей. Один кто-то на молочное покусился великим постом, вот и все его прегрешение, а мы с тобой, кум... Помнишь, как мы с тобой выкамаривали? Пришел к тебе переселенец хлеба просить, а ты ему, как Аверька Лихов: «Ну что же, возьми пудик мучки ржаной, пудик пшеничной, летом отработаешь на жнитве недельку семьей». Известно, летний день год кормит. А тут семь дней всей семьей! Так что на нас с тобой, кум, тоже громаднейший грех. И не замаливать его надо, а искупать. Ты ж одно твердишь — боженька, он милостливый, простит. Надейся на боженьку, растопырявай шире карман, чтобы влезло! Запасешься божьими милостями, хватит откупиться от наличных грехов и от всех, что насобираешь? Только не лучше ли, кум... Нет, я, конечно, человек православный, крещеный, не какой-нибудь басурман, и совсем-то от бога, от религии не отказываюсь... Но не лучше ли, кум, ему, богу, по-другому делать, по-правильному: не дожидаться, когда мы с тобой насобираем грехов, что нужно наказывать нас или прощать, а так делать, чтобы не грешили зря кумовья? Вот тогда он будет на сто процентов бог, даже сто с гаком.

— Богохульник ты, кум.

— Вот уж сразу и богохульник. А что я такое сказал? Я же со своим предложением, чтобы, значит, не плодились в мире грехи. А то и дальше пойдет, люди будут грешить да искупать прегрешения, потом снова грешить.

— Надо пуще молиться, жить с Библией, кум.

— Опять за рыбу деньги! Помешался ты на Библии, право. Да ладно, бог с тобой, бормочи, только негромко, я, пока не трясет, не стучает по рельсам, сосну.

Осип Макарыч умолк, быть может, заснул. Помолчал немного и кум его перед тем как продолжить свое бормотание. Родька опять слышал «бур-бур», — на фоне дыхания, носового свиста и горлового шершавого храпа спящих людей. Но особенно разбормотался старик, как на токовище глухарь, после полночи, когда в вагоне похолодало: уголь уже кончался, его стали экономить, состав стоял где-то посреди перегона.

Люди проснулись, начали кутаться, замечал Родион, во что только могли; молча терпел холод, даже не шевелился только отец. Почему? А может, ему плохо?.. Он же на станции, когда объявили посадку в вагоны, заторопился, начал спускаться с воза да и стал на голову. Долго не мог выговорить ни одного слова, дышал тяжело, стонал. В обогретом вагоне, сам обогревшись, будто бы отошел, даже похвастался, что ушибся не сильно, все ладно, все хорошо... А хорошо ли, уже хотел спросить Родион, отец сам повернул к нему лицо, спросил шепотом:

— Не спишь, сын?

— Нет, — прошептал тоже Родька и приник ухом к отцовскому рту. — Ты что-то хочешь сказать, батя?

— Слушай и запоминай, Родион. Окулачили и ссылают нас по закону. И ты не лезь на рожон. Живи честнее отца. Болтунов всяких сильно не слушай, того же Осипа Макарыча. Он наговорит тебе так и этак, и соловьем залетится, и овечью шкуру на себя взденет, если выгода есть, а отпусти его на волю, все равно волк. Только шелуха слов. И кум его, думаешь, больно преданный богу? Да подвернись случай, продаст его вместе с ангелами небесными не за сребреники, за медные пятаки. А вот наступили ему на хвост, копаются в Священном писании, вроде ищет себе утешение. Дурака он валяет, тоже замаскированный волк! Но и от глупого, Родька, на расстоянии держись, может укубить сдуру. От Ивана Степановича, где бы ни был, не отставай. Как-никак он свой, деревенский, по одним стежкам-дорожкам ходили, а главное, человек с твердыми правилами, с головой. Будет жить справно и в другом месте и без чужого труда. И ты, парень, прибивайся к таким. Уважай мать, раз она тебе мать, **родила и поставила** на ноги. Как будет у тебя с Варькой, когда она с нашим капиталом приедет, и приедет ли, а мать уже здесь, и ты держи ее возле себя. Говорил уже — почитай. А теперь и помолчать можно, соснуть еще, покуда не рассветло.

Родьку немало удивили наказания отца: поучает, будто собирается умирать. А речь ясная, и голос не такой уж слабый, спокойный. И потому, что отец говорил здраво, упомянул, что ему еще надо соснуть, и вскоре сдержанно

захрапел, Родион успокоился: ничего страшного нет и не будет, можно тоже поспать.

И он заснул тоже. Но увидел во сне что-то черное, страшное, увлекавшее в холодную бездну, и тотчас проснулся. Содрав с головы шапку, прислушался к дыханию отца: тихонько, но дышит. И чего ему не дышать, он еще крепкий, хотя и упал. Значит, опять нахлобучивай шапку!

Второй раз проснулся — в маленькое оконце вагона, оплавляя его, лился солнечный свет. В вагоне было еще холодно, и Родька решил укрыть потеплее отца. Потянулся к нему и наткнулся рукой на что-то твердое, стывшее на его груди. И отдернул руку, догадался: отцова рука, значит, случилось! Быстро скинул с себя тяжелые одежды и сел на скрипнувших под ним нарах. Точно, неизбежное произошло: серые, с желтизной руки отца лежали одна поверх другой на груди, глаза затонули в орбитах, припорошенные волосом верхней кромки бороды, ресниц и бровей, рот приоткрылся, виднелись порченные желтые зубы. Вот такого, с оскалом, он отца своего раньше не видел. Мать проснулась ранее, может, еще до того, как случилось, сидела, закутанная в шаль, держала под щекой руку в темной варежке, с белым платком. Поверх тонкой ткани платка, по шерстинкам необшитой варежки катились торопливые слезы, она не пыталась их унимать.

Похоронили Аверьяна Силыча Лихова честь честью на кладбище, в кустиках, на виду у солнца и стоявших поблизости двух сосен, наверно оставшихся от былой непроходимой тайги. Отпевал покойного, когда забрасывали комьями смерзшейся глины могилу, дикий ветер, он свистел в голых кустах; потянула поземка, даром что светило солнце, вместе с глиной в яму посыпался снег.

Свежий снег быстро притрусил холмик могильный, подравнял края.

Весь напрягшись и стиснув зубы, Родька стоял у этого сразу побелевшего холмика. Вот и все. Был отец, плохой ли, хороший ли, и нет его. И покуда был жив, лежал рядом, разговаривал и дышал, он, сын, не испытывал к нему ни особенного сочувствия, ни жалости; а теперь вот, когда его не стало, чувствовал — жаль, так жаль, что должен держать себя изо всех сил, чтобы не разреветься, чтобы не вывернулось наизнанку нутро.

Да как же теперь без отца, пусть не шибко хорошего, жить?.. Без Варьки жить, без родного Займища, без Серка?..

Мать, опустившись перед могилой на колени, рукавицей бессмысленно перебирала с места на место снежный песок и плакала. Могильщик на деревянной ноге приволок только что сделанный крест. Не хватало надписи на его нижней перекладине: «Здесь покоится...» Но мать даже не заметила этого, она совала в руки могильщика бумажные деньги.

— Уж, пожалуйста... Уж поставьте тут без меня.— И побежала, путаясь в подоле расклешенной юбки, к саням. Родька шел следом за нею мрачный, не видя перед собой дороги.— Уж, пожалуйста! — еще крикнула мать и бухнулась в сани.

— А написать-то что? Кто умер и отныне покоится? — спрашивал тоже криком могильщик.

— Аверьян Лихов покоится.

— Северьян?

— Аверьян!

И опять ехали уже в жарко натопленной теплушке. Место старого Лихова оставалось свободным. Родька, прилегший к стенке после тяжелых и хлопотных минут и часов, протянул руку — пустота, тоже холодная, как та отца рука.

А поезд отсчитывал колесами на стыках рельсов метры и километры. Разошелся, что и на станциях мало стоял. К вечеру попали в большой город.

### 13

Далее снова ехали на лошадях. И потому, что лошади эти были свои, знакомые каждой шерстинкой, и запряжены были в собственные, тоже знакомые-перезнакомые, сани, ехать было куда веселее чем поездом. В глазах Родьки все это воскрешало его былые поездки на базар с хлебом и мясом, особенно в праздники и под праздники, когда на дорогах было заторно, а на постоянных дворах и самом базаре завозно и людно. А хорошо, все равно хорошо! Где люди и лошади, там всегда хорошо! Родька похлопал вожжами по крутым бокам молодой Воронухи и крикнул привычно:

— Эге-гей!

Да и все-то ехавшие последнее время оживились, повеселели. Казалось бы, уезжали дальше и дальше от родных мест, забирались все глубже в тайгу, где и деревень-то было одна днем для погляда, одна к вечеру для ночевки, а шутили, смеялись. Заводили знакомства в пути. Даже в гости друг к дружке заглядывали: на ходу падали в сани новых знакомых и говорили обо всем, говорили больше, конечно, о своем будущем. И опять было удивительно: чем верней к своему будущему приближались, тем меньше оно настораживало и страшило. Там жили, будут жить и на новом месте! И уже по-хозяйски приглядывались, каковы новые места для хлебопашества, для разведения скотины. Сразу от города было голо, только местами березняки, хвойные леса и в отдалении не темнели; и сама земля, вроде пахотная, была с фокусом: едешь по ней — гладко и ровно, и вдруг дорога проваливается в огромное корыто балки, вершины берез в ней ниже краев. Спуститься с возом в экую глубь и то мудрено, а выбраться из нее вовсе не просто, надо припрягать к подводе еще коня, а то и двух лошадей. Теперь пошли не такие ровные места, с перевалами и распадками, но все-таки без ловушек. И лес был другой, сосновый, может, в пасмурную погоду и мрачный, а тут целыми днями сияло предвесеннее солнце, и глазам было жарко от распаленной бронзы сосновых стволов.

Родьке нравились эти не рубленные вовек сосняки. Нравились долины рек и речушек, испещренные кустиками. Чистых земель для пахоты было немного, но гари, гари частенько перемежались с лесами, раскорчуй себе десятину и сей.

Уж десятину-то человек всегда выберет в этом раздолье, подчистит. А больше, собственно, и не надо. Не-ет, он, Лихов, теперь будет умней, он выберет себе десятину, в крайнем случае полторы, и ему для себя, для семьи, конечно, хватит, займется другим делом, к примеру скотом — тут выпасы замечательные, пчеловодством можно заняться — в тайге должно быть много кипрея; вместо двадцати пудов хлеба лучше пуд меда куда свезти: и на возу не так видно будет и прибыльно.

В мелколесье дорога повела вверх по пологому склону, и Родион соскочил с воза, чтобы легче коню, пошел

стороной. И впереди по обозу люди сползали с саней, шли стороной или сзади. Начала было выбираться из-под тулупа и мать, ехавшая все в тех же санях, запряженных парой, но Родька хлопнул рукавицей о рукавицу, заставил ее оглянуться.

— Думаешь сойти тоже? Тут некруто, сиди!

В глаза било яркое солнце, приходилось клонить голову, глядеть только под ноги, на дорогу. Знатоки утверждали, что должны скоро приехать, как только встретится первая же большая река, так и остановка, конец.

Впереди гикнули двое парней, и тотчас взвизгнула и засмеялась какая-то девушка. Защищаясь от солнца, Родька поглядел из-под руки, подставленной к переносью. Парни и девки, еще вчера чужие и незнакомые, сегодня играли в снежки, и какой-то звонкоголосой попало за ворот, она крутила головой в мужском треушке и смеялась. И значит, повлажнел снег, раз он слипается. Родька наклонился, чтобы подхватить мокрого горсть, и в это время ему тоже залепили комком снега в затылок. Кто бросал, он не видел, только заметил, что девушка в обшитых бисером камасах, в голубом полушалке поверх темной жакетки быстро спряталась за головы своих лошадей и пошла впереди их, коротко взглядывая назад. Она, подумал Родион. Она была из пригородного Баранова. Еще в те первые дни, видя ее, Родька дивился: красивая. До чего же красивая! На какой-то стоянке они вместе поили лошадей у колодца, о чем-то пустячном перекинуть словом. А теперь их подводы оказались поблизости, разделял их только Иван Степанович своими нелегко нагруженными возами.

И опять, едва Родион зазевался, в него прилетело. Теперь он успел разглядеть, бросала она, и тоже скатал не шибко твердый комок, размахнулся и бросил. Правда, угодил только в их расписанную цветами дугу; уже от дуги снежные брызги задела и ее, шалунью. Она размахнулась и бросила, попала ему в грудь. И вскрикнула:

— Есть!

А он, Родька, не попадал, его снежки, хотя и летели свистя, падали то с перелетом, то с недолетом. Но он не расстраивался, утешал себя тем, что не стремится

попасть (и, может быть, не стремился), чтобы не поранить ей, красивой, лицо. А вскрикивал тоже азартно:

— Получай там!

— За молоком, снова за молоком!

— Ах, так!.. — Он скатал два кома-снежка, чтобы кинуть быстро один за другим, и первый успел бросить, он разлетелся на крошки под ногами у девушки, второй задержал, уже поднятый над головой: а хорошо ли он делает, так ли? У него умер отец, кроме того... кроме того, хотя далеко, но есть жена, Варька, а он тут дурчится, будто мальчишка. Как же его должна осуждать мать!

И Родион, робея, опустил снежный ком и медленно повернулся в сторону матери. Только никакого укора на лице ее не было, мать сидела на возу, впервые за всю дорогу оттаявшая, с расцветшими голубыми глазами, влажными не от слез. Она сидела без тулупа, сбив на затылок головы клетчатую шаль с большими кистями, как бы открытая небу и солнцу, с любопытством наблюдала за игрой молодежи в снежки. И Родька бросил-таки приготовленный ком, правда, не поверх двух подвод, в третью, заползавшую на бугор, не в девчонку, которая там крутилась, а левее, в кусты.

За осиленным перевалом был еще перевал; далее дорога повела вниз, к издали видневшейся заснеженным плесом реке. Река оказалась Чулымом. Удивительно: ехали, ехали да и попали на свой Чулым, только с другой стороны. Река показала себя, когда текли к ней с перевала, но было до нее еще недалеко, пока двигались, успела перемениться погода, заволокло сизыми тучами солнце, повалил лапчатыми хлопьями снег.

Заметенные снегом, и притазились к реке, переползли ее по льду и поднялись некруто на охровый яр, сучились возле конного двора. От него уходила в снежную муть улочка из домиков с четырьмя окошками каждый, с крылечками на две стороны. И был еще дом, на отшибе, с высоким крыльцом. С того крыльца донесся молодой и веселый, прямо-таки мальчишеский голос кого-то из местных. На этот голос и протолкался сквозь толпу Родион. Точно, с виду мальчишка, наполовину утонувший в сапогах с голенищами до пахов; его немного взрослил полушубок дубленый, перехваченный широким ремнем, и буденовка с красной звездой.

— Алексейко, тебя Захаров! — позвали его сверху, из приоткрывшейся двери.

— Сейчас! — откликнулся паренек в буденовке, это и был Алексейко.

Он взбежал на самый верх по ступенькам, снизу на ступеньки поднялся другой человек, тоже в дубленом. Этот человек появился как бы из летевшего снега, из мглы. На нем была лохматая шапка с опущенными ушами. Он немного постряхивал с нее варежкой снег и, широченный в шубном, приземистый, что-то прописклявил чуть слышно, а потом вдруг трубно забасил.

«Матюха! — едва не вскрикнул от неожиданности Родька. Матюха Пентюхов был уже здесь. И, как видно, уже обосновался возле начальства. — Ну и ловкач! И, конечно, подлец!»



# Жизнь вторая

## 1

Николаевна доваривала обед, шустро бегала от печной плиты к кухонному столу, от стола к висячему шкафчику с посудой, а один глаз держала на открытом окне: там, за окном, играл с соседским дружкой внук Ленька. Накануне прошел дождь, обмыл старую траву и подмолодил зелень распутившихся тополей и березок, и теперь вся их улица посвежела, весь деревянный поселок выглядел новым, помолодевшим. В неширокой канаве, что тянулась под окнами, со вчерашнего сочилась вода, поблескивала на солнце; на бережочке этой канавы и толклись двое пацанов, выбирая из кучи сваленного обзола бруску и дощечки; они строили через канаву мост. Николаевна опасалась, что сорванцы забредут в воду и начерпают в ботиночки; Ленька, этот как промочил ноги, так заболел.

— Осторожно, ребятки! — который раз предупреждала она пацанов, сама переставляла на плите кастрюли и сковородки. — Ступать по сухому, не касаться воды! А то промочите ноги, заболят горлышки, придется дома сидеть. А кому охота в эку пору дома сидеть? — Она повела глазом по верхней части окна, по голубеющему там весеннему небу. — В эку пору только на воле и быть, играть в прятушки да строить мосты.

И тут, прислушавшись к детским голосам, Николаевна поняла, что внука и его дружка на канаве уже нет, их что-то отвлекло от затеи, они бегают возле калитки, под крайним от нее топольком.

— ...Быстрей залезай, Виталька, быстрей! — бубенцом звенел внучек. — Видишь, он забрался туда, а спуститься не может, боязно.

— У меня скользят ноги.

— Тогда наклоняйся пониже, я на тебя заберусь и полезу сам.

Николаевна подошла к окну и легла грудью на подоконник, да так и приклеилась к нему, обогретому солнцем. Ребятишки были поблизости; соседский Виталька стоял на карачках, а Ленька, взобравшись к нему на спину и держась обеими руками за ствол тополя, пытался вскарабкаться по деревцу. Но поставит на сучок ногу, она соскользнет. Опять тянет свою коротенькую, в тупоносом ботинке. А ручонками держится цепко, и все маленькое тело его так напрягается, того гляди, вылупится из куртки.

Надо было как-то предупредить шалуна, чтобы он не баловался, куда не надо не лез, а она, бабушка, поглядывала на него из окна благодушно, любовалась проделками своего внука. Дивилась Николаевна, как быстро выросли ребятишки. А как скоро поднялись топольки!

Только по тому, как растут дети да как поднимаются выше и выше деревья, и замечаешь, что идет жизнь.

Топольки сажали в лето, когда родился Ленька, возле нового дома насадили березок и тополей. Тогда озеленили всю улицу. Деревца были в человеческий рост, а сейчас уже поравнялись с коньками крыш. И улочка поначалу была не длинна, теперь вытянулась, поди, на целый километр. И поселок весь вон как разросся. Новых жителей народилось и выросло, в каждом доме то Виталька, то Светка. Вот и Ленька — здешний уроженец поселка Кипрейная гарь. Давно ли в зыбке качался — уже на собственных ножках; обличьем весь в Родьку: глаза черные, голова небольшая, но верткая; и характером, особо настойчивостью, в отца, вон-вон как старается зацепиться ногой за сучок и подняться; а обломится сук, оторвутся от гладкого стволика руки, и полетит наземь, расквасит себе нос.

— Леня! Ленюшка! Ты бы не старался напрасно. И зачем обязательно лезть?

— Там котик наш, бабушка. Он забрался на тополь, а спуститься не может, он еще маленький, его надо ссадить.

— Да где ж ты, тоже малышка, сумеешь!

— Он плачет, — не слушал ее Ленька. — А закружится голова — упадет. Наверно, уже закружилась, качается вместе с вершинкой и открыл ротик, говорит: «Мя-я-ув! Сними!»

Николаевна по пояс высунулась из окна, глянула за угол дома. И правда, в развилке вершинных сучков тополька сидел их черный, в белых тапках котенок и жалобно мяукал: ему страшно, он не знает, что ему делать, кто бы его пожалел, спас. Они, котята, такие, заберутся на дерево, взовьются на столб, а спуститься не могут. Ну, ни вверх головой не умеют, ни вниз. Так и сидят. Сидят, пока их не снимут или покуда не оголодают, не свалятся. А свалятся непременно на лапки и побегут искать еду и питье. Этот, как видно, сегодня залез, не успел обессилеть, качается вместе с тополем и не падает. И пусть покачается, в другой раз будет умней!

— Тебе к нему не долезть, Леня, спускайся на землю.

— А как же котенок?

— Придет отец, снимет. Он скоро придет на обед. Да вон идет мать, — Николаевна кивнула на изгородь, в переулочек, — может, снимет она. Так что встречай маму.

И внук послушался, сполз с тополька, хлопнулся о землю рядом с товарищем и тотчас вскочил на ноги, побежал.

— Мама, мама, иди скорей, будем выручать нашего котика! Он может упасть и разбиться. Слышишь, мама? — Потом тянул ее за руку, торопил: — Скорее, скорей!

— Да где он у тебя?

— Там!..

— На тополе он забрался, — подсказала из окошка свекровь, — вон чуть ли не на самой вершинке. — Она дождалась, внук и невестка подбежали к окну. — Может быть, попробовать с лестницы?..

— Да, да. — И Алевтина положила на завалинку полуоткрытый портфель с выпирающими из него учебными тетрадками, побежала в ограду. Возвратилась с лестницей, приставила ее к топольку. — А кто держать будет? Мальчишки? — обернулась она к сыну и его дружку.

— Я сейчас выйду и подержу, — сказала Николаевна, прикрывая окно. А через минуту уже была за воротами, придерживала одной рукой лестницу, другой тополек. Деревцо было жидким, лестница легкой. Не успела огрузнеть за двадцать пять лет жизни и Алевтина; она ловко взобралась по ступенькам и дотянулась там, вверху, до котенка. А быстро отодраться от стволика не могла, так он впился в него когтями всех четырех лапок.

— Ну, отцепляйся же, глупый! — укоряла его Алевтина. — Тебя залезли спасать, а ты, глупый, противишься.

— Смотри, он может поцарапать, — предупредила снизу свекровь.

— А он уже поцарапал.

— Кровь идет? — спросил Ленька.

— Чуть-чуть. Ну же!.. — Она рванула упрявившего котенка к себе и наконец вытащила его из сучков, из мелкой светло-зеленой листвы, держа за шкурку, начала спускаться с ним по лестнице. — Забирай его, Леня. — И выпустила котенка из рук, он приземлился на лапки. А потом, казалось не поверив, что спасен, прижался всем тельцем к земле.

Ребятишки потыкали в него пальчиками: живой, не-вредимый, и побежали к канаве, достраивать мост.

Женщины вошли в дом. Алевтина опустилась на стоявший тут же, при входе, деревянный, Родькиной работы, диван и, положив рядом портфель, принялась трясти поцарапанным пальцем, смахивать с него кровь.

— Так ты бы залила йодом и завязала, — посоветовала Николаевна. — После собаки и кошки, случается, долго болит.

— Заживет, — сказала Алевтина. — Как на кошке!

— Так вон идет кровь, закапала платье...

Платье на Алевтине было легкое, светлое, с голубыми и розовыми цветочками; кое-где между цветочками расползлись капельки крови.

— Со стороны не заметно. Да и долго ли постирать! — Замотав палец носовым платком, Алевтина расслабленно откинулась на спинку дивана. — Я так устала сегодня, у меня было четыре урока, пятый — классный час. А тут еще ребятишки, глядя на весну, расшалились, с последней переменки я их кое-как за-

гнала. А раньше бывало... Ты знаешь, мама, когда я только поступила в школу, начинала учить, мои первоклашки всего на свете боялись и тихие-тихие были. Приду к ним, а они выглядывают из-за парт, как мышата, и не слышно их, только глазонки блестят. Я уж думала, чем-то пугаю их, может быть, страшная. Родьку спрашиваю: «Страшная я на вид, скажи?» — «Откуда взяла?!» Жалко мне их... Уж больно маленькими казались, беспомощными. Иной раз говорю: «Вы идите, поиграйте, попрыгайте». Чего-то боятся! Теперь уже большие, прыгают без подсказки и даже шалят. А наступила весна, никакого с ними сладу. Сегодня так разыгрались на улице, еле загнала их в класс. И все спрашивают: «А когда, Алевтина Ивановна, пойдем на экскурсию?» — «Пойдем, — говорю, — скоро пойдем». И завтра, если хорошая погода, свожу... Родька не приходил еще на обед? — Она провела узкой ладонью по открытому лбу, как бы провожая одни мысли и давая возможность течь свободней другим. — Он последнее время опаздывает, все опаздывает...

— Работа, — просто объяснила Николаевна. — Тут еще, сама знаешь, появился этот из комбината «Северлес», собирает то мастеров, то бригадиров, учит чему-то. Тот, что в дождевике...

— С усиками, как два слизняка? — вся передернулась Алевтина. — Не нравится он мне. Какой-то нечистый и усиками и глазами. И в разговоре у него все ключки да недомолвки. Он мне и раньше не нравился, помнишь, приезжал года четыре назад. Все не было, не было, и вот снова... Конечно, Родька задержался из-за него.

— Есть захочет, придет. А ты можешь не ждать его, я налью, ешь.

— Погожу, не хочется что-то.

— Как знаешь. У меня все готово. — И Николаевна забренчала на кухне ложками, вилками, кажется, в подтверждение своих слов. — На первое у меня сегодня щи из кислой капусты, на второе...

Что у нее на второе, она не успела сказать, с улицы донеслась перебранка ребятишек; тотчас завопил благим матом соседский Виталька. Женщины метнулись к окну. Алевтина первая разобралась, что там произошло: не поделили тележку, Виталька тащил ее в свою сто-

рону, Ленька в свою; но этот хоть помалкивал, тот визжал, как под ножом. Но тележка на деревянных колесиках была его, Виталькина, и Алевтина крикнула сыну:

— Отдай, Леня! Я кому говорю?!

— Ну и пусть забирает! — Ленька даже толкнул тележку от себя, после чего Виталька, пятясь, покотил ее к своему дому. — И пусть больше не приходит играть, он рева и плакса. Ревушка-коровушка и, собственник!

— Кто-кто? — переспросила Алевтина. — Ревушка-коровушка и... кто?

— Собственник.

— А ты кто? И почему ты его так?..

— Он не дает прокатиться на тележке по новому мостику, отбирает: «Моя!»

— И ты у него, я видела, отбирал. И все равно он неплохой мальчик. А прокатиться ты можешь на прутике, получится, что верхом на коне. Покатайся немного и приходи, будем обедать.

— Я кормила его, — сказала Николаевна. — Сама ты, говорю тебе, не ожидая Родьки, поешь. Может, он еще задержится на полчаса, час, а то и больше с делами. На второе у меня жареная рыба.

— Свежая нельма? Нет? Стерлядь! — Алевтина легко оттолкнулась руками от подоконника. — Люблю жареную стерлядь, с картошечкой, с яйцом!

Но поклевала маленько, похрустела поджаренной кожицей рыбки, подгорелыми плавниками и отложила вилку, отодвинулась от сковороды: не надо. И желанная еда не кажется вкусной, желанной, если груз на душе. А на душе сделалось тяжело и тревожно и в голове муторно из-за того человека, с усиками, как два слизняка. Может, кто-нибудь и не догадывается, зачем приехал, а ей, жене вчерашнего бригадира, сегодняшнего мастера, известно. Она и тогда знала, что он за человек, на какие дела нехорошие сбивал мужиков и парней. Ох, боялась тогда Алевтина за своего Родьку. Успокоилась, когда перестал ездить к лесорубам и сплавщикам чужак-человек. И вот появился снова. С теми же усиками, в том же дождевике. И конечно, с прежними намерениями. У-у, противный!..

Алевтина накинула на плечи платок и выскочила из дома, хотела бежать сейчас же на плотбище, отыскать

там Родьку и что-то шепнуть ему, от чего-то предостеречь, может, для начала просто позвать — ведь время — обедать и заговорить о том, что ее тревожит, дорогой; но выскочила из ворот и остановилась: перед нею был мокрый до пояса Ленька, он только что выбрался из канавы, с него капало и текло; он переступал с ноги на ногу, а в ботиночках — чав-чав. А на рожице, тоже мокрой, все вместе: огорчение, радость, довольство, испуг.

— Ты как это сумел?

— Скакал на прутике по мосту и свалился.

Ну вот, научила сама! Пришлось тут же, на скамеечке под окошком, сдирать с него мокрое, грязное, принимать в окошко от свекрови сухое и одевать наездника, обувать. Переодела, переобула — иди, снова скачи.

— Да не падай больше! Ты слышишь меня?

Задержалась, следя, как скачет опять постреленок, да и не пошла на плотбище искать Родьку: уж сейчас-то, немедленно, ничего с ним не делается, а придет обедать — поговорят.

## 2

Зима была вьюжная, снежная, а весна выдалась дружной, и высоко нес сквозь тайгу полые воды Чулым. Под затонувшим до взлобья охровым яром катились тоже охровые, со стальным блеском валы, догоняли друг дружку и, схлестнувшись, били о берег, взметали фонтаны охровых брызг.

Родьку у самой кромки обрыва обдавало и влажным дыханием Чулыма и жесткими брызгами, а он не двигался с места, стоял лицом к набегающим волнам, вынося одну ногу вперед. Всей грудью, всем телом своим ощущал он напор полноводной реки. Не сила, а силища! И тут бы гнать, гнать, пользуясь силищей, вниз по реке тяжелые маты, плоты, а их-то и нет, не готовы. Рубили и трелевали лес хорошо, пока огребали солидные премии; но вот премий пока нет, поскольку нет готовых матов, плотов, и скисли, увяли вчерашние передовики и теперь уж больше не баграми орудуют — удилицами. Еще когда-то появится журавль в небе, а тут синичка да в рот, или, оголясь до пояса, загорают на

припекающем солнце и уж тешат себя и друг друга шутками-прибаутками, былью и небылью.

А работать все-таки надо.

Родион обошел штабеля бревен, накатанные тут же, по берегу, и заглянул вниз, на песчаный откос, блестящий под солнцем до рези в глазах, на людей, разметавшихся по песку. Отдыхают! Отдыхают и эти!.. Пять человек, сидя и лежа, молчат, слушают: один, вытянувшись на спине и прикрыв кепкой лицо, что-то монотонно рассказывает. Да это тот, михайловский, бормотун!.. Стараясь не шуршать о песок сапогами, Родька направился к нему. Подойдя, сказал вполголоса, чтобы все же не напугать человека:

— Старые песни и басни, дедок?

А человек знал свое, бормотал, даже не осекся на слове. Кум его Осип Макарович, с обесцветевшей бородашкой в три волоска и заметно усохший, подал голос:

— Я тоже ему говорю: «До какой поры, кум!»

И кум кума, выходит, не слышал: из-под темной заношенной кепки выкипало с чуть заметными перепадами:

«...И приблизятся годы, о которых ты скажешь: «Я их не хочу...» И осыплется каперс желания, — ибо уходит человек в свой вечный дом... И расколется золотая чаша, и разольется кувшин у ручья... И прах возвратится в землю, которою он был, и возвратится дыхание богу, который его дал... Суета сует, — сказал проповедовавший в собрании. — Все суета».

— Проповедуешь, все проповедуешь, дед?! — клянясь, Родька сдернул с его лица кепку. — Ба, да он тоже седеет. — В голове христоролюбивого старика был клочок черных волос, клочок белых. — Не бормотать надо, отче, работать. Понимаешь по-русски: работать!

— А я о чем ему говорю? — опять вклинился в разговор Осип Макарович. — Говорю, надо двигаться нашему брату, обязательно двигаться, не лежать, как помещик какой. — Поудобней усаживаясь на песке, старик потер бок, на котором, было, лежал, погладил спину. — А то и простудиться недолго. Да и пролежни от нечего делать можно нажить. Вместо мозолей трудовых на руках.

— Катать бревна надо! Плотить! Без остановки плотить! — уже бушевал Родион. За годы своей непрерыв-



ной работы на лесозаготовках и сплаве, причем больше не рядовым, он раздался в плечах, стал еще коренастее, выглядел таким крепышом, в особенности сегодня, в шароварах из чертовой кожи и в болотных, с раструбами голенищ сапогах, и, конечно, обрел начальнический голос, грубоватый и требовательный: — Вязать плоты, ни минуты промедления и раскачки. А вы думали? Гнать и гнать по Чулыму плоты, пока большая вода!

— Вода схлынет, — словом к слову прилепился Макарыч, — оскалит каменные зубы перекатов Чулым, тогда какой сплав? Тогда не столько пригонишь к месту назначения, сколько растеряешь в пути. Сегодня, правильно, — гнать! А у нас на сегодня ни одного плота готового нету.

— Стыд и позор!.. Так что поднимайтесь, поднимайтесь, мужички, наверстывайте упущенное! Ясно я говорю?

— Ясно.

— Чего ж тут неясного? Только у меня наболевший вопросик. Хи-хи!..

— А чего ты хихикаешь, Осип Макарович?

— Дак охота спросить: ты сам-то, Родион, дорогой наш Аверьянович, из каких... шибко командуешь?

— Ну из тех же.

— Во-во, это самое я и хотел уточнить. Уж ты, Аверьянович, не обидься на старика, грамоты у меня твоей нету, должность многими ступенями ниже, но мы с тобой одной веревочкой перевязаны; да и ранее были почти земляки, ваше Займище и наша Михайловка соприкасались полями. Одним словом, не обессудь. А вопросов более я не имею, вопрос вон у конторской посыльной, она зачем-то пришла.

В отдалении стояла пожилая женщина, посыльная и уборщица леспромхоза; Родион исподлобья поглядел в ее сторону.

— Вы ко мне?

— К вам. Представитель комбината вас вызывает в контору.

— Ладно, приду. — Но женщина переминалась с ноги на ногу, а не уходила, и Родька буркнул сердито: — Сказал же, приду.

— Так он велел сразу.

— Приду следом. Мне и до вас говорили.

Говорили и час назад и полчаса, да он медлил, не шел. Не хотелось снова встречаться и разговаривать с представителем. И теперь задержался еще около работы, выждал, те нехотя встали, нехотя принялись катать бревна, они бухались, всплескивая воду, в Чулым. И пошел, так еще вернулся к воде, только там, где никого не было, обмыл руки, лицо. И присел на бревешко. Ну, что он опять хочет добиться, смутьян?.. Ну тогда, на первых порах, трудно, конечно, было, и кое-кто по злому науськиванию Каргаполова пакостил, мастерил плот или лодку, грузил на них свой скарб и плыл по широкому Чулыму. Одно время чуть не попался на удочку этой контры, болтал что-то такое Матюхе Пентюхову и он, Лихов. Но теперь люди здесь пообжились, вон не хотят зарабатывать малые деньги, давай им подлиннее рубли. А ему, контре, значит, нейдет, снова явился мутить воду. Не хотелось Родьке даже видеться с ним. Но раз вызывает, как вышестоящий, придется идти.

Родион сполоснул в реке сапоги, снял с плеч и выхлопал шевиотовый, когда-то праздничный, теперь рабочий, пиджак и пошел. Можно было проскользнуть между штабелями бревен, пересечь плотбище по прямой, он решил вновь обойти его — не к великому спеху. На крылечке конторы долго очищал о скобу сапоги, хотя никакой грязи на подошвах не было. Посновал взад и вперед по коридору конторы и ткнулся в дверь к нормировщикам: догадывался, Петр Христофорович Каргаполов — так звали представителя — тут.

Он сидел за столом, похожим на высокий топчан, с ножками крест-накрест, развалился в жестком полукресле местной кустарной работы, положив руки на подлокотники, — строил из себя хозяина и начальство. Сбоку от него примостился на табурете старший нормировщик Матюха Пентюхов. Он тогда недалеко ускакал на своих гнедых из Займища, только до пригородного Баранова. Здесь, в таежном поселке Кипрейная гарь, облачился в казенную шубу. И сразу снюхался с Каргаполовым. Старые закадычные друзья!

— Мастер Лихов явился... раз вызывали зачем-то.

Блеклые короткие усики на лице Каргаполова зашевелились, расходясь нижними концами в стороны;

верхние концы цепко держались за кожу под хрящеватым сгорбленным носом; разомкнулись губы, обнажив широкие лопатки зубов, и во рту тихонько забулькал ехидный смешок.

— Ты посмотри на него, Матвей Никанорович, посмотри, он нам представляется. Он нас раньше не знал, первый раз видит!..

И тот, прижавшись к столу, заблеял барашком:

— Тхе-тхе... Смехота!

— Первый?

— Не первый.— Родька укрепил руки на бедрах, он собирался обороняться.

— Так в чем дело? Может, знали друг друга накоротке?.. Как думаешь ты, Матвей Никанорович?

— Шапочное было знакомство, дорожное. По дороге с базара и на базар, встретившись, перекинулись словом: почем хлеб, почем сено и — опять вожжами по лошадям... А чтобы посидеть где-то вместе, поговорить о тутошней жизни...

— Что ли, этого не было? — бесцеремонно перебил хозяина гость. — Не собирались вот здесь же?.. А, Родион Лихов?..

— Ну, было, сходились тут вместе.

— И говорили о чем-нибудь, кроме базара?

Родька поелозил по обшарпанному полу выставленной вперед ногой в болотном сапоге, попроверял, прочно ли она поставлена; вроде бы прочно.

— Говорили. Так мало ли что тогда говорили.

— А что ты тогда говорил? Вспомни-ка, какие это были слова?..

— Ну, были. И у вас были. Вы тогда многое тут говорили. И что? И все оказалось только вашим желанием, вашей брехней.

— Что верно, то верно, — сказал Каргаполов, заливаясь коричневой краской, он, как видно, не ожидал от лесоруба и сплавщика таких слов, — верно, не получилось в те годы, мало было силенок у тех, кто хотел помогать. Теперь обстановка другая. Слышал про нынешнюю Германию? У нее силы — не занимать, на нее можно надеяться. Только обо всем этом не сейчас, а потом, завтра.

— Что завтра? Завтра в леспромхозе выходной день.

— Завтра придешь в эту же пору...— Каргаполов вынул из нагрудного кармана пиджака серебряную луковичу часов, подкрутил головку завода.— Два часа тридцать минут... Придешь вот так же, в два часа тридцать минут, на кладбище. В верхний угол его, где поглуше. Вот там сойдемся помянуть мертвых — как раз родительский день — и поговорим о живых.

Родька опять поощупывал, твердо ли у него под выставленной вперед правой ногой.

— А если я не приду?

— А почему не придешь?

— А у меня никто не похоронен на кладбище.

— На пикник узкого круга в распадашку придешь.

— Так прийти на пикник, надо пить, а я последнее время не пьющий: жена против водки, учительница она, говорит, в учительской семье не положено пить. Так что...

— Придешь на собрание.— Петр Христофорович облокотился на стол и подался вперед всем телом. Усики его приспустились, в холодном взгляде что-то буравящее.— Или все равно не придешь?

Родька выдержал его бурвание и сверление.

— Нет.

— А мы о тебе стукнем, голубчик: собирался обворовать леспромхоз и поджечь — с неожиданной веселостью и опять шевеля усиками, сказал Каргаполов и обернулся к Матюхе Пентюхову, мол, не так ли. И тот согласно закивал, щуря без того подслеповатые глаза.— Вот так сделаем.

— А от меня узнают, чем занимаетесь вы. Оба.

— И думаешь, тебе поверят? Потребуют доказательств, а их-то и нет. Клевета! Так что, советую, не трудись, не для нас, а для себя сделаешь хуже. Нас много, ты, если ты решил отколоться,—один, как перст!— Каргаполов приподнял руку, собирая четыре пальца в кулак, пятый, мизинец, оставил не подогнутым, шевельнул им.— Куда тебе одному?

Родька не стал спорить. Он несколько смутился, вдруг обнаружив, что его правая нога, выдвинутая было вперед, приставлена к левой. Когда он успел сменить позу? И что это значило? Пасовка перед этими стервцами? Пасовать перед ними он не хотел бы.

— Можно идти?

Но Каргаполов не ответил ему, он сам спросил, обернувшись к Пентюхову:

— Как он работает?

— Изо всех сил,— прописклявил Матюха. Настроение ли у него было ровное, неплохое или по другой какой-то причине, но говорил он сегодня одним тонким голосом, не спускался на басы.— Сам из кожи лезет, старается и других заставляет. Покрикивает на них: «Темпы и качество, люди!»

— Ну, работать худо ли, хорошо ли надо, чтобы получать приличные деньги, кроме того, преданным слыть, другое дело, как распорядиться своим наработанным. Можно, например, сохранить на плотбище лес, а можно, пусть частью, превратить в головешки и дым. И кто докопается, ловкий, до истины? Чья-то неосторожность с огнем. Или происшествие на воде: гнали плоты, гнали, остался до цели один переход, и вдруг...— Каргаполов умолк, дал пройти кому-то мимо дверей в коридоре; договорил вполголоса: — В жизни не обойдешься без «вдруг». Вдруг зацепились за камни, и половина плота рассыпалась по бревнышку. Умысел чей-то? Стихия! Но и об этом,— спохватился он,— не сегодня, а завтра. Теперь, Родион Лихов, можешь идти.

Родька не сказал им ни «прощайте», ни «до свидания», пробежал пустым коридором конторы, притихшей по случаю обеденного перерыва, не переводя дыхания, бегом, и только на улице жадно глотнул открытым ртом воздух. Сволочи! Что они опять затевают, сволочи?! Готовы жечь лес и топить лес! Фашистов готовы на помощь себе звать! И как они могут подумать, что Родька Лихов за ними пойдет? Да ему же доверено — мастером, зарплата большая, а еще премии; его Алька — учительница, ее уважают и ценят. И они все это бросят, куда-то пойдут? Не дождетесь этого, лиходеи!

Но пробегая по улице, под жидкими еще тенями тополей и березок, Родион, как бы трезвея, подумал: а ведь они могут и одолеть его, если набросятся кучей на одного. И, поравнявшись со своим домом, не взялся за скобку в калитке, присел на скамью под окном. Надо как-то по-иному, хитрее. Может быть, раз они угрожают, сходить к ним в распадок, послушать их, а потом отколоться решительно: пусть не навязываются в товарищи, ему с ними не по пути!

Алевтина после того, как Родька похлебал нехотящей, отведал, только отведал, свежей жареной рыбы и молча вылез из-за стола, молча ушел обратно на плотбище, стрельнула без промедления к соседке-ровеснице Глаше, муж которой работал тоже мастером, они жили через дорогу. Хотелось поговорить о том, что ее беспокоило, правда, не знала, как начать и с чего начать разговор, раньше они на эту тему прямо не говорили. Застала Глашу в огороде, та бегала босиком между грядками, только мелькали сметанно-белые пятки, гоняла своих и чужих кур.

— Пакостницы проклятые, кыш, кыш вы!.. Второй раз за день пришли топтать огород... Я сейчас, мигом, проходи, Аля, садись возле недоделанного парника.

— Давненько с ним возитесь...

— Мой увалень начнет что-то и кончит!.. Пришел с плотбища, разлегся на диване с газетой. А то ушел до полночи в контору. Огород вскопать кое-как дозвалась. Кыш, кыш вы!.. Где ж ему осилить парник. Завтра выходной день, думала, посадим картошку, а он в обед заявляет: «Завтра не могу, занят, собирают на инструктаж по технике безопасности».

«И Родька в обед говорил, что техника безопасности»,— холодком пронеслось в голове Алевтины.

— А кто их проверит, что инструктаж? Спрашиваю: «В конторе?»—«Нет, где-то на воздухе».

«И Родька упомянул, что на воздухе!»

— Почему на воздухе, не под крышей? Может, не инструктаж затевают, пикник.

— Может, похуже пикника,— промолвила Алевтина.

— Может быть, и похуже...— Глаша бросила хворостинку, перестала гоняться за курами, мол, черт с ними, противными, черт с ним, огородом, не о том нынче забота, и подошла, села рядом с Алевтиной.— Явно похуже, раз появился опять этот непрошенный гость.

Говорили они, конечно, о Каргаполове, зная его по прошлым наездам, ненавидели всяк по-своему, Глаша даже решительней, злей. Она сидела на скамейке, нервно вздрагивая, внутри у нее все клокотало, и Алевтине не надо было допытываться, что с соседкой и почему. Она только сказала:

— Надо же, Глашенька, что-нибудь делать.

— А что делать? Не пускать к ним туда своих мужиков.

— Пожалуй.

И это был их уговор. Дома Алевтина долго ходила, запинаясь, по двору, сновала из угла в угол по комнатам, думала, что сделать еще. Сбегать к Захарову, рассказать, что она знает о Каргаполове? А если Иван Иванович спросит: «Почему не сказала раньше?» Что ему отвечать? Значит, пока только то, что условлено с Глашей.

И опять — уже в сумерки — она бродила по комнатам, спотыкалась, опрокинула стул и напугала свекровку, та недоуменно спросила:

— Что-то случилось?

— Нет, ничего.

А сама думала, думала, как не пустить Родьку на завтрашний их «инструктаж». Задержать надо обязательно! Да если они заманят его на свое сборище, одним этим уже причислят к компании заговорщиков, запугают, потом будут подбивать на грязные дела. Значит, надо задержать его, надо... Да сговорить его... поехать утром с ним на рыбалку — это он любит — и там где-то, на реке, задержать. На охоту поехать!.. Захаров обещал ему на денек дробовое ружье, вот и воспользоваться обещанием, сплавить на уток, — охоту Родька любит даже больше рыбалки; а уток, говорят, по ту сторону Чулыма, по озерам, по старицам — тучи. Так что решено, завтра утром — туда!

Туда-то туда, да надо было еще выбрать момент, поговорить с Родькой, заручиться его полным согласием.

— Ты у меня большой, сильный, — шептала она, ластясь к нему и целуя шею и подбородок, когда легли спать. — Прямо-таки огромный, как мишка-медведь! — Одну руку она подсунула под него, другой обняла за выбишееся из-под одеяла плечо. — Тебя никак не обхватишь! И весь такой плотный, — она пробежала быстрыми пальцами по его плечу, по лопатке, — не зашипнешь!

— Ты у меня маленькая! — хмыкнул он, не скрывая довольства. — Прямо-таки замухрышка!..

— Конечно.

— Слабая, хилая!..

— Конечно, по сравнению с тобой.

— Ах, все-таки по сравнению! — Он привычно стянул обручами рук ее тонкое, гибкое тело, дождался, она прикоснулась губами к губам. — Будешь еще приbedняться, скажи?

— Буду... Буду говорить, Родя, как есть. Что-то происходит со мной в последние дни непонятное. Да ты ослабь, Роденька, руки... — И он послушался, расцепил их; но совсем-то Альку не отпускал. А она торопливо шептала ему на ухо: — То одного хочется, то чего-то другого, то соленых огурцов, то капусты. А сегодня днем захотелось жареной рыбы. Но поела немного — уже не надо. Надо чего-то другого. Какой-нибудь дичи.

— Бывают прихоти на жареную рыбу, на дичь?

— Так вот говорю тебе, как было, как есть. Но что это означает, я же точно не знаю. Только, говорю тебе, поела бы чего-то куриного. Еще лучше — утино. Сплаваем, Роденька, завтра с утра за Чулым? Там на озерах и старицах, говорят, полно уток.

— Так завтра мне некогда, я же тебе говорил.

— Инструктаж, что ли? Так это после обеда. А мы с тобой поплывем утром. Часов в восемь я сбегаяю за ружьем, раз Иван Иванович обещал, он даст, в половине девятого — на реку. Ты настреляешь быстренько уток — целую дюжину! — поешь со мной, дома уже, свежинки и успеешь, конечно, туда. — Алевтина потянулась губами к его губам и почувствовала, обручи его рук опять стягивают ее, да так плотненько, туго. — Условились? Хорошо?

— Ну, хорошо, хорошо.

В девятом часу утра, как хотела того Алевтина, они были на реке. День начинался пасмурный, низко ползли косматые тучи, и Чулым выглядел особенно полноводным. Волны хлестали о борт лодки, от студеных брызг коченели руки, горело лицо.

Но переплыли Чулым быстро, потому что шли от берега к берегу наискось, помогало течение. В первой же большой старице, тоже полной воды, идя против течения, начали буксовать, и Родька, был момент, усомнился, дотянут ли они до утиных мест, послеют ли к обеду домой. Но дальше опять пошли хорошо, а первая же парочка уток, вырвавшаяся из-за кустов, взбудоражила Родьку, он схватился за ружье и более уже не



подгробал и не правил, с лодкой управлялась Алевтина. В какой-то путанице проток попали к островку, заросшему ветлами и кое-где невысокими черными елками; вокруг билась вода, не такая быстрая, как в Чулыме и в первой большой старице, но тоже мутная, неспокойная; а над головами, в разных направлениях, фьюкая, пролетали парочками и стайками длинношеие птицы, и разгоревшийся еще более Родион приказал:

— К берегу! Вон туда, где склонились над водой две елки; они нас подмаскируют.

Алевтина все сделала, как он хотел: подплыла к елкам и поставила лодку под их непроницаемо-черные кроны, дала нетерпеливому охотнику выскочить на берег и сама ступила одной ногой на прибрежный песок, вытянула из лодки брэнчавшую цепь и набросила ее на ствол елки, крайней, потолще других. Все, можно присесть на дернистую кромку берега, отдохнуть. Но только подумала об этом, только присела, как тотчас поднялась: где там Родька, в каком месте острова затаился. На середине и тоже под елкой. Он хитрый, умеет так слиться с местностью, что не сразу его разглядишь. А стрелять вознамерился влет и так, чтобы добыча падала тут же, на остров, не гоняться за нею на лодке. Интересно, что будет через минуту, через десять минут... Подстрелить бы крякву. Это красивая птица, особенно селезень: голова и шея темно-зеленые, на крыльях синефиолетовые зеркальца. Даст же природа красоту утке глухарю, тетереву! Она, Алевтина, немало перевидела их еще там, где жила раньше. С настоящей рыбалкой познакомилась уже здесь, в Кипрейной гари, Родька приносил с Чулыма осетров, тайменей, ленков, это тоже красавцы, уже подводного царства. Богатые здесь, на Чулыме, места! Что дичи, что рыбы, что ягод! По таким вот островкам возле проток, по тальниковым зарослям в устьях речушек — аж горячо глазу от красной смородины, пошел вверх по распадкам, по мокрым ключам — смородина черная, выбрел на склон перевала — черника, угодил на гари — малина, поздней, осенью, забрался в моховое болото — на зеленом темно-красной россыпью клюква. «Журавлинка!» — называют ее местные жители из лесных деревенок, чалдоны; они и лакомятся ею, и лечатся, живут ею, обозами гонят ягоды по зимним дорогам в дальние и ближние города.

Щурясь от блеска воды, Алевтина глядела и глядела вдоль неширокой протоки, по кромке небольшого и, конечно, безымянного островка. Там, за островком, есть еще островки, острова и протоки, есть озера и старицы, там садятся, пролетая с юга на север, дикие гуси и журавли. Левей и далее от реки с ее старицами и протоками — кедрачи, не встретишь пиленого пня, там осенью созревает уйма орехов. А где орех, там белка и соболь. Из кедровой тайги и принес ей в прошлом году один местный охотник двух соболей, их хватило на шапку и воротник. Лучшие ягодники брусничные на той стороне Чулыма, по сосновым борам, гарям и вырубкам. А где ягода, там боровая дичь, там на нее и охотятся люди. И она, Алевтина, в те места хаживала по ягоды. Сосновые, без единого лежалого дерева, аккуратно присыпанные коричневой хвоей боры; глухие распадки с холодными ключами и гулками водопадами, а по горбам перевалов — камни и каменные столбы, как разрушенные стены неведомых крепостей; взберешься на такую развалину, вспугнув кривоклювого, с сединой на голове и крыльях орла, глянешь вдаль, а там — серебряными полукольцами на солнце — Чулым и монетами-серебряшками на зеленом — озера. Господи, красотища-то какая, красотища вокруг!.. Аж дух захватывает!..

Где-то сбоку, Алевтина не сразу поняла где, зашелетели с легким присвистом — фью, фью — утиные крылья, и тотчас, уже не где-нибудь, а у нее за спиной, на середине острова бабахнули один за другим два выстрела. Алевтина вскочила на ноги, осыпая песок, оглянулась: батюшки, уже падает птица. Другая, быстро мелькая крыльями, улетает, эта падает, разрывая серую паутину еще не распустившихся ветел. Тук!

К месту падения птицы она прибежала поздней Родьки, тот уже стоял, выставив одну ногу вперед, и рассматривал свой трофей. Простенькая серая птица; если бы не нос долотом, не розовые перепонки на лапах, так и не сказала бы, что утка; похожа на курицу, только молодку.

— Самочка?

— Самка.

— А там селезень?.. — Алевтина подняла голову и проследила взглядом за уткой, одиноко летавшей над островом чуть в отдалении. — Не ее селезень?

— Думаю, что ее.— Они дождалась, одинокая утка появилась над другим краем острова.

— Видишь ли...— Родька наклонился и концом ружейного ствола перевернул на песке убитую птицу.— Это не иначе как свиязь.— Он привстал на колени и, подхватив пальцами крылья, растянул их, снизу почти белые, на всю ширину.— Ну да, свиязь, такая порода речных уток. Самка. А селезень...— Они опять заглянули в белесое небо и снова увидели пролетающую утку.— А тот — селезень. И то, что он не улетает совсем, кружит неподалеку, верный признак, что свиязь. Видишь ли, из всех уток — я это от стариков охотников еще в Займище слышал — самка и самец свиязи друг без друга не живут, погиб кто-то один, губит себя и другой или другая. Будто бы так.

Алевтина медленно опустилась у ног мужа, присела на пыльный и тусклый, перемешанный с прошлогодним листом песок, внимательней пригляделась к птице: невзрачная с виду, никакой раскраски в ее оперении, голова маленькая, глаз задернут дряблым, старушечьим веком, а такая любовь к ней. Столько рыцарской жертвенности у селезня. Чудеса, прямо-таки чудеса из чудес! И тут Алевтина опять, снова прислушалась, не шелестят ли поблизости утиные крылья, подняла к мглистому небу глаза — не возвращается ли тот рыцарь. Нет, нет, Родька тоже крутил головой, глядел и прислушивался.

— Не видно, не слышно? — спросила шепотом Алевтина.

— Нет.

— Так, может, он уже погубил себя с горя.

— Не знаю. Возможно.

— Так, выходит, они, свиязи, благородней, чем люди, самоотверженнее? У людей, сам знаешь, нет, чтобы кто-то, оставшись один, искал себе гибель и умирал.

— Нет, стало быть, не разумно такое.

— Любви у них самоотверженной нет! Как у лебедей, как у связей! Скажешь, не так? Вот у тебя, например, самоотверженная любовь, пойдешь ты на гибель ради меня?

— Ну, о чем ты вдруг?! — буркнул нехотя Родька.— Зачем говорить, чего нет.

— Пойдешь или не пойдешь, если я сгину? Да или нет?

— Ну, пойду.

— То-то мне! — засмеялась она, ухватившись рукой за его плотную широкую шею. — Связь мой, селезень! — И она поднялась вместе с ним, вставшим с колена. — Может, костер разведем, скипятим чай, сварим утку? Не хочется? Мне тоже пока что не хочется.

Расхотелось им и сидеть под черными елками, выслеживать пролетающих уток, они побродили бесцельно по пустынному острову и сели в лодку, поплыли обратно. На пути, правда, Родька подстрелил еще селезня широконоски, но особенного восторга эта добыча не вызвала. Интересней, думала Алевтина, не охотиться, а рыбачить, там как-то меньше задумываешься, даже совсем не задумываешься, что губишь живое существо. Еще интересней собирать ягоды, там никаких треволнений, одни радости, полное слияние с природой.

На своем берегу Чулыма, когда вытаскивали из воды лодку, Алевтина ненароком взглянула на Родькины часы на его левой руке и ахнула: всего только двенадцать! Удержала, называется, мужа возле себя, не дала поприсутствовать на их сборище распроклятом! И, так вышло, поскользнулась на камешке. — Ой!

— Что такое? — обернулся к ней Родион.

— Нога... Кажется, подвернулась нога. Вот, будешь сидеть тут, на берегу, пока остановится боль, пока отдышусь я. Или понесешь домой на руках.

Он посмотрел на нее искоса, и веря ей и не веря, больше, конечно, не веря: на губах зажигалась улыбка, он в зародыше гасил ее, она опять зажигалась, — ничего не сказал. Потом так же молча, только по-мужски внушительно крикнув, подхватил ее на руки и понес. Понес в гору, проваливаясь до щиколоток сапогами в песок. Вышел на дорогу и понес, ничего не говоря, по дороге. Алевтина притаилась, думая, что будет дальше. Не понесет же поселком, на глазах у людей, постесняется. Пока можно наслаждаться своим возлежанием. Она закрыла глаза. Тяжело нести, в ней чуть не шестьдесят килограммов. В нем не меньше, чем девяносто, выдюжит! Он же сильный, вон шея, — она и закрытыми глазами все видела, — ядренущая, как у быка; подбородок узкий, но тоже увесистый, гладкий; на щеках, ближе

к вискам черные пятнышки-мушки, но они нисколько не портят Родькиного лица; глаза черные, в них всегда, будто в колодцах, темень и немота. Наложил бы он на себя руки, если бы она, Алька, вдруг умерла? «Не разумно!»—сказал бы. А она, вот она, если бы с ним что-то случилось, даже не задумалась бы, как ей поступить, выбрала бы поотвесней крутик и—головой книзу в Чулым.

— Ладно, Роденька, попытаюсь идти...

— Попытайся,—легко согласился он. Опустил ее на дорогу, где было поглаже и, не оглядываясь, пошел.

Дома, сразу после обеда,—сварена была утка,—он заторопился со сборами. Сапоги сбросил, надел хромовые ботинки, поверх пиджака—новое драповое пальто, недавно купленное. Оставалось снять с гвоздя кепку—в это время Алевтина поманила его в сени, чтобы поговорить без свидетелей. Остановились, почти равные ростом, нос в нос.

— Ты куда?

— Как куда?—отступил на шаг Родион.—Я ж тебе говорил: инструктаж.

— В конторе?

— Нет...

— На лоне природы? Значит, пикник. И я с тобой на пикник.

— Да тебе-то что делать? Да какой там пикник, что ты выдумываешь?!—Он пошел на нее грудью, заставил приткнуться локтями к стене.—Откуда ты это взяла?

— Я знаю. Мне говорили. И что будут там женщины, говорили. Такие...—Она покрутила пальцами возле виска.—Легкого поведения.

— Ну, знаешь, Алька, я этого от тебя не ожидал!

— А я, я ожидала?—поднесла она к горлу сжатые кулачки.—Могла думать, что тебя сманит другая? А еще говорил, что пойдешь на гибель ради меня.

— Когда говорил?..

— Тоже мне свиязь!

— Чертовщина! Нет, какая-то чертовщина!.. Ты в уме или нет?—Родька потянулся руками к ее голове, хотел ощупать, холодная она или горячая, но в последний момент отнял руки, схватился за собственную лохматую голову.—Может, у меня не в порядке? Черт

знает что! — И содрал с себя пальто, бросил в руки жены, сам, распахнув дверь, как пьяный, качаясь, вошел в дом и бухнулся на застланную кровать, только не вдоль лег, поперек, оставив на полу ноги.

Уже в сумерки, с сонного, Алевтина сняла с него ботинки и без единого слова упрека, что ложится одетый, накинула на него одеяло. Сама, перебежав улицу, постучала в окно Глаши.

— Ты дома?.. — Та просунула между створками подбородок и нос. — Твой дома, не ушел на пикник или на сборище хуже пикника?

— А я ему дома устроила пикник: выпоила поллитру, еще чуть не поллитру, он и уснул. Не просыпался еще.

— И мой не ходил, спит!

#### 4

А их ждали в распадке, в верхнем углу кладбища. Ждал Каргаполов, елозя на пне и шмыгая простуженным носом, ждал приятель его Пентюхов, крутившийся на валежине по соседству. Они пришли в условленное место поодиночке, но в назначенный срок и, поскольку всех живых людей на кладбище было двое, только они, оповещенные еще не явились, а те, что помянули родителей, разошлись по домам, присели у одинокой могильной оградки и нервию, все-таки нервно, поглядывали, не идет ли кто из своих. День выдался пасмурный и холодный, и приятели, чтобы не заоченеть, выпили. А у выпившего и смелости больше, и язык ворочается ловчей; Каргаполов даже раскричался, что не подходят позарез нужные люди:

— Сидят возле Марьиных-Дарьиных юбок! А чего, спрашивается, ждут? Когда пригласим их вторично? Нарочного за каждым пошлем?

— Дожидаются, явимся к ним с поклоном, — прописклявил Матюха.

— Вот дождутся... дождутся они на свою шею!.. Да так им и надо, пусть не лезут сами в ярмо!.. — Каргаполов почувствовал на локте руку единомышленника, увидел, что тот водит глазами по сторонам, мол, и у леса есть уши, и возмущился: — Что? Что цепляешься? Трусишь? Человеком отваги и высокого принципа надо

быть! А ты, вижу, такой же, как они, без волевой струнки. Без авторитета.

— Почему это без авторитета? — вырвалось из Пентюхова трубно. — Меня знают, со мной тут считаются.

— А где твой народ?

— Еще подойдет. Вон подходит со стороны мелкого сосняка...— И замахал рукой, делая знаки, чтобы шли на него. Разглядев же, что там всего один человек и не самый желанный, сплунул в куст ржавого папоротника и присел снова напротив Каргаполова.

Подошел, весь в старом, поношенном — шабуришко, сапожонки на нем, шапчонка — Осип Макарович, покашлял в ладошку.

— Ну, здравствуйте.

— Здравствуй, здравствуй, если не хвастаешь, — покосился на него, сверля глазами, Каргаполов. — Почему один, даже без кума?

— Да как обезножел с началом распутицы кум, никак не поднимется. Вчерашний день вроде бы оклемался, по избе мало-мальски ходил, сегодня утречком прихожу к нему — снова лежит. — Осип Макарович содрал с рук обшитые варежки и вздел их на деревянные столбики чьей-то уже застарелой могильной оградки, сам принялся поправлять на себе шарф, туже наматывать его, шерстяной, рукодельный, на жидкую шею; застегнул на все пуговицы шабур и поднял воротник. — Пока шел, разогрелся, теперь как бы тут не остыть. Ведь что получается: зимой, в лютую стужу, как-то с кумом терпели, не кашляли ни разу, даром что старики, теперь, с началом тепла, стали прихварывать. Оба. И я, я недельку вылежал, когда расхотелся Чулым. Поднялось колотье в груди, с левой стороны, — старик ухватился обеими руками за грудь, — ну, ни вздохнуть, ни охнуть, хоть плачь.

— Хоть ложись в гроб! — продолжал свое сверление Каргаполов.

— Хоть в гроб. Да, стало быть, смерти не до меня, грешного. Походил к докторам, и совсем полегчало, осталась малая малость, знобит. Пройдешься, ничего, разогреешься, а остановился — знобит.

— Зимой так не знобило, как теперь, с началом тепла?

— Право слово, не было такого зимой, как сегодня...

— Знобит?

— Хочется пошибче закутаться...

— И отдаёт в левый бок? Снова покалывает?

— Ну, не так, чтобы шибко...

— Ну вот что, дедок, — Петр Христофорович рывком встал, пошел на старого грудью, что тот попятился к частоколу оградки, — хватит рассказней про левый бок, про колотье. И про сегодняшней, даром что потеплело в природе, озноб. Ты скажи, где твои подопечные? Ну, кум, обезножел, хвораёт, о нем меньше всего разговора. Где Лихов, к которому велено было сходить? Почему не привел Родькиных соседей, бригадира и мастера?

— Заходил. Ко всем заходил, — крестясь, побожился Осип Макарович, — сегодня по второму и по третьему разу, да толку-то, один не порет не вяжет, под градусами лежит, другой, тоже подградусный, куда-то убрел в поисках водки; Родька Лихов, этот уплыл будто бы на рыбалку, когда возвернется, мать и сынишка не знают, он им не докладал.

— Стало быть, не придут сюда, нечего ждать?

— Нечего.

— Поминай как звали сообщничков?! — Петр Христофорович продолжал наступление на старика, и тот отходил вдоль частокола оградки. Уже вытянутой рукой сдернул со столбиков варежки: еще пригодятся. — А не тобой, старая кочерга, перемешаны угли в загнетке, что они больше не тлеют? Это ты надоумил, чтобы люди не приходили сюда?

— Нет. Вот те крест, нет.— И Осип Макарович принял креститься быстро и торопливо. — Ничего такого сельчанам не говорил. Вам насмелюсь сказать: зря вы, робята, беретесь за старое, поугасли угли в загнетке сами собой.

— И не вздуешь огня? Не получится?

— Нет.

— Ты слышишь, Матвей Никанорович, что говорит твой земляк?

— Слышу, слышу.

— Говорит, ничего у нас не получится. Каково?

— Хи-хи, — засмеялся Матюха. — Хиромант!

— Так вот, хиромант, — принял грозную позу Петр Христофорович и пошел на старика не грудью, всем



грузным телом. — Чтоб духа твоего здесь не было! Ясно? — Лопатки передних зубов его хищно ощерились, глаза загорелись тоже хищным огнем. — Прочь, прочь! И можешь ишачить сколько угодно, красуйся на их Почетной доске, но других, других, старая крыса, не агитируй. Не смей!

— Да как я посмею, дорогой ты, Петр Христофорович? Да я ниже травы, тише...

— Заткнись! А раскроешь рот, насмелишься агитировать кого-то, тем паче на кого доносить, учти, мокрая курица, у нас око за око, зуб за зуб!

— Да мыслимо ли!.. Да что я, какая-то нехристь?

— А теперь можешь идти. Помяни родителей, если они тут похоронены. Выпей за них, если захватил, как мы с Матвеем Никаноровичем, бутылку. Пока! Да торопись, дедок, торопись, — добавил Петр Христофорович, чувствуя, что старый хочет еще что-то сказать. — Тебе некогда и нам некогда, мы еще не всех родителей своих помянули, выпили не за всех. Есть там еще, Матвей Никанорович, немного в бутылке?

В бутылке еще было немного и была у Пентюхова еще одна поллитровка, так что «дружки», оставшись одни, подкрепились новыми градусами, и Каргаполов начал опять распалтаться:

— Обнадежил ты меня, Пентюхов, я сделал ставку на Кипрейную гарь, а народишко тут паршивый. Вот сидим, ожидаем второй час, никто не приходит. Этот старикашка не в счет. Зачем нам старые лапти? Вот других, нужных людей нет, худо. И я опять думаю, что за люди тут поселились, может, извечная голытьба? Она ж никогда и ничего не теряла, что могла бы жалеть. А мне жалко, у меня под Славгородом хозяйство было, как у помещика. Пахал и косил больше, чем вся остальная деревня. Дом стоял в два этажа, каменный фундамент, железная крыша, на коньке вместо флюгера белой жести петух.

— И все, все отобрали?

— Это? — насупился Каргаполов. — Думаешь, только это имел? Еще мельница с нефтяным двигателем была, рядом с ней маслобойка. И держал пчел, ульев сто пятьдесят.

— И все, все помели? — глотнул воздух и поперхнулся Матюха.

— Так я им, голоштанным, и дался! Я же грамотный, когда-то маленько не кончил гимназию, ну и газеты и книги читал. Как почуял, что назревает коллективизация, так начал бойчее распродаваться. Помели!.. Нашли дурака! Но все равно жаль хозяйства, отдал за половину цены. Где там, за четверты! — Каргаполов подхватил валявшуюся у ног поллитровку и швырнул через оградку, через ивовый куст, там она ударилась о камень и разлетелась вдребезги. — Двухэтажный дом па каменном фундаменте, под железом пришлось бросить: пользуйтесь даровым, сельсовет и кооперация. А легко было дарить? — Петр Христофорович размахнулся через плечо и хотел бросить вторую бутылку, еще не допитуя, она вырвалась из руки и разбилась неподалеку, обдала его мелким стеклом.— В гроб, душу бога Христа!

Уходили они на всякий случай поодиночке. Пентюхов пробирался кустами, озираясь по сторонам: не следят ли за ним, не идут ли по следу. Мало ли в поселке опасных людей. Да и Каргаполов человек невоздержанный и болтливый, надо его опасаться. И пусть поскорей уезжает, верные люди Кипрейной обойдутся и без него!

## 5

«Алексейко» — так его больше не звали, только «Алексей» или «товарищ Орлов», потому что с годами он возмужал, стал кандидатом партии да и должность занимал видную — начальника поселкового клуба, не заведующий — начальник; кроме того Алексей сам участвовал в самодеятельности, играл в одноактных пьесах заглавные роли, руководителей производства и хозяйственников, которые в его исполнении выглядели несколько комично; больше же начальник клуба любил выступать с лекциями и докладами о международном положении и внутреннем, причем готовился к ним долго и тщательно, зачитывая до дыр газеты и журналы, говорил перед собравшимися долго: давали ему пятнадцать минут, занимал полчаса, давали полчаса, едва управлялся за час.

Вот и опять нарушил регламент, проговорил весь обеденный перерыв, хотел осветить только основные задачи второй пятилетки, получилась целая лекция о

внутреннем положении страны, и слушатели, сидевшие и лежавшие посреди плотбища кто на чем мог, уже поглядывали по сторонам, на штабеля бревен по берегу, которые были еще высоки, катать и катать, на плот, державшийся на воде, в который еще пичкать и пичкать бревно за бревном, плитку за плиткой, стлать в один ряд и в другой, сколько позволит при сплаве вода. Алексей наконец все это понял и махнул брошюрой, свернутой в трубку.

— Закругляюсь, граждане, — воскликнул он по-мальчишески звонко, чем и выдал себя с головой: молод еще, молод, не спасет никакая должность. — Стало быть, хозяйственная задача на пять лет — создать экономический фундамент социализма в стране. Основная политическая задача... зачитываю точно по печатанному... — Он развернул брошюру, которую держал свернутой в трубку. — «Основная политическая задача второй пятилетки — сделать всех граждан страны активными и сознательными строителями нового социалистического общества...» Значит, и вас.

— А мы-то при чем? — возразил кто-то. — Мы тут ни при чем.

— Как это ни при чем? — удивился Алексей.

— Наше дело катать!..

— Здесь... Здесь неправильное суждение! — надсаживался теперь Алексей, стараясь восстановить тишину. — Пятилетка касается всех, в том числе вас. Вы тоже принимаете самое активное участие, раз даете родине лес. «Лес — Родине!» — написано красным по белому на всех будках, значит, вы не на себя только стараетесь, не на Гитлера с Муссолини, на советский народ. А раз на свой, на советский, так хвала вам и честь, в особенности передовикам. Слава передовым ударникам! Ура! — Он таки заглушил все голоса. — Есть вопросы? У мастера Лихова? Нету?

— Нет, — сказал Родион, стоявший, прислонясь к зауголку будки-обогревалки, хотя вопросы у него были. Например, как быстро перевоспитаешь народ, каждого человека, ведь люди всякие есть, особенно здесь, на Чулыме. Сделай сознательным Пентюхова Матюху, когда он способен на все. Подумал Лихов и о себе: тоже иной раз бродят в голове нехорошие думки. Тот раз испугался и чуть не пошел на их сборище. Спасибо

Алке, удержала, не дала даже коснуться локтями их грязных локтей.

— Значит, нету вопросов, все ясно?..

Но вопросы, пожалуй, нашлись бы, да чуть ниже по течению реки от плота, державшегося возле берега на плаву, оторвало с полдесятка пучков леса, они, медленно разворачиваясь, поплыли, и первым заметивший их Иван Степанович Царегородцев соскочил с бревна, закричал:

— Мужики! Этак их унесет в реку Обь, а там в океан!

Он подхватил валявшиеся тут же, у будки-обогревалки, моток конопляной веревки с привязанной к одному концу «кошкой» и затрусил вдоль берега, по заплесканному мутными чулымскими волнами песку. Посрывались со своих мест один за другим и остальные катали бревен и сплотщики, помчались что есть силы вдогонку. Побежал, опережая их, Алексей. Ему удалось поравняться с Иваном Степановичем; в четыре руки, они расправили веревочный моток, и Царегородцев, уже один, пробежав еще немного вперед и забредя чуть не до колен в воду, метнул «кошку». Она угодила в самый центр связанных между собой пучков и зацепилась там, веревка натянулась как струна, повисла над водой. Удержать же на тонкой бечеве уплывающий лес, не менее ста кубов, Иван Степанович не мог и шел за связкой пучков, упираясь и забредая все глубже в реку, вода уже заливалась ему в голенище сапог. К нему подбегали товарищи, хватались за полы пиджака. Алексей, обогнав всех, схватился обеими руками за веревку, но о что-то невидимое под ногами запнулся и плюхнулся в воду, она на какое-то время скрыла его с головой.

Родион подоспел на выручку бригаде последним, зато со второй «кошкой». Он не полез, как все, в воду, а пробежал берегом дальше и, поравнявшись с уплывающей связкой, метнул в нее «кошку» сильным рывком. Она там поцарапала мокрые бревна и соскользнула в воду. Пришлось выбирать веревку, складывать в короткий моток и бросать снова. Теперь «кошка» зацепилась. Но непрочно зацепилась, сдавала, чуть он пробовал натягивать бечеву.

Это заметил Алексей. Он кинулся к плоту вплавь,

попеременно вскидывая над водой руки и выбивая руками и ногами брызги. Впереди него мирно плыла его кепка; он подхватил ее уже возле самого плота. Подминая под себя бревно, с мокрой кепкой в руке, с прилипшими на лбу волосами вскарабкался на плот и полежа на нем, переводя дух. Облегченно перевел дыхание и Лихов. Он не дышал все время, пока плыл в ледяной воде Алексей, оказывается, смельчак, теперь закреплявший меж бревнами его «кошку». Чем-то побил ее, каким-то полешком, и поднял руку.

— Давай!

И парни и мужики начали пристраиваться впереди мастера, тянуть за веревку, весело гогоча; а группа Царегородцева орала в один голос: «Взя-ли! Еще раз!» И убежавшая было в Обь, а там в океан связка пучков послушно потянулась к берегу, а потом и вдоль песчаного берега, преодолевая встречное течение. Сплотщики водворили ее на прежнее место в огромном теле плота и кучей вышли на берег.

— Ай да мы, не дали убежать бревнам! — возрадовался Осип Макарович. — Особенно молодец Алексейко. Да и все мы, все молодцы! — Сам он, как и его кум, больше топтался на берегу, чем тянул за веревку, но все равно помогал. Уже криком своим «Взяли дружной!» — помогал. — Я только побаиваюсь, не простудился бы ты, Алексейко. Однако беги, парень, домой, полечись встречно.

— Да, да, Алексейко, водкой натришь. Часть на себя, часть в себя, половину на половину.

И Алексейко — это имя ему опять подходило куда больше, чем «Алексей» или «товарищ Орлов», — послушался, натянул на лоб кое-как отжатую кепку и побежал, оставляя на сером песке две прерывистых строчки темных следов.

Только скрылся за штабелем бревен, из-за штабеля, с папочкой под мышкой, вышел Матюха. «А ты, ты зачем к нам?» — едва не вскрикнул истошно, увидев его, Родион. Ему показалось особенно не ко времени появление этого человека, а встречи с ним он не хотел и боялся ее. Но теперь вот взъярился и осмелел: «Ну что, что тебе от меня надо, идешь? Будешь спрашивать, хочу я с вами ли не хочу? И кончим на том разговор». И он пошел навстречу приземистому человеку с папоч-

кой, чтобы сказать — нет, нет и нет! И пусть его оставят в покое!

— Ну что?.. — кляцнув зубами, спросил он своего ненавистника, загородив ему путь.

— А что?.. Ты что, землячок? — попятился, втягивая голову в плечи, Матюха и продолжал тонким голосом, невинно: — Если ты, Родион, о том собрании в воскресенье, так пожалуйста, не пришел, дело твое, не хочешь — не надо. Никто же из наших над нашими не насильничает, кто как хочет, так и живет. И еще: ты нас не знаешь, мы не знаем тебя.

Не верил ни одному его слову Родион.

## 6

Что-то такое происходило, люди в поселке заволновались, на работе делились на малые кучки и перешептывались, а возвращаясь в поселок, озирались по сторонам. С наступлением сумерек затихала — даже собаки не злобствовали — Кипрейная гарь.

Опять несколько дней кряду не появлялся на плотбище займищенский Матюха. Родион не придавал бы этому никакого значения, но однажды случайно, из-за стены будки-обогревалки услышал разговор михайловских кумовьев, они говорили про старшего нормировщика, что теперь он вряд ли появится с папочкой под локтем, так оборачиваются дела.

Разговор этот заинтересовал Родьку и немало встревожил: как бы не пошел на какую подлость Матюха, не ошельмовал. И опять думал, а чего ему, Родиону, бояться? Ну, участвовал в разговорах, так это было давно. Да и что из тех разговоров, если на дела грязные он никогда не шел, поставили плотником — плотничал, мало ли срубил в поселке домов, назначили конюхом, старшим, — тоже делал по совести, и вот уже второй год десятник и мастер на лесозаготовках и сплаве; директор леспромхоза выдавал ему премии; Захаров мало ли хвалил за старание, ставил в пример и уж во всем доверял. Нет, ничего плохого с ним, Родькой, не должно быть.

Но в конце смены на плотбище позвонили, чтобы мастер Лихов срочно явился к Захарову. Телефонограм-

му принимал бригадир Царегородцев, Иван Степанович; он стоял в открытых дверях будки-обогревалки и кричал в телефонную трубку, переспрашивал: «Кого срочно?.. Родиона?.. Что ли, Лихова?» — И уже из дверей будки:

— Родион Лихов, тебя вызывает Захаров.

— Меня? Что ли, меня? — расслышав каждое слово, все-таки переспросил находившийся поблизости Родион.

— Если ты Лихов — тебя.

Ну, сделал свое грязное дело Матюха Пентюхов. И так это или не так, надо идти. Родион обмыл под берегом сапоги и направился, обходя штабеля леса, в поселок. По пути к конторе завернул на свою улицу и домой.

Алевтина еще не вернулась из школы; мать копалась в ящике с помидорной рассадой на кухне, она даже не заметила, что кто-то пришел; сын Ленька возился на полу, катал игрушечный грузовик. Все как вчера и позавчера, ничто в доме не изменилось. Родион присел на порог, уставился в светлое личико Леньки. Сынок!.. Он похож во многом на мать: и волосенки белокурые ее, Алины, и аккуратно заточенный носик ее; а вот шея, коренастая, плотная, конечно, его, Родьки, плечи приподнятые — его; и его, не постеснялся бы сказать он, в Леньке упорство, вон катает грузовичок взад и вперед по ковру, старается продавить колесиками на ворсистой поверхности колен.

Лицо матери, ее что-то шепчущие губы были сосредоточены на своем: на помидорной рассаде, уже выбившей первые желтенькие цветочки. Постаревшее за последние годы лицо, вон даже на шею выползли тоненькие морщинки; седины особенной нет, в темно-русые волосы будто насыпаны мука или соль, на макушке головы меньше, на висках больше.

Алевтина все еще не приходила. Пора было идти. Родион подхватил с пола немало удивленного Леньку (мол, что это вдруг прихотилось папке) и, пометав его, выбежал опрометью из дома.

В приемной толокся разношерстный народ. Потолкался, прислушиваясь и приглядываясь, и он, Родион. Хотелось все-таки наперед узнать, зачем его вызывают. Да как тут узнаешь! Дверь в кабинет Захарова бес-

престанно отворялась, то входили, то выходили. Был момент, человек пять из приемной ринулись в открывшуюся дверь. Нырнул завершающим и он, Лихов. Сквозь махорочный дым не сразу, но разглядел главврача поселковой больницы и заведующего школой-семилеткой, сидевших на одной скамье; отдельно восседал на табурете, положив нога на ногу, Орлов; у окошка сидели и стояли заведующая пекарней и продавцы двух магазинов, продуктового и промтоварного, завпочтой, прораб на жилищном строительстве, завскладами, заведующий конным двором.

Иван Иванович, облокотившись на письменный стол и пытливо взглядывая из-под густых сросшихся бровей, говорил с каждым из присутствующих в отдельности и со всеми вместе, о пристройке к больничному корпусу говорил, о предстоящем ремонте школы, о хлебопечении и торговле. Увлечшись разговором, он не сразу заметил ввалившихся еще в кабинет людей, а заметив, выпрямился за столом и сказал:

— А ну, хлопцы, выйдите пока! Через несколько минут позову. Лихов, останься!

Следом за хлопцами Захаров начал выпроваживать из кабинета, правда, по мере решения того или иного вопроса, и остальных: заведующего конным двором и прораба-строителя, завпекарней и продавцов, позже всех — руководителей здравоохранения и просвещения; оставил только Орлова. Поглядывая на того, обратился к Родиону:

— Лихов... А почему, собственно, «Лихов»? От «лихой» или «лихостной»?

— Не знаю, Иван Иванович... — смешался в недоумении Родька. — Не знаю... — Он не мог понять, к чему клонится разговор. Какая-то хитрость Захарова?..

— А скажи, Лихов, в смысле, человек смелый, лихой, как тогда тебе поохотилось?

— Ну, сплавал на лодке и пострелял.

— Убил двух уток, — подсказал Орлов.

— Не зря сплавал. Ты что же, с малых лет занимался охотой, Родион?

— Можно сказать с малолетства.

— Еще что делал с малолетства?

— Ну пахал, сеял. Начал с легкого — боронил. Стал большевиком, приходилось извозничать. Поначалу



и зесь, знаете, работал на конном дворе. Я люблю с лошадьми.

— А мне как раз надо любителя лошадей и знающего извоз. Отправляем несколько подвод в город, надо привезти скобяного товара, сам знаешь, строимся, кроме того закупить струнные инструменты для клуба, забрать новую библиотеку, она там приготовлена, дожидается. Ну и еще есть задание, вон товарищ Орлов знает, — Захаров легонько кивнул в его сторону, — он у нас старшой экспедиции; ты, значит, будешь его правая рука.

— А как же с работой, Иван Иванович? — Родька, конечно, был рад, что так счастливо оборачиваются дела — доброе слово и командировка в город, однако старался вида не показывать. — Я же, сами знаете, мастером в леспромхозе.

— Ничего, ничего, в должности мастера леспромхозовцы тебе замену найдут. Кто там мог бы позамещать дней пять, ну, неделю? Найдется такой человек?

— Поискать, так найдется.

— Но чтобы с головой был заместитель, распорядительный. Назови-ка хоть одного. Давай такого, что и сам сделает что-то и обяжет других сделать. Кто из таких на примете?

— Ну, Царегородцев есть, Иван Степанович, мой земляк.

— Богатый был мужик?

— Да славился хозяйством.

— И чем же он нажил его? Грабил и убивал?

— Нет, что вы!..

— Спекулировал?

— Не знаю. Этого вроде бы не было. Пахал землю, разводил скот. Машины были у него разные, скот держал только породистый. Ну, мельница водяная была, крупорушка. Много всего было.

— И как он везде успевал! Сыновей было много, большая семья?

— Нет, семьи было четверо, сам, сама да две девки.

— Выручали работники? Постоянные и сезонные?..

— Ну, конечно.

— Как работает сейчас?

— Хорошо. Сам сделает что-то и другого научит.

— Вот он и позамещает тебя. Как его фамилия, Царегородцев? — Захаров выдернул из нагрудного кармана авторучку, снял с пера колпачок и сделал пометку в настольном блокноте. — Царегородцев... Иван Степанович... Хорошо знающий дело... Сами-то как в своем Займище жили?

— Ничего жили.

— Тоже не грабили, не убивали? Нет? Спекулировали?

— У отца случалось когда-то, а я был мал и не занимался.

— По причине, что мал? А водяную мельницу, даром что мал, перед раскулачиванием купил? И даже вопреки желанию отца?

— Ну, это было, — засмутился опять Родька. — По глупости.

И об этом как-то прознал! Родьке думалось, и его сегодняшнее, все сегодняшнее Иван Иванович знает, только куда не говорит. Но еще скажет: «За хорошую работу тебя, парень, хвалю, то, что умолчал о некоторых злостно настроенных, твой минус, но я знаю о них без тебя. А теперь...»

— А теперь... — с этого и начал Захаров, вставая за столом и прощаясь. — Теперь идите оба домой и готовьтесь к поездке. Да ружье не забудьте взять с собой, товарищ Орлов, мало ли что может случиться дорогой.— И уже не поймешь его, поправляясь или разъясняя, добавил: — И зайчишка может выскочить на дорогу, и косач зазеваться на березе... и потом угодить в котелок. Командировочные получите завтра в восемь часов. Выезд — в девять. Провожать с конного двора приду сам.

Утром, не было еще девяти, Родион с Алексеем на трех парах, запряженных в новые, окованные железом тележки, тронулись в путь и к полудню, когда выбилось из облаков солнце и обогрело влажную весеннюю землю, были в двадцати километрах от Кипрейной гари, на перевале. Позади — Родька полуприлег в тележке и оглянулся — широко распласталась зеленая долина Чулыма, на зеленом огненно поблескивали длинные и короткие, выгнутые дугой и разбежавшиеся змейкой плеса реки. Зелень леса слегка подернута дымкой. Небо лазурно. Ширь, высь и простор!

Первый раз эти места Родион видел в зимнем уборе. Тогда был февральский солнечный день, снег начал таять, и радостное ощущение близкой весны охватило его. Парни и девки перебрасывались снежками. Прилетел комок и в него, Родьку. Набрал влажного снега в руки и он. Бросил. Да так и познакомился с Алевтиной. Через полгода стали мужем и женой.

А случилось довольно быстро такое — изменила своему милому Варька. После тех уговоров при расставании, после тех слез! Из писем от своих деревенских Родька узнал, позарилась на чужое богатство, оказавшееся у нее под руками. А мужика искать не понадобилось, подходящий мужик нашелся тут же, за переборкой их, лиховского, крестовика, — Степка. Меж строк Родион прочитал и другое: повлиял на дочку отец; да и вся обстановка деревни могла повлиять. Захлестнуло Варьку прибойной волной. И любовь тоже пришла новая. Образовалась молодая семья, вступила в колхоз. Поминай как звали их, Родион Лихов! И поначалу он поминал: «Варька, Варька, как у нас получилось!.. Степка, Степка! А еще товарищ был, родственник!..» Да скоро выяснилось, Степка вовсе не родственник, его выдавали за родственника, чтобы сельсовет не считал батраком, — призналась наконец мать.

Круг одной прожитой жизни окончательно замкнулся тогда, начался второй, с новой любовью, и свободненько клин клином вышиб, не затаив зла, Родион. И не подумал больше ни разу о Варьке и Степке. А теперь вот, оторвавшись от всего привычного на Чулыме, поднявшись на этот бугор, дал разгореться воспоминанию, как зажившей, да, видно, не совсем ране. И она, пожалуй, еще погорела бы, да закричал с первой тележки Орлов:

— Косачи!

7

В городе остановились неподалеку от тщедушной мелководной речушки на Средне-Кирпичной улице, в деревянном доме с каменным серым полуподвалом, как раз в этом полуподвале. Окна его были на уровне тротуара, и Родька, когда он еще поначалу зашел следом

за Алексеем в подслеповатое помещение, сначала увидел в окне тротуар из щелястых досок и обрубленные до колен ноги, правда, ноги живые, семенившие по сгибающимся доскам. Потом разглядел парня с темными волосами, в очках, что сидел в углу комнаты, за столом, обложившись толстенными книгами, и женщину с кружевным белым воротничком на темно-коричневой блузе, шедшую им навстречу.

Это были жена и сын Захарова. Еще дорогой Алексей рассказал Родиону, что они останутся на городской квартире Ивана Ивановича, что в Кипрейную с ними поедет на два месяца его супруга, учительница Гликерия Константиновна, и что их, таежников, святая обязанность — Алексей так и выразился: «святая» — доставить ее в целости и сохранности, без происшествий.

Тогда же, на ночевке в лесу, старшей экспедиции, клюнув спиртного, похвалялся перед своим подчиненным, что его, Родькину, кандидатуру в ездовые и сопровождающие предложил он, он поручился за него перед Захаровым, после чего тот будто бы сказал: «Что ж, Родион Лихов парень всех мер, работающий и честный, под стать ему и жена его Алевтина, он любит ее, уважает мать и уж души не чает в сынишке... Так что пусть едет Родион. Пусть будет подальше от смуты, которая тут началась. Собирайся с ним в путь-дорожку, товарищ Орлов!»

Родька хоть и был тоже под дымными градусами (с непривычки и бутылка на двоих опьянила), а слышал и взял в толк каждое слово Орлова. И пусть что-то неточно передавал Алексей, а суть оставалась ясной, разговор Ивана Ивановича с Алексеем был, Захаров интересовался судьбой Лихова, и за это ему большое спасибо. Спасибо опять за доверие: не побоялся отправить в поездку, причем дальнюю. Да он, Родька, выполнит его любое задание, не подведет!

Гликерия Константиновна, узнав, что они от мужа и с поручением мужа, принялась, конечно, расспрашивать, как у них там и что, а спохватившись, что держит гостей на ногах, извинилась и потащила их к вешалке, к расставленным возле окна стульям, а потом и за стол. Угощала чаем, сама ахала, охала, как она поедет

в экую даль, на кого оставит квартиру и сына. «Ма-ама!» — поднимаясь из-за своих книг, упрекающе протянул сын. Он был невысок ростом, как и отец его, но широкий в плечах, уже развернувшихся, да и лицом походил на отца, подведи ему темные брови, будет Захаров-отец. И мать, ласково улыбнувшись ему, махнула маленькой ручкой, мол, ладно, согласна, большой. И вскоре выдвигала из-под кровати, наблюдал Родька, фибровый чемодан, одно вынимала из него, другое клала, готовилась в путь. Рассказала посланцам мужа, как и где найти книжную базу, — там ждала их библиотека для поселка Кипрейная гарь, чуть не полтысячи томов, где, в каких магазинах лучше приобрести скобяные товары, куда обратиться за струнными инструментами, — опять же на базу, только другую, культторга; все рассказала, что знала, и принялась топить печку и греть воду: перед дорогой надо кое-что постирать. «Ох, только начни, так наберется стирки до вечера! Господи, и как все сделать успеть!»

И по пути на Чулым Гликерия Константиновна все ахала, охала. Спустились в балку — «Ох, глубоченная! И как выберемся?», заехали в глухую тайгу — «Ах, батюшки, да тут же непроходимые дебри! Не заблудимся в них? Не попадем в когти медведю?». Всему удивлялась: и высоте сосен, и нескончаемости хвойного леса, всего опасалась и вроде бы трусила, а случилось, переезжали речку, сорвавшую мост, ловко спрыгнула с воза (она была в сапогах) и перешла бродом бурлящий поток.

Ночевать могли в притаежной деревне, там были срубленные из соснового леса чистые, аккуратные домики, располагайся в них, отдыхай, но попали в деревню еще засветло, солнце хотя и скрылось за дальней горой, но как бы призадержалось там, и расхрабрившаяся пассажирка предложила следовать дальше. Теперь долго не будет ни одной деревушки, объяснили ей, ни одного хутора.

— Что ж, ночуем в тайге!

Родион с Алексеем посоветовались и решили — поедут, ночуют у костра. По пути в город они тоже ночевали у костра, возле речушки. Там от них оставался готовый шалаш, натяни на него брезент, подстели под себя войлок и спи. Даже дров оставалось немало, а по

берегу речки — густая трава, отпусти спутанными лошадей, будут сыты и далеко не уйдут.

Почти ночью они до места этого добрались. Все тут оказалось нетронутым: и шалаш из ивовых прутьев, и дрова кучкой возле кострища, и, конечно, трава по ровному и пологому склону к воде. Пока Алексей распрягал лошадей и привязывал их для выстойки к телегам, Родион надрал свежей бересты и разжег на прежнем месте костер, взвалил на него смоляной пень, не сгоревший во время прошлой ночевки. Огонь сразу пошел вширь и ввысь, подхватывая набросанные сушины и недогоревшие тот раз головешки, и высветил поляну между березами, получился как бы огромный, раздвинувший тьму ночи, шатер. Шатер маленький, то есть сплетенный из ивовых прутьев шалаш, прижался к земле, нацелясь входом к костру. Стало видно как днем и привязанных к облучкам телег лошадей с темными от пота шеями и мокрыми гривами, и телеги с намотанными на ступицы колес болотной тиной и грязью. После дорожной маеты, после темен и долгого молчания во тьме, при ярком свете, при частом и каком-то доверительном потрескивании костра, лишь изредка перемежаемом щелчками, было приятно посидеть всем вместе, перекинуться словом.

— От светит! От греет! — восклицал Алексей. — Так светит и греет — чувствуешь, Родион, — даже поджаривает всего. — Он приподнял на уровень глаз пальцы рук и поглядел на огонь через них, растопыренные.

— Даже просвечивает? — подсмеялся Родька.

— Точно, просвечивает, и не одни пальцы — нутро. Будь там какая чернота, нехорошее что-то, сразу обозначит, увидишь.

— И постарайся выжечь в себе черноту?

— Как всякое черное зло!

— Мальчики, мальчики! — мелодично пропела Гликерия Константиновна. — Вы начинаете философствовать, то есть говорить отвлеченно, вообще, а меня занимает частное и конкретное, я, признаться, побаиваюсь, не сожжем ли мы этой ночью тайгу: вон поползли коварные змейки огня по сухой прошлогодней траве к кустикам, под березы. — Она подняла с земли валявшийся прутик с обмявшими листьями и принялась бить

по расползавшимся змейкам, загонять их обратно в костер. — Тут, тут, ваше место! Долго ли из-за вас до беды.

— Теперь, Гликерия Константиновна, пожары тайге не страшны, — сказал Алексей. Обогрев руки, лицо, он подставлял огню бок и спину. — Не шибко страшны. Потому как лист распустился, и поднимаются травы. А вот ранее было, в сушь весеннюю, поголу...

— Представляю, как страшно, ох страшно людям, когда горит лес. Еще страшнее зверюшкам, они, бедные, не знают, куда им деваться, в какую сторону бежать. И хорошо, что уже распустился полностью лист, поднимаются травы, не до больших и страшных пожаров... Ой! — вскрикнула она. — Не сгорит тайга, так сгорим сами. Уже горим, пахнет. — Она принялась выскивать в складках рукава шерстяной вязаной кофточки прилетевший из пламени костра уголек. — Так и есть, начал прилипать к пуху. — Скорее стряхнула его с рукава, посыпались искры. — Да и сами-то, мальчики, вижу, горите, вон от обоих валит дым!

— Это не дым, Гликерия Константиновна, пар, — засмеялся Алексей, поворачиваясь к костру другим боком. — Сгореть у костра живым и не спящим, как мы, Гликерия Константиновна, хитро. Вообще, не просто погибнуть в тайге.

— Не такая мачеха она человеку, тайга? Добрая фея? Успокаивайте, успокаивайте бедную женщину, навязавшуюся вам в спутницы! А на самом деле и клещ вредоносный может впиться, и ожалить подколодная змея. Я уж не говорю о медведе, он нас задерет и скусает с удовольствием. Или, скажете, что не страшен и мишка-медведь?

— Это точно, не страшен. Да он, мишка-медведь, сам боится человека, бежит от него со всех ног. Может, время, Гликерия Константиновна, принести водички, скипятить чай?.. Время? Сейчас сбегаяю! — И Алексей подхватил с телеги котелок, метнулся к речушке. Возвратившись, — благо, что рогульки тагана сохранились после той первой ночевки, оставалось только положить перекладину, тоже готовую, — пристроил мокрый и шипящий котелок над огнем. — А медведь, точно вам говорю, Гликерия Константиновна, не охотник за человеком. Где там! И случая в наших местах не бывало,

чтобы напал где-то и как-то на человека медведь. А вот улепетывать от людей ему часто приходилось. Раз в такую же летнюю пору, тоже на речке, только побольше этой, сплавной... смех!.. подходят утречком к берегу работяги, а он, товарищ Топтыгин, уже тут, ловит в заводи рыбу. А рыба на икромет шла, бок о бок, голова к хвосту. Так он лапой черпнет, выждавши, — есть! И сплавщиков не заметил, увлекся. А они — трое их было — как крикнут: «Ты что тут?!» — он и сиганул в воду, пошел так, пошел, где вплавь, где по дну, такие брызги поднял, что больше его и не видели, пересек речку, скрылся в кустах. Еще забавнее было на горях, в малиннике... — Алексей повернулся к костру, уже не такому горячему, сникшему, передом и распростер над ним руки, чтобы досушить на себе промоченный пиджак.— Тогда и гарь кипрейная и малиновая уходила за перевал. Ну и пошли наши хозяйки по ягоды... Да вон лучше Родион расскажет, его жинка с теми была... Расскажи Гликерии Константиновне, Родион.

— Ну что ж, было... Мало ли и позже бывало... — Родька побросал в костер концы обгорелых сушин и полуприлег на земле, опершись на руку головой. — Значит, пошли соседки по ягоды, с ними моя Алевтина. На этой стороне перевала побрали, стали перебираться на ту. А там — мишка, обнял куст малины и чавкает. Он, конечно, и раньше пасся в малиннике. А тут вдруг люди, да целой компанией. И напугался, конечно, за-перебирал ногами, взад пятки, взад пятки. Струсившие было женщины осмелели — за ним. Бегут, а под ногами — что такое? — скользит. А это оставил после себя вещественные доказательства трусости Мишка.

— Да, выходит, не страшен человеку медведь, — заключила Гликерия Константиновна и поклевала прутиком котелок, — вода в нем бурлила и выкипала, заплескивая огонь. — Ну что же, молодые люди, успокоили спутницу, можно ужинать и пить чай. Заварка у меня приготовлена. — Она подала ее Алексею в распечатанной пачке. — Страсть как хочется пить!

Но сильнее, чем пить, путникам хотелось спать. И Гликерия Константиновна, забравшись под брезент, скоро притихла, наверно, уснула. Захрапел на возу, под-



свистывая носом, утомившийся Алексей. Родион, сидевший у костра, все еще боролся со сном, нарочно держа на весу гудевшую после дневной жары голову и прислушиваясь, до ломоты в ушах и в затылке прислушиваясь к потрескиванию сучков, к гулу костра; этот гул временами затихал, и тогда начинала шипеть на огне какая-то сырая валежина, то вновь прорывался сквозь что-то его застилавшее, сопровождаемый усиленным треском, и тогда Родьке казалось, что костер, весь костер отрывается от земли и куда-то летит, вместе с ним летит он, Лихов. И опять — тише, спокойнее, что можно было слышать не только шипение поблизости, но и плеск воды в отдалении; это плескалась на валунах беспокойная таежная речка; и там же, возле реки, то всхрапывали, щипля траву, то били о землю передними спутанными ногами их лошади, перебираясь на новое место, где целее трава. А был момент, которая-то из лошадей так захлопала всем телом о землю, что Родька привстал на колени: уж не волки ли там?.. Нет, это его коренной приохотилось покататься; и в темноте можно было разглядеть, она перевертывалась с боку на бок и терлась о землю хребтом, буйно храпела. Лошадь катается, говорит примета, к дождю. Но до рассвета он вряд ли соберется, а завтра пусть льет, они доедут до Кипрейной и в дождь!

И хотя ни одна крохотная дождевая капля не касалась рук и лица, костер горел, не умолкая совсем-то и не особенно ярясь, кони ходили поблизости, больше не беспокоясь, тайга черно и глухо молчала, как это бывает безветренной ночью, — ничто в мире, кажется, не предвещало беды, а Родька после того случая с шумно катавшейся лошадью почему-то чувствовал себя спокойно. Ведь знал, хорошо знал, что в этих местах не водятся волки, а думал о них, почти видел, как они, злые, лохматые, каждый на брюхе, подбираются к лошадям. Точно знал, не будет нападения медведей, тем более поблизости от костра, а сам думал, думал о косолапом, затаившемся где-то, под каким-то деревом в темноте. Сидит, готовится к нападению. Вот сейчас кинется на гнедую трехлетку, что бежала у него всю дорогу пристяжной.

И тотчас услышал — заснув и мгновенно проснувшись, — гнедая кобылка (он определил по голосу), за-

ржала. Заржала тревожно и жалобно. А остальные лошади забегали, топая, по лужку.

— Алексей! — вскакивая, позвал Родион.

Но тот уже был на ногах.

— Что? Где?..

— Что-то забеспокоились кони. Надо проверить.

— Бежим!

Костер уже прогорел, его слабый свет еле дотягивался до телег, составленных борт в борт, с опущенными на землю оглоблями. Правда, суетно выбивалась из туч половинка луны, и по другую сторону телег мужчины бежали при ее мерцающем свете. Посередине дороги, что вела с мостика через речушку, наткнулись на лежавшую лошадь. Она лежала, распластавшись всем телом, головой в выбоине с загустившейся грязью.

— Что-то неладное, — сказал Родион и наклонился над лошадью, потянул за жесткую прядь темной гривы. — Поднимайся! А ну, поднимайся! — Но лошадь елозила головой по черной клейкой земле, а оторвать ее не могла. — Что за черт?! — недоуменно сказал Родион и тотчас отдернул быстрым рывком руку, будто под рукой была не прядь гривы, змея. — Да это, Алексей, не наша лошадь, чужая. Смотри, она чалая, с темной гривой, темным хвостом. У нас нет таких лошадей. А удивительнее всего — без подков.

Наклонился и Алексей, ощупал лошадиные передние ноги, добрался до копыт.

— Точно, не кованая! Кто ездит на некованых лошадях! Странно... — Он прислушался, медленно разгибаясь. — Бежим-ка вон туда, за кусты, там, слышишь, возня. Слышишь?

Родион слышал. Даже голоса людей разобрал. На голоса, на возню и кинулся, огибая кусты с правой стороны, от речушки; Алексей метнулся левее. На полянке за кустами появились одновременно и оба увидели: стоит лошадь, запряженная в бричку, еще одну лошадь припрягают двое неизвестных людей; третий подъезжает верхом.

— Стой! — крикнули Родька и Алексей, так получилось у них, одновременно. Договорил уже строгим голосом Алексей: — Конокрады? Руки вверх и ни шагу, в противном случае буду стрелять.

И тотчас прогремел тяжелый, раскатистый выстрел,

но не здесь грянуло, не на поляне, точно определил Родька, а где-то возле их телег, у костра. Выстрел всполошил неизвестных людей, двое из них бросили так и не припряженную лошадь, заскочили в бричку и рванулись вперед, зацепив оглоблей, сбили с ног Алексея; третий, верховой без седла, мотаясь из стороны в сторону, поскакал за подводой; его ленивый или непослушный конь скоро перешел на шаг.

Одним махом Родька запрыгнул на оставленную конюхи лошадь, опознав в ней гнедую пристяжку («А тот, впереди — коренник!»), и ринулся пока к тaborу, за ружьем. Если все там благополучно... Ведь кто-то стрелял там... На скаку обернулся и крикнул:

— Алексейко, жив?

Тот сказал что-то неразборчивое и застонал.

Еще издали разглядел в редющей тьме Гликерию Константиновну, она стояла возле телеги с двухстволкой.

— Это вы тут?.. — Дождаться ответа не стал, понял, что стреляла она. — И хорошо сделали, что бабахнули! Теперь разрешите мне самому. Да патронташ дайте из шалаша. — И уже отъезжая: — Там Алексей...

Азарт, страсть и еще что-то такое, Родька не мог бы сказать, что именно, поднимали и несли его, как на крыльях. Даже лошадь — пристяжка, кажется, понимала, что надо торопиться вперед, и бежала, не жалея силенок. Вскинув голову, заржала. Впереди ей откликнулся уворованный, точно, он — коренник! И хотя дорога вела на подъем, бричка с грабителями тарахтела чуть ли не на гребне перевала; верховой, мучаясь без седла, ехал медленно, и его Родька вскоре обогнал, загородил своей лошадью дорогу.

— Стой! — И наставил ружье.

Неизвестный послушно сполз на брюхе с коня.

— Что же, стою, — сказал тонко, бабьим голосом займищенского Матюхи.

— Стало быть, уже напакостил, раз ударился в бега?

— Стало быть, землячок. Ты нам не попутчик? — И забасил как-то лохмато: — Да знаю, останешься с нами, лягавый! Продажная шкура!.. И что нюни развесил, стреляй в своего деревенского, убивай насмерть, живьем-то все равно не возьмешь. Али не будешь стрелять?

— Обожду. — Родька положил поперек конской гривы ружье. — Можешь топать на все четыре. Иди! — Он выхватил из рук Матюхи уздечку и поехал обратно, повел сзади коренного. По-настоящему-то, он должен был задержать негодяя, доставить в Кипрейную, но сказал — так получилось — иди, возвращаться не стал. Не его это, собственно, дело. Да и кто знает, не сидит ли поблизости кто-нибудь из их шайки с ружьем.

Костер опять разгорелся, он трещал и гудел, казалось, хлопал крыльями пламени, как глухарь где-нибудь в чаще, перед тем как взлететь. На свету от костра стояли привязанные к телегам три лошади, их собрала с пастбища и привела, конечно, Гликерия Константиновна. Даже загнанного беглецами чалку как-то подняла на ноги и доставила к табору, теперь он снова лежал. И лежал на свету, бледный, с кровавым знаком на лбу, Алексей. Возле него сидела с полотенцем в руках Захарова: теперь она выполняла обязанности сестры милосердия.

— Не смогли задержать, Родион Аверьянович?

— Где там! Вот коня второго отбил.— Он привязал своих лошадей поблизости от тех, что стояли.

— Молодцом, что отбили. Оба вы вели себя молодцом!

— Да чего тут особенно молодецкого! — Родька отвернулся смущенно: не до конца правильно действовал, а говорил не всю правду, хотя заметить его смущение, понимал, не могли. — Может, Гликерия Константиновна, сразу поедем?

— Поедем. Конечно, поедем!

— Как, Алексей?

— А чего еще ждать?..

На восходе солнца, с перевалов увидели голубую, потому что в редком тумане, долину Чулыма и сам Чулым, отдельными плесами, тоже в этот час голубой. И как-то потянуло туда, ощутил Родион, как тянуло когда-то, когда подъезжал к Займишу. И даже лошади, хотя спуск еще не начался, пошли ходкой рысью. Утренняя влажная голубизна... Она приятна глазу, чиста, шелковиста. Чуть-чуть царапало глаз какой-то соринкой, но Родька старался отогнать ее миганием в сторону: пусть не портит общей картины, не щекочет!

— Что без тебя было, что было! — восклицала Алевтина, усадив мужа за стол перед большой миской ухи; сама села напротив. — Утром проснулась Кипрейная — по Чулыму плывет лес: кто-то разомкнул боны, дал выход для бревен. А кто? Весь день разбирались да так и не разобрались. В потемки уже — новое происшествие: загорелся продсклад. И сперва вспыхнул сухой мох, наваленный кучей возле стены. Почему, с какой стати был мох? Оказалось, его драли в тайге и возили сюда два старика; хватились их, а они только-только бежали вниз по Чулыму на плоту; ты должен знать их, они оба из Михайловки.

— Кумовья?! — Родька даже сплеснул из ложки на скатерть.

— Упоминалось, что кумовья.

— Знаю. Один все богу молился да бормотал всякое из старинных книг...

— Второй, рассказывают, на словах был куда там, что тебе партийный...

— Умел маскироваться старик!

— А в поселке говорят: «Дурень! Оба они выжили из ума, раз на такое пошли». Продсклад же — его удалось отстоять — поджигали другие, заметали следы воровства. Там сразу же выяснилось, многого не хватает. Кто украл и выяснять особенно не потребовалось: испугались разоблачения и бежали на паре леспромхозовских лошадей два мужика, один из них Пентюхов.

— А еще, еще кто?.. — поторопил жену Родион. С обедом не торопился, положил ложку на стол.

— Второй — начальник рейда, фамилии не помню, до того — слесарь. Он, сказывают, и ключи к замкам склада подделал, и наготовил себе и компаньону ножей.

Вот какие они, повстречались в пути!

— Теперь, поди, далеко мчатся на паре, — продолжала Алевтина.

— Не мчатся! — буркнул, уставившись в стол, Родион. — Нет у них той пары.

— А ты откуда знаешь?

— А они нам попали навстречу сегодняшней ночью. Одну лошадь загнали, она потом сдохла, двух наших

пытались забрать, да мы с Орловым не дали. Сумели отбить.

— У этого страшного Пентюхова? И его компаньона?..—начала подниматься за своим краем стола Алевтина.

— А компаньона я не разглядел, было темно, я видел только Матюху.

— Так у него же оборона была.

— И у нас оборона.

— И у вас обошлось там без поножовщины, без стрельбы? Обошлось? Но все равно было что-нибудь жуткое, страшное! Ну, признайся, Родя. Ну, родненький!.. — Алевтина сорвалась со своей табуретки и побежала к мужу, тоже вставшему, повисла у него на плече. — А есть, что ли, больше не будешь?

— Мне надо идти к Захарову. Вон на стенных часах скоро три, он велел прийти к трем. Тоже спрашивать будет..

— И я вместе с тобой. Куда ты, туда я! Потому что ты от меня что-то скрываешь.

— Придумает тоже, скрываю! — Родька прошел к вешалке и сорвал с гвоздя кепку, натянул до ушей. — Ну что я скрываю?

Алевтина сдернула с полки платок.

— Вот ты и скажи что. Не скажешь, пойдем вместе. Я же все равно от тебя не отстану.

— Ну что же, иди.

Это будет, знал Родька, мучением, идти рядом с нею по улице и выслушивать все те же упреки: не договаривает что-то, таит; за упреками опять начнутся расспросы, что было той ночью в тайге, как было и почему?

Алевтина на всем пути не произнесла ни одного слова, просто тащила, уцепившись за локоть, и Родька имел время и возможность обдумать свой ответ Захарову. «Ночь была, темень. Тут еще товарищ Орлов упал, раненый, пришлось гнаться за бандитами одному. А где их скоро догонишь? Да и что я мог сделать против двоих? И говорю же вам, ночью случилось. Кроме ночи — тайга. Лошадей, которых не успели запрячь, они бросили, а сами на запряженном коне утекли». Главное, решил Родька, не упоминать, что встречался на дороге с Матюхой, останавливал его. Раз останавли-

вал, должен был не отпускать. А он сказал: «Иди».

В приемной Алевтина наконец отцепилась от локтя, и Родион понял, что в кабинет она не пойдет. И лучше! Уж если краснеть перед начальством, так одному.

— Можно? — Он открыл дверь, а войти без позволения не решался, подождал, когда сидевший за столом Захаров кивнул.

В кабинете он был не один, тут сидел, облокотившись на подоконник и шурясь от солнца, Алексей, с головой, обмотанной марлей, сидела с краю стола переодевшаяся в нарядное пестрое платье Гликерия Константиновна, держала руки, сведенные в кулачки, у подбородка, готовая охать и ахать, и сидели в уголке кабинета, на краешках двух стульев, бок к боку, Михайловские кумовья. Откуда они снова взялись?

Иван Иванович тоже принарядился по случаю приезда супруги, сидел в новой стального цвета толстовке, с орденом Красного Знамени на груди. Он же участник гражданской войны, ветеран; вместе с ним, оказывается, воевала и Гликерия Константиновна.

Машинально кантуя на столе цветной карандаш, Захаров подшучивал над стариками, в особенности над Осипом Макаровичем:

— Значит, причалили к берегу плот, ждете, не появится ли случайная лодка, не увезет ли обратно в Кипрейную?..

— Ждем. Право слово, сидим, ждем. Со вчерашнего вечера ждали. Потому как ум-то возвратился в башку: с какой стати бежим, чего испугались? Ничего же худого не делали. Тот мох, что драли в свободное время? Так куда сказано было, туда и везли, не держали заднюю мысль. А еще думали: куда побежали, зачем? Ну, приплывем по Чулыму в низовья, ну, проникнем на реку Чаю, там живут наши знакомые, переселились когда-то, а больно мы им нужны? Обедать посадят, а где ужинать и на другие сутки обедать? Тут хошь — в столовой питайся, хошь — дома вари. Опять же, подцепил хворь — требуй бюллетень, лежи дома, на печке. «Не-эт, — говорю куму, — давай приставать к берегу и — назад». И кум говорит: «Да, к берегу. На берегу ждать лодку али другую оказию». И вот сидим, кормим комаров, ждем. Провалиться сквозь землю, со вчерашнего ждали.

— Пешечком по берегу не хотели пройти? — хмыкнул Захаров. — Бездорожье, можно побить ноги? Помозлиться можно?

— Дак мы, товарищ Захаров, далече уж не ходим, все в поселке, по-стариковски. А тут нас уперло верст за двадцать, если не боле. Ну и одежду, одежду свою не хотели бросать, а захватили с собой всякой, и летней, и зимней, — не унести. Думаем, все равно покажется какая-то лодка. Может, наши куда-нибудь мимо на моторке поедут. Так и случилось, поехали. Мы заприметили их и стали кричать. И они подвернули к берегу, посадили нас. Вот так и произошло... Что поделать теперь, если попутали черти. Ну и боги, мало ли твердил о них кум. Бог да бог! Яхве с Иеговой да Иисус Христос с богородицей!.. Это все ты, кум! — Осип Макарович обернулся к дружку. — Все ты, праведник и угодник, вот тебе, вот! — Он хлестнул его по лысой макушке голицей один раз и другой.

— Ай, ай! — вырвалось у Гликерии Константиновны.

— Так раздеретесь, кумовья, — засмеялся Захаров. — Скажите, Осип Макарович, а кто стращал-то вас больше? Пентюхов?

— Он. Ну и тот, с усиками, из комбината. Оба они говорили, мол, плохо будет вам, старики.

— И вы поверили?

— Так теперь-то все разъясняется, а тогда вроде поверили, раз испугались и сели на плот.

Осип Макарович встал. Поднялся, держась за карман его брезентовой куртки, и кум.

— Чего еще скажем? — шепнул куму.

— Чего скажем... Были бы виноваты, товарищ Захаров, разве пришли бы сами...

— Ясно, — сказал Захаров, тоже вставая, и одернул на себе толстовку. — Все ясно, — подмигнул он жене. — Теперь идите по домам, старики. Идите.

Осип Макарович опять сел. Плюхнулся рядом и кум его.

— А что вам еще надо? Дорогу домой показать!.. Да вставайте же, поднимайтесь, деды!.. Помогите им, товарищ Орлов, и ты, Родион Лихов. Покажите дорогу домой...

Алексей сразу ушел к себе на квартиру, Родиона опять задержала («Ну как? Что?») Алевтина; он воз-



вратился в кабинет, когда там оставались только Захаровы. Они сидели на деревянном жестком диване, тянувшемся по стенке от окна до окна, Иван Иванович, обняв жену, осторожно поглаживал ее плечико и, шурясь и улыбаясь, раздумчиво говорил:

— А я верю старикам, все произошло так, как они говорят. Запугали их, Геля, те негодяи. Но быстро одумались кумовья, превозмогли страх и взглянули на свою жизнь, на самих себя реально: жили в большом коллективе, работали и много ли, мало ли получали, не сидели голодом и не мерзли, захворали — осмотрел врач, поместил в больницу, вызволил из беды. А там, где-то там, на Чае-реке, кому они действительно очень нужны?.. Так что вовремя спохватились старики. Как ты думаешь, Лихов?

— Так же.— Родька, не успевший куда-то присесть, вытянулся у двери.

— Что случилось у вас там, в лесу, не спрашиваю, мне уже говорили.— Захаров легонько кивнул в сторону жены. И все же спросил: — Лошадей отбили — спасибо, а те, что ехали на них, не дались?

— Нет.

«Почему нет?»— ожидал Родион, тем более видел, что глаза Захарова, прищурившись, уже спрашивали: «Почему?»— и набрал полную грудь воздуха, собираясь все, как было, рассказать:

— Видите ли...

— Не сумел задержать, теперь будешь оправдываться? Упустил начальника рейда, теперь, Родион Лихов, придется работать за него. Принимай завтра дела, приказ уже подписан. Возражений нет и не будет? А теперь можешь идти.

От Захарова до своего дома Родька не шел, а летел. Поначальствовать на участке он — с удовольствием! Он и лесопункт мог бы возглавить, если б его подучили. А в общем, и жизнь хороша, и жить хорошо!

Этого покуда не знала и не могла знать одна Алька, она сидела на скамье под окном в ожидании, когда он придет и все ей расскажет. Он еще и с домом не поравнялся, не перепрыгнул канаву, она уже привстала со скамьи.

— Ну?.. Как?..

— Да ничего, все в порядке.— Родион присел с нею

рядом.— Начальник рейда, как ты знаешь, сбежал, приказано командовать на плотбищах мне.

— Ой, родненький! — только и выговорила Алевтина и обняла мужа за плечи. Уже когда вошли в дом, прикрыла за собой дверь и сказала: — А я думала, за-таил ты что-то от меня.

— И это — таил... Таил от тебя, пока не сказал Захарову. Видишь ли, там, на дороге, я догнал Пентюхова Матюху и отпустил его, сказал, ладно, не тащить же тебя силой, не стреляться с тобой, гадом, иди.

Алевтина ладошкой прикрыла его рот.

— А добровольно, без стрельбы он не пошел бы?

— Где там! Мы встретились на дороге один на один, сообщник его проскочил вперед, Алексейко лежал позади раненый. Матюха сказал мне, что живым он не дастся; стрелять в него я не стал...

## 9

Штабеля, громоздившиеся вровень с макушками сосен, кое-где уцелевших от былых таежных пожаров, теперь стали ниже, как бы осели или усохли. В одном месте лес был выбран до самого дна, до блеклой травы, еще не успевшей зазеленеть на солнце, получился как бы коридор к песчаному береговому откосу. Коридором меж штабелями Родион и прошел к обрывавшемуся краю дернины, за которым начиналась широкая полоса искристого на солнце и пышущего жаром песка. Полоса голубоватой воды, игравшей огненными бликами, отделяла песчаный берег от сплошного наката державшихся на плаву бревен. Огромная излучина Чулыма, огражденная цепочками бон, была забита сплóченным и еще не сплóченным лесом. Самый близкий к поселку плот был готов, на нем стояла срубленная из мелких бревен избушка, над крышей торчала жестяная труба, только не валил из трубы дым.

А сосновые бревна темной, бронзовой желтизны все катились по песчаному берегу, в одном месте их тянули на канатах лошади, в другом толкали с обоих концов люди; фонтаны воды поднимались в тех местах, где бревна окунались в Чулым; окунались и, не торопясь, плыли вдоль берега, пока сплавщицы с бон, тянувшихся от плотов к берегу, не подцепляли их ловко баграми,

не увлекали поперек Чулыма, к плотам. Блики солнца на воде, зеленоватые брызги фонтанов и белыми лилиями платки сплавщиц с баграми... Работает плотбище! Лес и лес по всему берегу, по всему плесу реки! «И все это мое,— подумал Родька.— Мое!..— Чувствовал, что получается у него хвастливо, а не переставал твердить себе: — По моей воле складываются из пучков и связок плоты, по моей — поплывут вниз по Чулыму!»

Он соскочил с дерновины и, увязая по щиколотки в горячем песке, пошел к сплавщикам. Вот-вот начнется обеденный перерыв, надо потолковать с мужиками, выслушать их возможные жалобы. А жалоб и требований у них обычно с избытком, ты, начальник рейда, и одним их снабди, и другим полностью обеспечь, не снабдишь, не обеспечишь, пойдут жаловаться к директору леспромхоза. Побыв одну неделю в начальниках, Родион испытал, какой с него спрос: и работяги теребят, и леспромхоз обязывает, и...

Вот сейчас, только подойдет к сплавщикам, те заговорят о своих нуждах. Насчет брезентовки, может, и помолчат, потому что вчера многим из обносившихся дали, а вот о проволоке скажут и с особенным вкусом: «Будет, начальничек, проволока, работаем, не будет — лежим. А как иначе? Расползутся по Чулыму плоты, связанные лозой, кто будет отвечать? Мы?» Уж покуражатся из-за проволоки и сегодня, поговорят об ответственности!

Но сегодня Родион шел к своим подчиненным уверенно, зная, что скажет, если поднимется крик из-за проволоки; и скажет, и сделает: вывалит на песок целый воз самой лучшей по толщине тугими мотками. «Получайте и вкалывайте! Еще жалобы есть? Нету». Он, Родька, даже подумывал и сам кое над кем покуражиться, кое-кого завести перед тем, как признаться, что необходимая проволока есть, бригады могут ее получить. Где он добыл ее и как добыл, покуда не скажет народу, воздержится. Ох, «нелегкая это работа из болота тащить бегемота», как напечатано в Ленькиной книжке, которую читала накануне вечером Алевтина! Ох, хлебнул он мурцовки, пока проволоку добыл!

...Он и сам требовал от директора леспромхоза и технорука: «Проволоки!» Можно сказать, подступал с ножом к горлу, да те отвечали, что нету, пока нету.

«Так что изыскивайте на месте». Это в тайге-то изыскивать! Чуть ли не на краю белого света! И Захаров, к которому пришел за советом, сказал то же: «Изыскивай! Попытайся пошарить на смолокурном заводишке, это километров пятнадцать отсюда, может, у них еще есть. Когда-то была, завезенная для телефонной проводки. Потом им дали другую, лучшую, эта осталась валяться на складе, не исключено, что валяется и теперь».

В тот же день Родька был на смолокурне, разговаривал с директором, дядькой об одной правой руке, левую оставил на врангелевском фронте. И тот подтвердил — есть, лежит на складе. «Так продайте нам, леспромхозу?!» — аж вскрикнул от радости Родион. «Не можем, запрещено. Списать можем». — «Так списанную отдайте». — «За красивые глаза, что ли? Если у вас есть свое что-то к списанию, можем ухо на ухо обменять». — «Можем списать лесу бракованного, побитого древоточцем, и дать». — «Дров, что ли? У нас самих их сколько угодно. Разве так: мы спишем вам эту проволоку как забракованную, сделаем себе документ, вам — другой документ, будто бы продана...» — «Точно! Точно! — опять закричал Лихов. — По этому второму документу я плачу деньги, мне так и говорили в своей бухгалтерии и выдали...» — «Нет, нет! — замахал единственной рукой директор смолокурни. — Деньги нам не нужны, мы не можем их оприходовать. Давайте вместо них облигации, облигации мы можем оформить, как поступившие в дар предприятию от его коллектива. И на этом конец!» Но до конца было еще далеко, Родьке пришлось возвращаться в Кипрейную и сдавать в бухгалтерию деньги, брать облигации, с ними опять ехать к смолокурам, прихватив с собой десяток порожних подвод; уже ночью подводы были загружены и пришли в Кипрейную гарь.

Вот почему по вверенному участку работы Родион Лихов шел смело. Он резал к бывшей своей бригаде (и соседней) напрямик; подвода с проволокой (одна из десяти) делала крюк по-за плотбищу и берегом реки. Родька оглянулся — она уже догоняла его. Пришлось поднять руку, дать знак ездovому, чтобы придержал пруть.

В бригадах уже объявили шабаш, кáтали останавливали стремившиеся по слегам к реке бревна, сдирали с рук просмоленные голицы; сплотщики где по одному,

где гуськом тянулись с реки к бонам, нацеленным концами на берег, и по самим бонам, вжимая их в воду, прыгали в береговой мокрый песок; по привычке все стекались к зимней будке-обогревалке. Тут и встретил их начальник рейда.

Они обступили его.

— Ну как?.. Как с обещанным?

— С каким именно? — будто бы не понял Родион.

— Еще спрашивает с каким!

— Посмотрите на него, субчика, он даже не знает!..

— Прикидывается!..

— Морочит нам головы! — подхватывали, кто обиженно, а кто и не скрывая зла, подходившие мужики.

— Сколько будем упражняться с лозой? Ни работы, ни заработка. Давай проволоку!

— Иначе не будет работы? — спросил Родион и, так вышло, подлил масла в огонь, рыжеватый мужик не из его бывшей, из соседней бригады подался вперед бородой, как бы занявшейся пламенем.

— Взялся за гуж, будь дюж. Нечего измываться над такими, как сам. Или стал начальником, можно? От тебя требуют работяги, а ты им — начхать?

— И верно, Родион, раз ты крупнее и крупнее начальник, — заговорил Осип Макарович, пробиваясь сквозь толпу и волоча за собой кума, — и раз ты над нами поставлен — давай! Мы новый план по силе возможности будем тянуть, не отстанем, но и ты не засекайся пегашкой.

— Вынь да положи проволоку!

— Положь!

— Ну что же... — Как раз подоспела груженная подвода, Родион одной рукой взялся за прясло, другой подхватил с воза моток. — На! — И бросил под ноги старику. Набрал тугих мотков в обе руки и побросал в песок. — Нател! И чтоб — покончить о ней разговор! Мало этой, привезем еще и еще! Чтобы не страдал из-за нас план!

Люди, немало удивленные тем, что произошло, на какое-то время примолкли, потом стали наклоняться над проволокой, робко и неуверенно щупать ее и пробовать вязать; наконец заговорили, позабыв раздражение, обрадованно, хвалили, что хороша проволочка, не толстая и не тонкая, в самый раз вязать бревна в пучки.

Заключение сделал, как самый старший и авторитетный, Осип Макарович:

— Вот это да, постарался Родион Аверьянович, удружил мужикам. Нам с кумом она как бы и ни к чему,— старик легонько пырнул пучок проволоки носком сапога,— мы с ним при лошадях, но вот застопорилось у сплавщиков, и мы, катали, на мели. Теперь, считай, выплыли. И в таком случае можно по домам, на обед. Пошли, кум!

Родька уходил с берега последним. Шел тем же путем, через коридор меж штабелями, и тут неожиданно встретил Алевтину, да еще с Ленькой.

— Вы куда и зачем?!

— А мы к тебе, папка,— за сына и за себя ответила Алевтина.

— Мы за тобой, Родя, обедать,— сказал сын за маму и за себя.— А то опять позабудешь...— Ленька скользнул глазенками по лицу матери, мол, так ли он говорит.

И мать кивнула ему: так, так!

Родька последил за ними попеременно, покачал головой: что придумали! И еще что-то придумали, раз пришли вот так, двое, да еще нарядные, праздничные, Алевтина в сарафане красными маками, Ленька в белой рубашке и трусиках.

— Не знаю, Аля, что вас больше вело.

— Так это...

— Обедать? — Было приятно, что о нем думают его родные, и он собрал их в охапку.— И забыл-то прийти вовремя один раз, когда принимал дела начальника рейда. Да ладно, пошли!— Решил, что обо всем расспросит дома, вот подойдут к своему пятистеннику, сядут на лавочку под окошком, тогда.

И они пришли, сели. Это было привычкой у всех в семье, кроме Леньки (он уже носился по зеленой траве), вернувшись откуда-то, сесть на скамейку, передохнуть, прежде чем войти в дом. Родьке для этого хватило двух-трех минут. Через две-три минуты он уже спрашивал Алевтину:

— Так что?..

— А что? — Она закусила нижнюю губу и рассмеялась одними глазами.

И действительно, что? Ничего. Идет жизнь, была

весна, наступило лето, вон отцвела яблонька в палисаднике, осыпала белые лепестки, так распустились золотистые одуванчики, и Ленька собирает их, бегая по лужку. А в глубине улицы, ниже их дома — Чулым: штабеля леса по берегу и лес, лес серой рябью чуть не по всему плесу реки. Родька прислушался: издали доносилось нарастающий клекот моторки, подплывала к пристани; а ближе, совсем близко, под коньком их пятистенника, бранчливо чирикали воробьи, навыводили потомства, а порядка в доме, стало быть, нет, вон-вон как настойчиво бьет крылышками и дерет пасть белоклювый, но уже оперившийся лоботряс, наседавая на матку и требуя пищи. Родька проследил за его быстрым, хотя и неровным полетом, когда он преследовал мать, и обернулся вновь к Алевтине. В открытом воротах ее сарафана, ниже загорелой шеи, выступали не тронутые солнцем, совсем белые ключицы. Она сидела, щурясь от солнца. Но и сощуренные глаза ее, казалось Родьке, смеялись. И спрашивали: «А что?» И Родька обнял ее и коснулся губами ее глаз, шеи и ключиц. Ничего! У него есть жена Аля, есть сын Ленька и мать, есть дом и большая, интересная работа, что еще ему надо? Ничего!

# Жизнь третья

## 1

После тяжелых боев, после непрерывных обстрелов с воздуха и бомбежек думали отоспаться, во всяком случае, перевести дух под покровом ночи в лесу, но еще затемно — летняя ночь коротка — в лагере поднялась тревога. Все бежали, хлопая сапогами, шофера заводили машины, как назло чихавшие, кашлявшие и незаводившиеся, командиры выкрикивали приказания, и бойцы отвечали короткими «Есть!» — а потом, взбаламучивая предрассветную темноту ночи фарами автомашин и карманными фонариками, уезжали, оставляя после себя пустые консервные банки и хлам порушенных шалашей.

Родион Лихов точно не знал и не мог знать причины тревоги, но по общему возбуждению в этот предутренний час, по особой спешке, с которой все уходили и уезжали, не мог не догадываться, что произошло что-то особенное, еще более страшное, чем накануне, может, немцы полностью замкнули кольцо окружения. Ох, беда будет, если не проскользнуть. Но может, еще удастся... Их машина уже пересекла открытое поле, проскочила обезлюдевшей деревенькой и теперь врезалась в мелкий сосняк. От него тянуло сыростью, холодком. А в кузове грузовика с обоих боков припекало: по правую руку сидел тоже попутчик, из гражданских, белобилетников, Лабутенков, по левую — широченный в поясе однопольчанин Елсуков. Он все шевелился и кричал.

— Закурить бы...

— Закури, — сказал Родион. Ему было понятно, почему человека потянуло на курево.

— Так сигарку еще при посадке свернул, а спичек



нет, обронил, и где их тут, в темноте и теснотище, найдешь!

— Так я тебе дам свои, — пообещал Лихов.

Но едва достал из кармана коробок и побренчал спичками, еще не добыл огня, как стоявший в передке боец Килин передал приказ лейтенанта отставить курение, потому что где-то совсем близко, невидимый из-за леса, гудел немецкий самолет, мог увидеть на земле огоньки. Но тот уже разглядел на лесной дороге движущиеся машины, скоро заверещал пулемет, и его красные и желтые трассы косо хлестнули по хвойной мути леска. Лейтенант Ялов — одна нога его была выставлена из кабины на крыло полуторки, — наверное, приказал бы выскакивать из машины и валиться в кювет, да самолет больше не возвратился к колонне, он почему-то и куда-то ушел.

Почему и куда, все узнали минут через десять: в той стороне неба, где еще держался густой предутренний мрак, надсадно завывало и сквозь тарактение грузовика и стрекотание мотора прорвался решительно гром. Это был особенный гром, беспрестанный, он обрушивался на землю не в одной точке, как бывает в грозу, а на широком и стремительно надвигавшемся фронте. Еще миг, и все увидели в просветах между деревьями — закувыркались огромные черные птицы; опять затряслась, заходила из стороны в сторону от частых взрывов земля.

По колонне передавали команды, лейтенант, опять высунувшись из кабины, повторял их. Но что он требовал, понять в шуме, грохоте, крике было нельзя; Родион мог только догадываться, что надо выскакивать из машины и, привстав, ухватился за борт. Они с Елсуковым перевалились через него и вместе упали на землю. Далее нужно было ползти без оглядки в кювет, а над ними встал во весь рост немолодой уже боец с перевязанной рукой, державшейся на повязке из марли; он просил, чтобы ему помогли выбраться из машины; и Родион быстро вскочил на ноги и протянул ему руки.

— Елсуков! — позвал товарища. — Давай вместе.

А на них, уже прямо на них шел самолет. Гремящий и хищный, он занял, показалось Лихову, все небо и сейчас, вот сейчас бросит бомбы, и конец всем и всему. Родион успел как-то вспомнить из давнего: они с мате-

рю ехали с поля, и на дороге их застала гроза, обрушилась так же гремяще. «Крестись!» — зыкнула тогда мать. И вот теперь Родион снова услышал тот крик и, как тогда, поднес правую руку с собранными в щепоть пальцами ко лбу, потом опустил вниз, к пряжке ремня.

Закончить крестное знамение не дал Елсуков, прынул под бок:

— Берем!

Они подхватили падавшего на них человека, но удержать не смогли и свалились все вместе. Родион оказался на самом вершине. В дико метущемся свете он видел, как отбегал — рывками — их грузовик, свертывал на боковую дорожку и зарывался в кусты, слышал, как опять ухнуло, а потом и хлестнуло чем-то тяжелым по голове, и он полетел в темную пропасть, у которой не было дна.

Очнулся после налета немецких бомбардировщиков, приподнялся на руках: батюшки, уже день и тишина глубоченная, если не считать, что где-то над головой чирикает пташка, а неподалеку лязгают о каменную землю лопаты. Там скопились люди в замызганных гимнастерках.

Родион тотчас услышал обрадованный голос Елсукова:

— Жив, курилка?! А я думал... Но опять прикидываю, особых повреждений снаружи нет, значит, внутреннее, может, контузия. Оклемался, и слава богу, значит, только контузия. Голова болит?

— Болит. И в ушах шум. А там что, Елсуков?

— Так хоронить будем, напакостил немец. Сколько раз принимался, проклятый, всю колонну разогнал, погромил. Вон и машина наша сгорела, не на чем ехать.

В желтой паленине кустов тихо догорала их полуторка, обнажились железные ребра кузова и кабины. На этой машине они проехали накануне километров полсотни. А оказались на ней почти случайно... Отходили по приказу командования под немецкой бомбежкой уже не ротой, не взводом, а мелкими группами и наткнулись с Елсуковым: буксует грузовая машина, застряла в грязи. Ну, пособили ей выбраться на сухое и ровное. Лейтенант Ялов — он вез из дивизии в корпус штабные документы — и посадил помощников в кузов. А в кузове уже были и раненые, подобранные в пути, и

отставшие от частей и подразделений солдаты, и двое гражданских, не пожелавших оставаться под немцем; и были самострел с перевязанной левой рукой и дезертир, их сопровождал Килин.

И вот из этой группы было немало убитых, а он, Родион Лихов, контужен. И он начал осторожно и медленно двигать всем телом, испытывая себя. Кажется, кости не тронуты. И как бы подхваченный радостью — цел, поднялся на оба колена. Но тотчас присел, от боли в голове, от всего, что увидел еще: и далее по кустам, по лесной дороге дымили костры, догорали грузовики и подводы. Между ними кое-как пробирался, стоя в бричке и подстегивая гнедого конька, рядовой Килин. Поравнялся с людьми возле свежей могилы и соскочил на землю, встал перед лейтенантом, руки по швам.

— Так что машин целых поблизости нет, вот нашел лошадь с повозкой. Народу живого тоже нигде нет, судя по следам, посвертывали на маленькие лесные дороги, отступают проселками.

— И мы свернем на проселок. А пока будем грузиться. Быстро грузить на подводу ящики с документами! И продукты!.. Контуженый Лихов, садись в передок. Остальные будут идти.

Погрузились и, больше не мешкая, опасаясь, не налетели бы опять пикировщики, тронулись в путь.

Родион, сидя в задке брички и сжав ладонями гудевшую голову, изредка взглядывал на тянувшихся за бричкой людей. Перед ним шагал в запыленных хромовых сапогах и в плаще лейтенант Ялов; на смугловатом осунувшемся лице его усталость, человек явно недосыпает, а глаза смотрят из-под черных бровей и черного спускающегося лесенкой чуба живо, искристо, а во рту, когда говорит, мирно поблескивают золотые клычки. За ним идет Лагутенков, в сандалиях, в белой пропаченной рубахе. Третьим — Елсуков; он черен от пробившейся бороды. Далее идут самострел с дезертиром, первый повыше, покоренастей второго, оба тоже обросшие волосом, только бесцветным, наподобие поросычьей щетины. За ними — молоденький, с птичьим лицом рядовой Килин. Немного осталось народа. И пробьются ли люди к своим? Родион обхватил руками голову: болит, ох, болит голова.

В тот день, потеряв грузовую машину и замешкавшись в незнакомом лесу, они не только оторвались от своих, но и попали в окружение. Начались тяжелые дни и ночи блуждания по вражеским тылам. Все опаснее было заглядывать в деревеньки, значившиеся и не значившиеся на карте, чтобы добыть что-то из продовольствия; да и протащиться лесным бездорожьем было не просто, всюду подстерегали нагромождения валежин и нераздираемые сети кустарников, болотная хлябь, зыбь.

Вот и опять бричка застряла передком между кореньями; из-под ног отощавшего за неделю гнедого конька, пузырясь, выкипает застоялая вода, а впереди, за частоколом осочин уже глядит зелеными от ряски, шаманящими глазами само гнилое болото. Гнедко весь напрягся, отчего на его крупе яснее обозначились мослы, дергает оглобли, но бричка не подается вперед, она глубже и глубже врезается передними колесами в размокшую дерновину.

И лейтенант, сдергивая с себя плащ, командует:

— Стоп! Будем разгружаться.

Все кидаются к возу, торопливо развязывают веревки и снимают с брички поклажу, несут кто на руках, прижав к животу, кто на загривке и кладут на сухое.

Ездовым в последние дни пристроился Лагутенков; он похлопал вожжами по мослам задремавшего было Гнедка, и тот рванулся и выдернул из засады передок пустой брички, забирая правой и правой, вышел на прежний свой след; по своим колеям ошинованные колеса покатались бойчее.

— Тпру-у, милоч! Распрягать?

— Распрягайте! — кивнул лейтенант и присел на валежину. — Снимайте с лошади шлею и уздечку и пускайте пастись, пусть отъедается на свободе.

— Сами, что ли, пойдем дальше пешком?

— Пешими.

— А коняжка?.. Броди тут одна?

— Привыкли к ней, жалко?

— И вам, думаю, жалко, славный Гнедко, семь дней были вместе, мало ли, тянули сообща воз, и вот теперь... А если все-таки оставить при себе, пусть повезет кое-что вьюком?

— А тут скоро кончится лес, пойдут чистые поля, может, придется ползти, лошадь будет демаскировать.

— Но так, значит, и бросить? — заступился за конька и рядовой Килин. — А если немцу достанется?

— Какое же у тебя предложение? Застрелить и съесть лошадь?

— Я не сказал этого, съесть.

— А если обменять на что-то Гнедка? — подал голос Родион, с самого начала прислушивавшийся к разговору о лошади. Он тоже жалел ее и не хотел оставлять где-то в лесу, тем более пристреливать. — Если обменять на продукты?.. — Он подошел к Гнедку и потрепал его жесткую гриву. — В той деревне, где мы с Килиным были с утра, немцы позабирали у колхозников всех лошадей, приходится запрягать кое-как обьеженный молодняк. А это все-таки настоящая рабочая лошадь, только дай ей подкормиться и отдохнуть. Вот и отвести вместе с упряжью и тележкой, отдать мужикам, те, смотришь, подбросят в обмен хлеба или крупы.

— Можешь отвести в деревню и обменять? — спросил Ялов.

— А что, можно... — Он оттолкнул от себя тянущуюся к нему лошадиную морду и снова привлек ее к себе, легонько похлопал по отвислой губе.

— Тогда поезжай. Не распрягая, на бричке... Только осторожно, прошу.

— Ясно, ясно, товарищ лейтенант! — Родион принял из рук Лагутенкова вожжи и бухнулся в бричку на примятое сено. — А ну, Гнедко, трогаем!

Лошадь выбралась из ложка и по обратному скату косогора побежала размашисто, даже весело заржала, призывая кого-то в свидетели своей радости, что Лихов вынужден был придержать ее прыть, не дать снова заржать: как бы не услышали те, кого следует опасаться. Только придерживать довелось не так долго и без особых усилий, опять потянулась низина, забитая травой и кустарником, и бричка, даже по своему прежнему следу, еле ползла. Потом тащились по бурелому, объезжая сваленные стволы, и Родион, как и ранее на этой дороге, недоумевал: откуда столько дикого леса в Смоленской, а теперь и в Калининской областях? Да тут местами гуще, непроходимей, чем в сибирской тайге.

По лицу били ветки кустарника, в глаза, рот и нос лезли нахальные комары, — ну чем это не тайга?! — а колеса брички застревали между кочками и корнями, того гляди, перестанут крутиться. Уже не крутятся, затонули в жидкой вонючей жиже до ступиц! Родион привязал к передку пеньковые вожжи и спустил в мокрую траву и трухлявое гнилье ноги, обутые в кирзовые сапоги. Придется помочь лошадке, удружить напоследок. Он расставил пошире, поудобнее ноги и вцепился обеими руками в переднее колесо, выволок его из грязи и тины. Взялся за осевшее заднее. Потом тащил вместе с лошадыю бричку, проклинал бездорожье и материл кружившееся над головой комарье. А настроение было хорошее, боевое. Пожалуй, даже запел бы про бродягу, бежавшего с Сахалина, или бродягу, переехавшего Байкал, да скоро, почти неожиданно, дикий лес кончился, пошел прибранный, чистый, со слабо наезженной, но все же сухой и аккуратно присыпанной хвойными иголками дорожкой, — эта дорожка и ухоженный лес напомнили Родиону, что близко та деревенька, в которую они с Килиным заходили, крадучись, утром.

И теперь пришлось красться: гумнами, огородами, меж грядок, возле заборов. Лошадь была оставлена в кустах, у ручья, распряженной и привязанной к бричке. Родион проник через задние ворота во двор к уже знакомому человеку, бригадиру колхоза Перфильеву, оставшемуся за председателя (председатель и счетовод, оба коммунисты, ушли в партизаны), и застал Перфильева, как и утром, на дворе, под навесом, он что-то стругал легким рубанком.

— Вернулся? — спросил тот. — Потерял, что ли, своих?

— Нет, своих я не потерял. Вы говорили, что немцы забрали в колхозе всех лошадей, я пригнал вам лошадь с повозкой, мы дальше пойдем пешими, нам она не нужна. Возьмете?

— Отказываться не станем. Это вы, мужики, придумали хорошо, надо выручать русскому русского. Хорошо. — Бригадир Перфильев присел на верстак и раскатал на коленке кисет, собираясь закуривать и, конечно, угощать гостя, да услышал детские голоса, кажется, в раскрывшейся двери из избы в сени, и быстро скатал снова кисет и сунул в карман, сам сполз с верстака. —

Пойдем-ка отсюда, солдат, чтобы лишний глаз не видал, тем более детский. Долго ли проговориться дитю? А у меня их шестеро в доме, на каждый роток не накинешь платок.

Они прошли огородами и лесом к ручью, булькавшему под ивами, к лошади, спокойно хрупавшей сено.

— Это, значит, и есть предназначенная? Тощевата, а в остальном ничего.— Как бы походя, бригадир разворотил легко давшуюся пасть гнедого коня и оглядел желтоватые зубы.— Ничего.— Обошел лошадь с хвоста и с крестьянским знанием дела, как это практикуется на конных базарах, потыкал рукой под брюхо лошадки, и не всей рукой, только пальцами, и не торчащими большим или указательным, а пригнутым средним и безымянным, чтобы не больно.— Не побитая вроде, не запаленная,— ничего! Ты вот что, парень, побудь с нею тут, я сбегая, принесу вам еще что-нибудь из артельной кладовки. Утром я поскупился, дал хлеба да творога, теперь придется к тому что-то добавить. В чем у вас особо нужда? И сколько вас там, ежели не секрет?

— Не секрет, семь человек. А насчет нужды—во всем у окруженцев нужда, особенно в хлебе. Не откажемся и от чего-то сытнее. Позарез нужны спички, да спичек, думаю, у вас самих нет.

— Почему нет, спички у нас есть, запаслись, когда еще готовились к сенокосу и жатве. И потом были возможности запастись. Ты вот что... Откуда ты, упоминал, родом?

— Из Сибири, с Чулыма-реки.

— Стало быть, жди, сибиряк, побегу за добавком. Я сильно не задержу.

Он не задержит! Да если и задержит на час ли, два, надо ждать, без продуктов, прячься от живых людей, далеко не уйдешь. А что он, бригадир, дал тогда, утром? Две буханки печеного хлеба и два котелка творога из-под сепаратора. На семерых. Приземлились возле пенька и, не переводя дыхания, съели. Как видно, не понадеялся дядька, что дает своим людям, достойным; теперь, когда привели лошадь с телегой, изменилось мнение, подобрел.

Родион, оставшись без него, забрался в передок брички, облокотился на колени. Правого плеча и колена касалась голова лошади, обдавала парным и теплым

дыханием. В нем было что-то домашнее, в этом дыхании. А дома самого не было. Над головой свисали ветки голенастых ветел, шевелившихся на ветру, отчего по рукам Родиона, по коленям, по черной, без единой травинки земле метались солнечные зайчики. Да и где теперь его родной дом? В Займище? Та давняя жизнь уже и забылась. На реке Чулым, в поселке Кипрейная гарь! Там мать, там Аля и Ленька, но возврата скорого туда нет и может не быть. Теперь самое близкое для него и родное то место в лесу, где Ялов со спутниками, ничем особенно не приметное, если не считать, что мокрое и гнилое. Они надеются на него, Лихова, ждут. Наверно, разобрались с документами, одни, менее важные, сожгли, другие, обмотав плащ-палатками и сунув в ящики, закопали, а самое нужное лейтенант сложил в полевую сумку, понесет с собой; теперь сидят у костра, отмахиваясь от комаров, посматривают, вот-вот появится из-за кустов с мешком продовольствия на горбу их посланец. И Родион ждал, тоже с нетерпением ждал, когда он сможет получить от бригадира Перфильева кое-какие продукты в мешке и потом выйти к своим и с победным видом вытряхнуть перед ними все принесенное: вот, берите и ешьте. Досыта! Это будет его самая счастливая минута скитальческой жизни. А жизнь эта трудна и опасна. Ведь какая образовалась в окружении пестрая группа: лейтенант, самострел и дезертир, прилепившийся к военным гражданский и два бойца из пехоты. И ничего, не разбегаются в разные стороны, выходят к своим, добывают себе продовольствие. Еще бы разжиться капитально патронами, те, что были, уже на исходе, тогда можно бы и пострелять при случае фрицев. Не все их бояться, пусть побаиваются они!

В стороне хрустнула ветка, опять хрустнула, и скоро из-за ольховых кустов выбрался с тяжелым мешком на плече бригадир Перфильев.

— Заждался тут, сибиряк? Зато не зря ждал.— Он нерезко оттолкнул локтем морду лошади и положил мешок в бричку, из него, незавязанного, вывалились на объедки сена каравай черного хлеба и звенья копченой грудинки, явно домашнего изготовления.— Получай и неси своим верным друзьям, пусть едят на здоровье и выходят к своим, потом всем скопом — на немца и обратно. Так там и передашь остальным.



— Хорошо,— вполголоса сказал Родион, засмущавшись.

— И не думайте, что колхоз вам дает только за лошадь с телегой. Больше — за другое, за самое важное, что еще сделаете. А лошади, лошади у нас есть. Лучших отдали в свою армию, а другие, поплоше, но ничего, тоже справные и езжалые, остались в колхозе, только мы их не держим на глазах у фашистов, хороним в кустах. Я не всю правду утром сказал, не уверенный был, что вы за люди, думал, какая-нибудь бродежня. Есть такие, шатаются по белому свету и стучатся в наличники. Дезертиры, говорят, появились, скрываются по лесам. Но — хватит о них. Завязывай куль и неси. Путь добрый!

— Спасибо. Спасибо,— повторил с дрожинкой в голосе Родион: столько у человека доверия! — Как хоть звать вас по имени, отчеству, чтобы запомнить?

— Перфильев. Перфильев, и все.

— Гнедко, надеюсь, пригодится, Перфильев?

— Почему же не пригодится? Справный конь. И тележка пригодится в хозяйстве. И сбруя...— Он подхватил из брички хомут, стал надевать на Гнедка. Видя, что окруженец уже пристраивает за плечами мешок, посоветовал: — Спички там, завернутые в тряпицу, не подмочите. А то без спичек в пути как без рук. Кроме сала в мешок положено свежей баранины, за нее беритесь сегодня же, может испортиться. А теперь, сибиряк, прощай, ручкаться некогда. Что навестили своих, благодарность.

— И вам благодарность. За все!

Через полчаса Родион был у своих. Они сидели рядом на валежине, успев распорядиться имуществом, но что сожгли, что закопали, понять было невозможно, никаких следов поблизости не осталось. Каждому был приготовлен рюкзак с кое-какими вещами и документами, а перед Елсуковым лежало что-то огромное, завернутое в брезент и обвязанное шпагатом; по бокам были пристроены лямки, чтобы тоже нести на горбу.

Родион, как было задумано, бросил к ногам спутников принесенный мешок и, сорвав с него вязку, вытряхнул содержимое на траву. Кроме кругляков печеного хлеба, мяса и сала, тут были мешочки, набитые шуршащим горохом, хрустящей лапшой; из отдельной ды-

решающей тряпицы выпирали углами коробки со спичками; и было тут несколько пар холщовых портянок и шерстяных, домашнего вязания носков.

— Получайте! — победно сказал Родион. Хотел рассказать, как встретился опять с бригадиром колхоза, о чем говорили, а главное, как смущался при похвалах этого доверчивого и добросердечного человека, да спутники особого любопытства к подробностям его похода не выказали, они сидели, раздумчиво потягивая самокрутки, потому от дальнейших словоизлияний воздержался, только спросил, обращаясь к Ялову: — Как понесем?

— Рассуем продукты по вещмешкам и, никому не в тягость великую, понесем. Шерстяные носки и портянки раздадим остро нуждающимся. Елсуков, ты говорил, на портянках одни дыры, — получай целенькие, неносенные. — Лейтенант подхватил из кучи одну за другой две портянки и бросил их Елсукову. — Килин, жаловался, что хлябают сапоги, получай пару носков. Лабутенков... есть у тебя в чем-то нужда? Нету? Хлеб и все остальное — по «сидорам». Быстро! — Он дождался, с разбором и дележкой покончили, пристроили за плечами поклажу. — Можно двигаться? Что там у вас, Килин и Елсуков? Удлиняете лямки?.. Готово? Пошли!

### 3

Лейтенант Ялов знал, что путь им перегордит река, она значилась на карте, но он не думал, не предполагал, что река будет такой широкой и многоводной, они подошли к ее берегу всем скопом и оробело попятнулись: вода шла вровень с кромкой дернистого берега, шла одним дружным потоком, неудержимо, несла на себе поразбойничьи набитый лист и ветки деревьев, кору, хвою, щепу. За рекой начинались заливные луга, там, казалось, всплыли и чудом держались всяк на своем месте ивовые кусты. Заречный берег терял свои очертания, переходил в болотные топи. Это, конечно, ливневые дожди напоили досыта землю, взбодрили речушки и реки, затопили низкие места.

Пришлось укрыться в кустах и прикинуть по карте, далеко ли справа и слева деревни. Недалеко, километрах в двух Верхняя Сомовка, километрах в трех Сомов-

ка Нижняя, там могут быть переправы, надо выслать разведку. Родион Лихов предложил было тут же переправиться вплавь, одежда и вещи поплывут перед каждым на плотике, но едва успел все это объяснить, как неподалеку затарахтело, и скоро все увидели грузовик, полный серо-зеленой немчуры; машина проскочила к самой реке и побежала далее берегом, разбрызгивая в стороны жидкую грязь,— даже обсуждать предложение сибиряка окруженцы не стали. Да тут увидят с дороги, перестреляют, не целясь. Значит, надо искать переправу в другом месте, лучше бы — мост.

Ялов приказал Лагутенкову идти в сторону Верхней Сомовки, все видеть и слышать, запоминать, сам, оставив старшим Килина, взял направление вниз по течению реки, вдоль дороги, по которой только что проехали немцы, но пошел стороной и кустами. Вплавь, бродом, на лодке или по сохранившемуся где-то мосту, а должны переправиться сегодня же. И так задержались: мешали дожди. Лейтенант больше надеялся, что он раздобудет лодку или нападет на след лодки.

Он уже зрительно представлял: ночь безлунная (еще не народилась луна), берег реки, двухвесельная лодка... Сам покидает берег последним, плывет с перевозчиком Лагутенковым... Позади, выбираясь из колдобин, завывает грузовая машина, она даже чертит светом фар поверхность реки. Но теперь уже не опасно, лодка шуршит в прибрежной осоке (противоположного берега), остается проплыть по затопленной луговине, но там прикроют кусты...

Опять завывала машина, уже не воображаемая, а всамделишная, грузовик, только, кажется, не с солдатами в кузове, точно, не с живым грузом, а мертвым, с поставленными торчком свинями и бараньими тушами. Раздобыли господу оккупанты, везут на солдатскую кухню! Думал ли он, Ялов, до этой жуткой войны, что когда-нибудь будет пробираться по своей земле скрытно, таясь по кустам (он спрятался под непроницаемым шатром ивы), а мимо поедут, ничего не опасаясь, фашисты, повезут взятое грабежом? И присниться не могло! А они воп едут, везут только что освежеванный скот. Попадись им ты, и с тебя шкуру сдерут, ничего же человеческого в них нет.

Надо было выбираться из укрытия, идти, а Ялов

медлил, прислушиваясь. Где-то опять тарахтела машина. Или казалось, что тарахтела, поскольку не вырывалась из-за кустов, не разбрызгивала жидкую грязь. Древний старик во всем выцветшем, с выцветшей бородашкой показался на обочине грязной дороги, его Ялов негромко окликнул и поманил к себе в куст. Дед сперва расспросил молодого человека в командирском обмундировании, кто он такой, куда пробирается, и, только убедившись, что человек этот свой, окруженец, развел ветки ивы, сделал в них лаз и показал крючковатым мизинцем вдаль, куда уносила свои воды река.

— Вишь, там облаками тополя и березы?

— Ну, вижу,— подтвердил Ялов.

— Там Нижняя Сомовка, наш вчерашний колхоз, сегодняшнее уж и не знай что. Там есть мост, и хороший. Но там теперича немцы, быстро задержат и посадят в кутузку, вздумаете бежать — перебьют. А ближе тех облаков различаешь одиночное облачко? То липка на берегу. Уже старая. От той липки через реку — вишь, будто выложено из спичек? — это наведенные лавы, чтобы с выселка людям ходить, сам выселок за бугром. Вот по тем лавам, если умеючи, пройдете и вы.

— Что значит, умеючи?

— Вишь ли, он, немец, его фашистское благородье, тоже не набитый дурак, знает, крестьянину и сено косить надо, и хлеб убирать надо,— чтобы потом взять с крестьянина сено и хлеб,— ну и позволяет ему ходить туда и обратно через реку. Позволяет ходить, а сам из деревни поглядывает, кто, какой на лавы ступил. Мужик с бабой, она с граблями, он с вилами,— что ж, проходите; если окруженец раненый, на костылях али в кровавых бинтах — чесанут ради собственного удовольствия. По солдатам и командирам обязательно чесанут. Пулемет у них затащен на колокольню — во-он она, торчит пикой из облаков,— с нее видать далеко. Ну и хлещут вокруг. Даже ночью не дают себе передышки, освещают и деревню и за деревней ракетами и пуляют. Но больше так, не по цели, в белый свет.

Лейтенант Ялов не мог не верить старику, хотя рассказ его вызывал сомнение. В чем-то сомневаешься — проверяй. И, попрощавшись с дедком, торопившимся в Нижнюю Сомовку, и наказав ему об их встрече не распространяться, перебрался под другой куст, ближе к

лавам, стал наблюдать, кто там ходит и как ходит, а главное, как ведут себя немцы, правда ли, что хлещут из пулемета, чуть появился подозрительный человек.

Минут двадцать на лавах никого не было. Первым объявился велосипедист, босоногий мальчишка, ехавший с той стороны; он бойко пересчитал колесами перекладины-доски, пропевшие какой-то несложный мотив, и вымахнул на крутой глинистый берег; тут, правда, плюхнулся в грязь. Никто даже для острастки по нему не пальнул. Не стреляли и по мужику с бабой, торопившимся в луга, только не с вилами и граблями, а с косами. Преспokoйно прошел с сеткой-наметкой на длинном шесте какой-то рыбак. Тишина. Было похоже, что никакого догляда у немцев за лавами нет. Но как ругаться, есть или нет!

Ялов еще посидел с полчаса, затаившись: ни людей, ни машин в поле обзора, ни взрывов и выстрелов, ни людских голосов, и по-за кустикам, по-за кустикам начал пробираться к своим. Кое-что выяснилось, к примеру: можно пройти всей компанией по лавам, можно преодолеть водную преграду на лодке, если сыщется лодка, можно, как предлагал Лихов, форсировать реку вплавь, но безопаснее в одном, другом и третьем случаях все-таки ночью. Пока надо ждать. Тут и до вечера осталось пять-шесть часов, при хорошей погоде дождутся. Растолкав в стороны гибкие ветки тальника, Ялов сощурился: солнце. Оно било в упор, но не дышало жарой, а обдавало теплом, потому что после дождей было влажно. В пышной и влажной зелени вольготно раскинувшаяся земля, и высокое, в грузных кучевых облаках, небо — все, как в прошлом, как в позапрошлом году, мир и покой.

«Война!» — хлынуло тяжелым холодом в душу, как только продрался сквозь заросли ивняка, увидел своих: во всем грязном, мятом, затасканном, невымытые и небритые... Килин, обхватив обеими руками винтовку и пригкнувшись к ней носом, храпит: немудрено, всю ночь провел на часах; Елсуков что-то починает иглой, выписывая правой рукой большие круги; Семен-самострел размотал на руке грязный бинт и дует на поджившую рану, ее можно уже не завязывать: разит гнилью, но не от раны, а от бинта, и Семен прячет его с глаз долой, под кустом; на горелой и обмытой дождем валежи-

не сидит Лагутенков, тоже вернувшийся из разведки. Ялов, хлопая его по плечу, присаживается рядом.

— Ну как там?

— Немцы. Везде немцы.— В голосе Лагутенкова озабоченность и досада.— В Верхнем Сомове стоит на отдыхе пехотная часть. Мост через реку под охраной. Лодок на речке не видно. Одна тетка объяснила: все лодки позабрал герман еще попервоначально. Кто не сдаст свою, не пригонит к штабу — расстрел. Кто не сдаст оружие, дробовушку какую — расстрел. За диверсию, за нападение на немцев — повешение. Тетка сказала, что в деревню лучше не заходить. Лучше...

— Сами, сами разберемся, что хуже, что лучше,— остановил его Ялов.— Пока решение такое: до вечера хорониться в кустах, готовить из подручного материала плотики, с наступлением темноты...— При упоминании о плотиках, заметил лейтенант, сидевший сбоку Елсуков заоглядывался пугливо. Что его вдруг испугало?— С наступлением темноты коллективно прикинем, что делать дальше. А теперь главное — плотики, два, три.

— У меня готовы,— подал голос Родион Лихов.— Четыре. Остается спустить на воду, погрузить манатки и плыть.

— Это хорошо, что поторопился, успел. Надо посмотреть, какие они получились. Рядовой Килин!..

— Есть Килин! — сразу проснулся тот, поднял голову.

— Остаешься тут, бодрствуя. Лагутенков,— наблюдение за лагерем, особенно со стороны прибрежной дороги.

— Слушаюсь.

— Лихов, пошли!

Четыре плотика из горелых бревешек были неказисты на вид, но хорошо, прочно связаны молодой гибкой лозой. Человека ни один из них, конечно, не выдержит, а одежду, кое-какие продукты, кроме того штабные документы — обтянутый плащ-палаткой увязанный тюк — они поднимут и переправят. Родион Лихов и тут сориентировался вернее других, выручает сибиряка знание жизни, близость к природе, смекалка.

— Ну что ж, отлично, сибирячок. Можешь до вечера отдыхать.

Только отдыхать ни Родиону, ни всей группе окруженцев не довелось даже полчаса: в той стороне, откуда они в это утро пришли, за полями, за перелесками, за бугром поднялась беспорядочная стрельба. Кто-то гнался за кем-то, скорее фашисты за окруженцами. Медлить было нельзя, и Ялов приказал:

— Собирайтесь! Быстро! — Все заспешили со сборами и вскоре были готовы, порывались бежать к речке, один Елсуков переминался с ноги на ногу и виновато покашливал.

— В чем дело? — недоуменно спросил Ялов.

— Не могу. Всю жизнь прожил в безводной степной деревушке, боюсь не глуби — воды.

— Да вам надо только держаться за плот, это же просто.

— Не могу, товарищ лейтенант. Хоть расстреляйте на месте, но не могу.

— Ну что ж!.. — Ялов постоял, нервно и торопливо соображая, при этом на щеках его то быстрее, то медленней двигались желваки, казалось, по-за кожей смугловатого лица перекатывались нетерпеливые волны. — Ладно... — И окликнул Килина, уже разбиравшего перед собой гибкий ивняк: — На переправе будешь ответственным ты, помощником твоим Лихов. Пошли! — И те кинулись к упрятым в прибрежных тальниках плотикам. Елсуков опять топтался на месте, соображая, куда его поведет лейтенант. Может, знает, где тут неглубоко, пойдут бродом. Но страх же, все равно страх!.. И махнул рукой, заговорил прерывисто, шумно дыша:

— Раз в свое время не научился малому — плавать, теперь ничего не поделаешь. Много всего упустили, пока текла мирная жизнь, теперь на фронте расплачиваемся. Городами расплачиваемся. Землей. Конечно, землю и города не на совсем отдаем, но отдаем, а какими их получим обратно, еще неизвестно. Жизни свои отдаем без возврата, уж это точно, как пить. И что делать тебе, смертному, если допущен зевок? Залезай в воду, пей ее, покуда не захлебнешься. Все правильно, не возразишь.

Ялов, слушая его, отмечал, что за бугром стреляли все хлеще. Оттуда доносилось тьяканье своры собак, не иначе как наших преследовали немецкие автоматчики, надо было спешить к лавам.

— Цивильная одежда, рядовой Елсуков, есть?

— Делили той ночью принесенное Лиховым, досталась рубаха, несущая в «сидоре».

— Есть кепка или фуражка?

— Войлочная шляпа домашней катки.

— Переодевайся в цивильное. Быстро! — Одна из собак, тьякая, перевалила бугор, а это значит, была в километре, если не меньше, поэтому Ялов снова затопил Елсукова, уже в темной рубахе поверх гимнастерки: — Шляпу! Надевай шляпу! — Тот натянул серую войлочную до самых ушей. — Еще что в «сидоре» есть?

— Да всякая бяка. — Вот теперь голос Елсукова немного обмяк, он начал догадываться о цели переодевания. — За плечами нести «сидор» али как?

— А ты брось его. Оставь тут, в кустах! И вырежь себе подлинней удилище! — Сам лейтенант вырезал себе длинное, из гибкой талины. Переодеваться в цивильное посчитал недостойным для советского офицера, только снял пилотку и ремень, сунул в карман. — Готово? Пошли. Быстро! — Когда же пересекли дорогу, повернули к реке и увидели лавы, приказание было другое: — Потише! Спокойно, будто идут с удочками два рыбака.

— Есть!

Ялов шел к лавам первым и, собственно, сам, своими ногами регулировал скорость движения: выносил одну ногу вперед так медленно, тяжело, будто было на ней с пуд грязи, а вторую подтягивал, волоча по земле. Позади, во всем разобравшись, копировал его с вариациями Елсуков, даже прихрамывал, делая вид, что полукалека. Следят за ними немецкие часовые из Нижней Сомовки или режутся в карты, что им не до слезки? Сумеют они разобраться, если даже следят, кто подходит к реке, или сработает примитивная маскировка? Должна бы сработать. Должны перейти на тот берег реки! «Перейдем? Ведь перейдем?» — спускаясь по береговому откосу, спрашивал Ялов, заглядывая в реку. Но река, обдавая сыростью и прохладой, не отвечала, она несла свой поток с привычной и тупой молчаливостью, немо. Ничего утешительного не говорили и лавы, когда ступил на них Ялов, щелястые доски настила прогибались под его тяжестью да скрипели и ныли: они сырые, подневольные, им тяжело жить. И только молодые березки на том берегу, развернув зеленые полотнища



флагов, ничего не опасаясь, кричали: «К нам! К нам!» А еще лейтенант увидел за поворотом своих, они переплыли реку и меж затопленными кустами выбирались на берег. Ноги Ялова так и рванулись из туловища, устремились вперед. Правда, он не дал им самовольничать, заставил ступать по доскам лав не спеша.

Сделал несколько шагов ни шатко ни валко и с ужасом, пронзившим всего и приподнявшим волосы на макушке, подумал: а ведь могут убить. Вот сейчас кончивший банковать фриц, заглянув в проем колокольни, даст пулеметную очередь подлиннее, и полетите вы, ряженые, вглубь, к рыбам, и не вы их, а они вас сожрут. Перво-наперво, как это бывает с утопленниками, обсохнут губы, уши и нос, округлят, оболванят голову с помощью, конечно, речного течения. А может быть, обойдется без стрельбы,— если компания фрицев не оторвется от карт. Они же играют азартно, на деньги. Только бы не прекратили игру! Только дойти бы до той вон покосившейся стойки в перилах, что на фарватере реки! Всегда трудно начало. А начал что-то, как ни трудно, ни тяжело, считай, половина целого сделана, а половину осилил, остальное дастся вдвое легче, быстрее.

Левая рука коснулась стойки на половине. Теперь должны пройти остальное. Они, немцы, там еще поиграют! Еще поканителются, кому идти по деревне, добывать на выигрыш яйца и млеко. Тут и канители вместе с карточной игрой надо не больше, чем на две минуты, даже на полторы. Теперь уже на минуту! Так что пройдешь, лейтенант, победишь! Ты от медведя ушел (от танкового удара по дивизии), от волка ушел (от бомбежки их пикировщиков), от лиски сколько раз уходил (от преследований уже в окружении), а от зайца (от какого-то фрица, картежника) немудрено уйти.

Но и еще один приступ страха испытал Ялов, пробегая, уже не вышагивая спокойно, а пробегая последние метры по лавам: убьют. Волосы с той стороны головы, откуда лететь пулям, начинали подниматься вместе с кожей, отдирая ее от черепа,— смерть! Застучит там, в проеме колокольни, их пулемет, хлестнет очередью поперек реки, и все кончится: ни реки не будет, ни неба, ни дышащего в затылок Елсукова, ради которого шел. А пока небо не проваливалось в тартарары, река текла в ту же сторону, даже играючи плескалась на мелково-

дые, а под ногами оставалось все меньше досок настила. Последняя! Захрустел песок, защебетала по-птичьи подсыхшая галька, и уже кинулась под ноги молодая трава.

Пулемет застучал, когда окруженцы бежали, прикрываясь кустами. Спихватились-таки картежники. Но они, наверное, спихватились, сами слышав стрельбу. Только никакая стрельба теперь Елсукова и Ялова не страшила. Они были в надежном укрытии ивняка и ольховника, держали направление на три елки, что возвышались вдали. Остальной народ их группы был уже там. Люди одевались и обувались, сидя под елками. И все-таки одного не было, Лихова. Лейтенант уже хотел спросить, где Лихов, Килин, соскочив с пенька, доложил:

— Одного нет, но сейчас будет. Поплыл еще на тот берег.

— Забыл что-то?

— Решил перегнать плотники, может, пригодятся другим.

#### 4

Ночевки под одной крышей, чаще из веток, коры и бересты, еда из общей посуды где-нибудь в лесной чаще, за одним пнем, одинаковые для всех трудности и опасности, боязнь нарваться на немцев — все это сблизало окруженцев, они больше узнавали один о другом, научились распознавать друг друга на расстоянии по голосу и в ночной полутьме по общим контурам тела и, конечно, привыкли одинаково именовать каждого, окликать.

Так командира своего, Ялова, все называли не иначе, как «лейтенант», коротко и емко, что в условиях походной жизни, полной неожиданностей и опасностей, было немаловажным. Родиона Лихова звали или «Лихов» или «сибиряк». «Вон сибиряк разжигает костер»; «Пусть идет туда Лихов». Дезертир и самострел, оба мордастые, с выпирающими костями плеч, коленей, локтей, оба от дикого волоса и пыли белесые, оказалось, еще тезки, Семены. Потому и звать их стали тезками или Семенами; или — «Семен Левая ручка» и «Сенька Быстрые ноги», — это в отсутствие их и нечасто; в присутствии тезок частенько звучало: «Семен Первый» и

«Сенька Второй». Пронумеровал их Семен Первый. Он был старше годами, считал себя во всем лучше, первее своего тезки; и образование у него, хвастался он, было чуть ли не среднее, маленько не кончил техникум советской торговли; и жил он, по его словам, в городах, занимал крупные должности, перед самой войной в системе «Главбакалеи», условия были — не хватало только птичьего молока; да и «Птичье молоко», конфеты такие, появилось бы, если б не помешала война.

Не в пример спутникам, Семен Первый то и дело вспоминал свою довоенную жизнь, говорил о ней с упоением. Для рассказов о всех работах и должностях ему не хватило бы и десяти лет блуждания по лесам и болотам, он не умолкал ни у потрескивающего костра, ни в кое-как излаженном шалаше перед тем как заснуть. Нельзя было из-за предосторожности говорить полным голосом, шептал на ухо тезке, но так, что слышали остальные.

В этот день лес попадался редкий, с прогалинами, и путники, опасаясь быть обнаруженными, меньше двигались, больше сидели в кустах, а пополудни очутились на краю чистого поля, и лейтенант Ялов скомандовал: «Обратно! Будем дожидаться потемок». И уж тут-то, в раскидистом ивняке, куда они забрались, Семен Первый поотводил душу, порассказывал, больше шепотом, про свою ранешнюю вольготную жизнь. Ялову надоела его болтовня, и он выбрался из кустов, сказал, что сходит, понаблюдает за пролежавшей неподалеку дорогой. Немного погодя, не выдержали напасти и Родион с Елсуковым, перебрались под куст по соседству и даже заснули на какое-то время.

Лихов проснулся — каркнула, пролетая, ворона. Перевертываясь на другой бок, разбудил Елсукова, тот заворчал, что не дают спокойно вздремнуть. И тотчас оба прислушались, приподняв головы.

— Говорит! — сказал Родион.

— Рассказывает, — подтвердил Елсуков. — И знаешь, не только о себе — о других. Разбираешь?

Теперь, когда его предупредили, Родион разбирал каждое слово в торопливом шепоте с прорывающимся смешком.

— ...Ты думаешь, он какой-то такой, на все сто патриот? Не больше, чем мы. И, как нам, ему хочется

жить, и, как мы, он тоже смерти боится. Еще больше боится! Я знаю эту интеллигенцию, только делает вид... А чтобы смело по жизни, грудью вперед...

— Так вот идет грудью вперед на восток, — тихий шепот и слабые возражения Сеньки Второго, — во всем командирском, не содрал с гимнастерки ни петлицы, ни кубари... чтобы сойти, если какой случай, за рядового.

— Подумаешь, что-то с себя не содрал! Он и должен во всей форме идти, раз кадровый комсостав. А идет на восток, так куда ему больше, в пасть немцам? Да они его — ам, и нет его. Да попадись мы сейчас в плен, немцы и нас с тобой из-за него, из-за остальных сразу пустят в расход.

— Мы-то при чем?

— При том самом, что вместе идем, а кто кого ведет, неизвестно, потому как у них оружие, а у нас тоже оружие: у тебя и у меня по ножу. У Елсукова, правда, еще и пудовые кулаки...

— И что ты, спросить тебя, предлагаешь? — шепот Сеньки Второго.

— Да ничего, просто так говорю.

— Гм-м! — выдавил из себя Елсуков с возмущением и громко, чтобы слышно было там, в ивняке, и два Семена услышали и притихли. — Если даже и просто!.. — И зашептал на ухо Родиону: — Ты слышал, сибиряк, что они говорили? Все слышал? Так не затевают ли они что-нибудь нехорошее?

— Похоже.

— Так надо же, пока не поздно, пресечь!

— Доложить лейтенанту? — спросил Родион. — А если как-то иначе? Если последить за ними, держа себя наготове?

— Во-во! — влажнодохнул вместо уха в лицо ему Елсуков. — Последить, в какую они сторону не сегодня, так завтра качнутся. Если побегут — загородить им дорогу, нам не страшно, у нас есть оружие, у меня к тому же, как они говорят, пудовые кулаки. Если вздумают сделать что-нибудь с лейтенантом... Он же такой, с кем рядом ложится, не разбирает, где растянулся, там и заснул. А надо, чтоб аккуратней, по-умному, возле тебя, возле меня, подальше от тех. И давай, Лихов, учредим караул, привлечем Лагутенкова, я сегодня особо зорко слежу, в самое темное время не засыпаю, ты

завтра, Лагутенков послезавтра. Согласен? Начинаем с меня.

— Пусть будет с тебя.

Но и в этот, не свой, день караула Родион приглядывался к двум Семенам зорче обычного, пока было светло, держал их каждый миг на виду, они пошли за водой в мочажину, и он в мочажину, вроде бы посмотреть, где там получше, посветлее вода; Семен Первый отпросился у Ялова пособирать хворост, и он, Лихов, пошел, двое скорей запасутся топливом, не ходить второй раз. Ночью, как распорядился лейтенант, не спали, а шли и шли где по двое, где гуськом, но Родион неизменно держал под прицелом глаз которого-нибудь из Семенов. На рассвете, точно по лейтенантовой карте, пересекли последнее, уже убранный, пшеничное поле и врезались в старый сосняк, можно было дать себе передышку. Тут-то и пожелал бодрствовать Елсуков — он разошелся, его не клонило ко сну.

Следующая ночь застала их на берегу озера, в зарослях черемухи и лозы. Они и шалаш делать не стали, так утомились в дороге, кое-как разобрали нависшие ветки да подстлали под себя рваную одежонку и легли. Костер разводить тоже не стали, чтобы не привлекать лишний глаз через озеро, — там, на другом его берегу, что-то светилось и мелькало, по воде доносилось завывание автомашин и собачье тявканье вперемежку с человеческими голосами, неразборчивой речью. Но прислушивались к голосам и звукам недолго, всех сморил сон. Незаметно для себя заснул крепко и Родион, хотя ему и нельзя было спать, тем более что под вечер Семен Первый и Сенька Второй без конца отставали и перешептывались.

Проснулся, когда все звуки за озером смолкли, лишь на поверхности воды, слабо освещенной луной, взбулькивала невидимая рыбка. Лагерь же свистел носами, храпел. Два Семена, составлявшие левый фланг, насвистывали попеременно, казалось, соревновались, кто кого победит. Пока шли ухо в ухо. И лежали под одной шинелью ухо к уху, хотя Семен Первый был подлиннее, из-под шинели высывались его голые ноги. Елсуков, спавший с правой стороны, скромно похрапывал. Килин свой храп перемежал с легким посвистыванием. Лейтенант, с вечера объявивший себя бодрствующим на

первую половину ночи, хотя и без особого храпа и свиста, но спал, спал без задних ног, приткнувшись лицом к локтю его, Родиона. Он и ранее спал раскидисто, но спокойно, как спокойно всегда делал и говорил, — что бы ни говорил и ни делал и в какой бы это ни было обстановке. Уж такой он всегда ровный, всегда улыбочный человек. И вот такого его Семен Первый готов продать немцам! Иуда! Нет, за ним надо глаз да глаз, он и других может продать с потрохами. Сенька Второй по сравнению с ним ангел. Но и за тем надо еще посмотреть.

Теперь, беспокояно раздумавшись, Родион знал, что больше он не заснет, дождется рассвета. На рассвете, перед новым походом, когда спутники начнут просыпаться, вставать и кипятить чай, удастся немного вздремнуть. А пока только прикидываться спящим. И он лежал без движения, даже похрапывал, а сам думал, думал о разном, перебрал в памяти все события последних дней, перекинулся мыслями в прошлое, на Чулым. Но представил пятистенник со скамейкой под окнами, рядом Алевтину, Ленку и мать, и чуть не вскрикнул от резанувшей по глазам, по сердцу боли. Ему вдруг подумалось, что они его видят вот такого, распластанного черт-те где под кустом, окруженца. Но он же стремится, начал оправдываться перед ними, перед собой Родион, поскорее выйти к своим. А есть люди... Есть, оказывается, не вполне надежные люди.

Родион осторожно приподнял голову и попытался разглядеть то место, где лежали Семен Первый и Сенька Второй. Ничего там не изменилось, двое спящих насвистывали носами, который-то еще немного храпел. С правого края доносилось шуршание веток, листвы. Там выбирался из укрытия Килин; на слабом лунном свете посмотрел на часы, пристроенные у него на руке с тыльной стороны кисти, и прошел к берегу озера. Стало быть, полночь, время дежурить ему. Но он там, у озера, покурил, пряча огонь в рукав гимнастерки да еще накрывшись шинелью, и затих, явно замороженный тишиной и спокойствием ночи, уснул.

На рассвете и Родион сколько-то минут спал. Что были это минуты, он не мог сомневаться, на берегу озера не стало светлей, разве самую малость. А проснулся — заворочались под общей шинелью тетки Семены,

и один из них, ближний от Лихова, значит, Семен Первый, встал на карачки и на карачках выполз из-под свисающих веток черемухи, шурша травой и похрустывая попадавшим под ноги хворостом, пошел вдоль берега к одиноко стоявшей белой березе, она и теперь смутно, но проступала из мглы. Родион ждал, донесутся до слуха еще какие-то звуки, самые пакостные, но в той стороне было тихо. Будто испарился Семен Первый. Но нет, не изошел паром, поплескивает водичкой, похоже, что-то стирает. Раз стирает — не побежит!.. Вот и тетка его, поворочавшись, опять засвистел носом. Вон и светлей стало, даже намного светлее, что Лихов мог разглядеть лежавшего рядом с ним лейтенанта, его лицо, рот и нос, даже чуток отходящие в стороны при каждом вдохе крылышки носа. Ялов лежал на спине, ноги циркулем, руки вскинута над головой. Мол, чего ему не разлеживаться, если тепло и спокойно. Опасаться? Надо опасаться своих спутников?.. Ну, есть же мастера заливать!.. У него даже подергалась кромка верхней губы, казалось, он сейчас улыбнется, обдаст золотым блеском зубов ли, коронок ли. Но губы остались сомкнутыми, даже плотнее, чем было, а в развилке бровей набрякла сердитая, не к лицу ему, складка, только причиной всему был пискучий комар, он покружил над глазами спящего, может, задевая за вершинки ресниц и бровей, и сел на щеку, начал примеривать свое жало, где и как его ловчее вонзить.

Родион, державшийся на локте, протянул свободную руку и смахнул кровопийцу кончиком пальца. И когда перестал наблюдать за лицом лейтенанта и вслушиваться в комариные пiski, услышал совсем близкий шелест травы, а потом и шуршание веток: к изголовью их подбирался Семен Первый. Кто кроме него. Уже просовывалась между черемуховых прутьев рука, старалась разнять мелкие ветки — в это время Родион вскрикнул:

— Ты, что тут делаешь?! — чем и разбудил лагерь, все повскакали на ноги, Килин прибежал с берега озера.

Семен Первый только посмеивался:

— Да я что? Я ничего... Ни будить не собирался и ни пугать... Я хотел найти спички, обронил еще с вечера. Да вот они, милые! — И он поднял их с земли

или сделал вид, что поднял, и погремел коробком.

Никаких доказательств злого умысла не было, и Лихов с Елсуковым перестали следить за Семеном Первым и Сенькой Вторым.

5

И опять шли по лесам, по луговым перелескам, по мочажинам, обходя занятые фашистами села и придерживаясь общего направления на северо-восток, к синевшему на лейтенантской карте озеру Селигер. Не раз было, залегали в кустах, возле проселочной, вроде бы забытой путниками дороги, хоронясь, пропускали колонну немецких мотоциклистов и вновь поднимались и шли, где россыпью, где гуськом, с оглядкой, с предосторожностями, не теряя попусту время, но и не спеша, а, как того требовал лейтенант, медленно поспешая.

И хотя на полях оставалось много несжатых хлебов, можно было налущить пригоршню зерен и заморить червячка, кое-где нащипать стручков остававшегося гороха или нарыть моркови и брюквы, — подкормиться наконец, где сорвать ягоду, где на ходу подхватить гриб, окруженцы все время чувствовали голод. Не такой голод, чтобы не могли без труда двинуть рукой и ногой, но состояние было такое: все время хочется есть. Хочется поесть хлеба, печеного. Как же привык к нему человек! Да не безопасно было заходить в деревни и даже на одиночные хутора, чтобы разжиться коврижкой ржанухи: кроме немцев появились полицаи, вполне могли задержать.

И все-таки они заходили. Поначалу Килин и Лихов вели разведку и добывали продовольствие, потом — и Лагутенков. Но Килин недавно вывихнул ногу, хромал. А Лагутенков бесследно исчез. Он зашел на выселке к одной разговорчивой бабке, как выяснил потом Родион, и не заметил, нагрянули немцы, задержали его и посадили в амбар. И хотя он ночью от них убежал, а в лагерь свой не вернулся, может, не нашел его в лесу. С тех пор единоличным разведчиком и добытчиком съестного стал Лихов.

Он выполнял свои обязанности с охотой, азартно и лихо, ни дня единого не было, чтобы куда-нибудь не сходил. И всегда возвращался с удачей. Сам себе Ро-



дион объяснял это так: в нем проснулся охотник и следопыт; он же с раннего детства был в поле, в лесу, без конца встречался с опасностями и неизменно преодолевал их; и чем азартней теперь играл с огнем, тем больше хотелось играть.

В это утро можно бы не ходить, маршрут движения и обстановка были ясны, продуктишки кое-какие были в запасе, нет, часа за три до общего подъема, когда все спали в общем шалаше, выполз на воздух, пошел. Еще и синевы в реденьком лесу не было, чернота смоляная, еще и розовым не мазнуло по восточной стороне неба — проник огородами в деревеньку с чудным названием Замутиха, нарочно прополз по картофелищу на свет фонарей и на фрицевскую дребезжащую речь у скопления бывших колхозных, теперь явно реквизированных амбаров и затаился в малиннике, под скосившимся тыном в десяти шагах от врагов. Упади почему-нибудь тын или появишься откуда-то собачонка, облай человека под тыном, и он окажется лицом к лицу с немцами, их много, и у них, конечно, оружие, он, с ножом в кармане, один. Но собачонка, к счастью, не появлялась (а могла появиться, он об этом ранее не подумал), ветхий тын, хотя и косо, держался, и Родион мог сидеть в укрытии и наблюдать. Они, немцы, выносили из амбаров что-то в ящиках и мешках, какое-то продовольствие (значит, тут был их склад) и грузили на брочки и бортовые машины, уже заведенные, с рокочущими моторами. Их рокот помогал Лихову маскироваться, заглушал его неизбежные шорохи. Ближе всех к тыну была брочка с запряженными мохноногими битюгами. Возле брочки стоял, руки по швам, щуплый солдат в широком, не по фигуре и росту мундире и слушал пожилого, долговязого немца, видимо, командира, выкаркивавшего какой-то приказ. Командир стоял в профиль, и фонари высвечивали ломаную линию его фуражки с большой тульей, крючковатого носа и кадыка, двигавшегося вверх и вниз, как челнок. Немец солдатик отвечал ему робко и неуверенно. Оба они упоминали русские деревни Замутиху и Ломзино (по карте километрах в двух от Замутихи на юг), оба твердили айн (один), фельд (поле), дрошкен (дорога), и Лихов, запомнивший в последнее время кое-какие немецкие слова, догадался, что командир посылает солдата с груженой подводой в соседнее

Ломзино, солдат, как видно, побаивается ехать, но от поездки не отказывается, приказ есть приказ. Перехватить! — тотчас мелькнуло в голове Родиона. Устроить на дороге засаду и напасть на робкого немчика, хоть и вооруженного, забрать продовольствие, которое он повезет кому-то из своих в Ломзине, самого ухлопать, может, его же оружием, — была не была!

Под рокот немецких грузовиков Родион выбрался из малинника, а потом и забитого морковной, капустной, картофельной ботвой огорода, промокнув до горла — ночь была росной, — и, перемахнув изгородь, проскочил мокрым тоже кустарником на дорогу. Она где-то неподалеку раздваивалась, заметил он еще по пути из лесу в деревеньку, один усик вел в лес, другой в Ломзино, — последнее он запомнил по карте, — стало быть, пройти сколько-то ломзинским усиком и возле дороги засесть, испытать счастье. Да и надо ж по силе возможности воевать!

Уже почти рассветало; но свет был жидкий и мутный из-за тумана, висевшего над землей; может быть, уже взошло солнце, да не могло пробиться сквозь туманную муть, а человеческому глазу казалось, что ранняя рань. Ни за что не узнаешь по такому утру, какой будет день, ведренный или ненастный. Им, окруженцам, предпочтительнее ненастный, верней, пасмурный, без дождя, в пасмурную погоду ты меньше заметен для постороннего глаза, а сам реже встречаешься с кем бы то ни было на пути. Но теперь забота еще о другом: как аккуратноней одолеть немца. Родион уже вышел на ломзинский усик, более укатанный телегами и грузовыми машинами, и поглядывал вправо и влево, где ему приземлиться. Не просто сесть на какую-то кочку, но прикрыться чем-то зеленым со стороны накатанного проселка. Тут же был редкий и низкорослый ольховник, за ним не скроется и зайчишка. Но сразу за поворотом, перед мостиком через узкую речку Лихов увидел копнистый ореховый куст и заторопился к нему. Непроницаемый куст! Можно зайти за него, можно спрятаться в нем. Пока лезть в мокрую листву не хотелось, Родион обошел половину куста и присел на пенек. Вот так и сидеть, дожидаться немчика в подплывающей бричке. Поравняются лошадь и бричка с кустом — нападать. Но не спереди нападать, сзади. Ведь как будет вести

себя оккупант, тем более неопытный, робкий, подъезжая к ореховому кусту? Поглядывать, нет ли там партизан, не выбегают ли напересек; поравнялся с кустом — весь заострился на мысли, не поджидают ли впереди. А ты наскакиваешь на него сзади и хватаешь за глотку. Не из приятных занятие, душить человека, но что делать, если они сами пришли грабить и убивать?

Лихова не очень беспокоило и пугало то, что должно было произойти, и произойти, может быть, скоро, не исключено, что через минуты; все задуманное в этот момент ему казалось делом решенным и чуть ли не совершившимся; он даже позволил себе, сидя под кустом, поразмышлять о другом: о товарищах — спят они или проснулись, о лейтенанте — вдруг он встал, нервно ходит вокруг шалаша, потрескивая хворостинками, что попадают под ноги, а это означает, волнуется и поругивает его, Лихова, что он долго не идет. Думал Родион и о более отдаленном, о доме. Там, на реке Чулым, в этот час уже день, может быть, солнечный, хотя и прохладный; здесь туманы и росы, а там наверняка заморозки; мать, пожалуй, копается в огороде, прибирает остатки всего, что тамросло; Алевтина, по всей вероятности, в школе — начались занятия — рассказывает ученикам, в том числе и Леньке (такой востроглазый, вихрастый, сидит на первой парте, возле материного стола), о каких-нибудь подлежащих и сказуемых: «Плывет лес... Лес — подлежащее, плывет — сказуемое. Понятно?» И думать не думают, на какое опасное дело идет в эту минуту их Родька. Вообще-то они, конечно, за него беспокоятся, тем более что нет писем. Всего и послал с фронта один треугольничек. От них не принесла полевая почта и одного. Пожалуй, беспокоится и Захаров. Он тогда, провожая на пристани добровольцев, сказал: «Ваши судьбы в ваших руках, хлопцы». Что теперь он подумает о нем, Лихове?

Шлепки лошадиных копыт по влажной земле заставили Родиона вздрогнуть, он вжался в сырой ореховый куст,дохнул его влагой. А сквозь листву поглядывал на дорогу, торопил лошадь с повозкой: «Ну, двигайтесь, ну, покажитесь!» И на дороге показалась для начала не вся лошадь, только передняя нога ее, правая, в черном волосе до колена; правую опередила левая нога, тоже мохнатая. Сильный конь, ломовой. Сволочи,

приехали на ломовых лошадях с короткими, как метелки, хвостами!.. Показалась и бричка, сперва тоже не вся, один ее передок, даже одно переднее колесо на резиновой, только поуже, чем у автомашины, покрышке. Прикатили повозки на резиновом ходу, — сволочи!

Жалкий вид немца в широком, не по размеру мундире и помятой пилотке, торчавшего в передке с ременными вожжами в руках и озиравшегося пугливо, враз настроил Лихова более мирно, спокойно. Да это ж парнишка, хотя у него на груди и болтается автомат, бьет металлической ложей по деревянному облучку брички. Это ж пацан! Да он, Родька, возьмет одной рукой за его голову и перекрутит ему шею из мочалы, оккупант и завоеватель не успеет пикнуть, даже открыть рта. Только надо ли его — пацана — убивать? Пацаненка?! И все-таки Лихов не спускал с него глаз, особенно с автомата, болтавшегося на груди. Немчик натянул вожжи, поторапливая битюга, и лошадь мотнулась вперед, голова ее с подстриженной гривой скрылась за орешинной, потащила туда же разваленный надвое круп. Когда наполовину втянулась за куст и тяжело нагруженная бричка, Родион начал выходить, крадучись, из-за широкой орешины. Оставалось пробежать немного за бричкой и сделать прыжок, подмять под себя немчика с его автоматом — неожиданно для себя передумал, пробежать пробежал, но не прыгнул и не подмял, а весело крикнул:

— Подвезешь, геноссе?

— Можно, — вздрогнув, ответил тот почти чисто по-русски, потянув руку к автомату и снова ее опустив: неизвестный человек, сядивший рядом, смотрел мирно, ласково и светло. — Добрый утро.

— Гутен морген, — поприветствовал и Родион, усаживаясь поглубже. За автомат немца он был спокоен, автомат глядел стволом в сторону лошади, повернуть его немчику не удастся, тем более не удастся выстрелить, а попытается — тут ему и капут. — Где, когда научился говорить по-русски, молодой человек? На фронте? Здесь?

— Нет, нет. — Немец покрутил головой на мочальной шее. — Еще до войны, в школе.

— Готовился к войне с русскими?

— Нет!

— А чего везешь-то на лошади! Куда? — Лихов ощупал лежавший посреди брички мешок. — Банки!.. Значит, консервы?

— Мясные консервы. Везу себе часть. Ви голодны и хотите покушать? Вам дать одну банку?..

— Удружи. Только не одну, парень, а больше. Видишь ли... — Что должен был видеть немецкий солдат, Родиону не удалось быстро придумать, и он не стал ломать голову, заметив, что хозяин подводы уже развязывает мешок, уже достает банки, целых четыре, звякая по ним автоматом. А еще натренированный слух Лихова уловил отдаленное завывание машины, не надсадное, значит, не грузовика. — Видишь ли, парень, мне некогда с тобой торговаться и вообще разговаривать, ты давай мне весь этот мешок, — немчик успел завязать его, — давай эти коробки, — он потряс что-то твердое и тяжелое в картонной коробке. — Не цукер, случайно?

— Цукер, да, сахар.

— Так я и знал. Давай две коробки сахара. А лучше — четыре, клади в консервный мешок, он, как видишь, не полный. — Немец и это его распоряжение выполнил, развязал снова мешок и засунул в него коробки с сахаром, не четыре, а пять, и вновь завязал, причем аккуратно, оставив недлинную петельку, чтобы удобнее было развязывать. — А теперь снимай с себя автомат. Ясно?

— Ясно. Пожалуйста. — Немец наклонил голову, мол, снимайте, пожалуйста, сами.

Машина завyla где-то поблизости, и Родион Лихов не снял, он сорвал с головы жалкого немчика автомат.

— Патроны в магазине есть?

— Есть, — не обиделся тот.

— Еще при себе оружие имеешь?

— Ней имею.

— Тогда поезжай. — Родион вскинул на горб мешок с продовольствием, повесил на плечо автомат и соскользнул с брички. — Шнель!

— Бистро! — подтвердил немчик и хлестнул вожжами по глубокому желобу на спине битюга. Он уезжал, не оглядываясь, он явно не опасался, что по нему будут стрелять.

Больше опасался обстрела Родион, отбегая с мешком в сторону от дороги, опять же за ореховый куст, не такой пышный, как тот, первый, но все же укрытие, и опасался обстрела не со стороны немчика, старательно погонявшего битюга,—немцев, ехавших сзади: их легковая машина — черный приземистый «бенц» — уже взбегала на мост. Но нет, кажется, не заметили. Раз едут с закрытыми дверцами, не сбавляя и не увеличивая скорость, стало быть, не заметили. А ехали, видел сквозь листву Родион, два человека, оба на переднем сиденье: шофер в пилоточке набоку и пассажир в фуражке с большой тульей; заднее сиденье завалено багажом. «Сволочи, разъезжают как у себя дома!» — подумал Родион и, когда машина проскочила мимо куста, высунулся из-за веток по грудь, поднял автомат. Толком это оружие Лихов не знал, со стороны видел, а в руках держал первый раз, и спусковой крючок нажал без уверенности, что произойдет выстрел; а трофейный автомат застрекотал, да так четко и энергично, что Лихов скорее отнял палец от спускового крючка. И тотчас заметил, что черная легковая машина сбилась с прежнего ритма и безвольно ковыляет по влажной дороге. Значит, попало в нее. Значит, надо добить!

После этого Родион стрелял, уже тщательно целясь и ровными короткими очередями, хорошо видя, что пули попадают в кузов машины, на ней вспыхивают черные дырки, а сама она, припадая на осевшее переднее колесо, явно с простреленной камерой, неизменно воротит в сторону от дороги и вон уже переползла неглубокий кювет и — браво! — уткнулась радиатором в горелый пенек и сама вспыхнула, — значит, пули прошли по трубам или бакам с горючим. Теперь не выпустить, ни в коем случае не выпустить из машины фашистов, если они еще живы. И Лихов посылал пулю за пулей в дверцы машины, в синий дым и пробившийся сквозь него грязный огонь, пока не заглох автомат: он высадил всю обойму, второй не было. Скорей подхватил мешок с загремевшими в нем консервными банками и, не вешая на плечо автомат, пригибаясь, побежал глубже в кусты. Бежал, лишь бы бежать, лишь бы подальше от происшествия и возможной погони, а очутился на втором усике дороги, лесном, возле коряги с растопыренными корнями, примеченной еще ночью. Теперь путь

был известен: по дороге, по тропе вдоль ручейка, от него — в косогор, густо затянутый ельничком, там, в ельничке, к шалашу.

Дорога была верной, и Родион собирался идти шагом, а не бежать, но представил, что там произошло, на ломзинском усике: треск автомата, вспыхивающие черные дырки на кузове «бенца», дым и огонь, и снова заторопился, и не по дороге, не по тропе, а чашобой, запинаясь за валежник и корни деревьев. И как-то не заблудился в большом и все-таки малознакомом лесу, вышел к звенящему ручейку, а потом и к своим в косогоре, собравшимся в путь и сидевшим на колодине с рюкзаками у ног. Шалаша уже не было. И кострища как не бывало, — так всегда, уходя с ночевки, замечали следы. Лейтенант Ялов, завидев своего, встал, опираясь на себе гимнастерку.

Лихов подошел к нему и опустил на землю мешок с загремевшими и этим кое-что сказавшими о себе банками, на мешок положил черный трофейный автомат.

— Вот, товарищ лейтенант!..

— При каких обстоятельствах удалось раздобыть автомат?

Родион рассказал коротко, как встретился с немцем-повозочным, как затем обстрелял фашистскую легковую машину.

— За трофей, за оружие благодарю, а за то, что стреляли, ставлю на вид. В нашем положении ввязываться в перестрелки не следует. Только при острой необходимости и по моему приказанию. Мы же легко можем вызвать преследование. А чем будем отбиваться? — лейтенант перевернул на мешке автомат. — Поди, с десятком патронов?

— Патронов больше ни одного нет.

— Вот видите... А по ближайшим тылам, наверняка, разнеслась весть: партизаны! Или: диверсионная группа, приказано уничтожить!.. Так что придется остерегаться. И поторапливаться, покуда туман.

Едва выбрались из тумана, поднявшись на новый бугор, как позади уже затягивали, ожесточаясь, собаки, заухали одиночные выстрелы, — пришлось не идти, а бежать.

Они пометались в этот день, пообрывали на себе без того драное обмундирование, потому что везде было

собачье тьяканье и стрельба. Тишину леса почувствовали только под вечер. И то подозрительной и жуткой казалась эта лесная в надвигавшемся сумраке тишина.

6

Отдуваясь и шумно дыша, Елсуков поплескался у самого берега речки — он же боялся воды — и прилег тут же, на зернистом песке, расправил могучие плечи.

— Уф!.. Что тебе банька, только и не хватало пара да венчика!

Плечи у него были могучие да натруженные, под мышками и на груди синели надавы от лямок нелегкой поклажи; он погладил, поразминал надавленные и затекшие места.

Два тезки, тоже обнаженные и мокрые после купания, лежали выше по берегу, на лужке; у обоих из-под плесенно-белой и, казалось, истончившейся кожи выпирали грудные узкие ребра; на брюхе мякоть и жирок еще были, отощали, да не совсем.

Родион, сидевший в берегу, на дернине, между Елсуковым и тезками — он успел обсохнуть, — как раз оглядывал спутников, подмечал, каковы они телом. Ничего, еще столько пройдут! Если он, конечно, достанет столько же или больше тушенки. Или — свежего мяса. Словом, шли шестеро на восток и еще, сколько надо, пройдут! А пока отдыхали после тяжелого перехода и освежающего купания.

В отдалении, под склонившейся ивой расположился рядовой Килин, крутил-вертел в руках развалившиеся сапоги Ялова, не знал, что с ними делать. Далее него, как и он, Лихов, на дернине сидел лейтенант; опустив на колени гимнастерку и некогда голубую, теперь выцветшую и пропеченную майку, он проветривал одежду, одновременно грелся на солнышке, подставляя ему то впалую грудь, то вислые плечи, попеременно одно и другое. Солнце слепило глаза, потому Ялов отвертывался от него, клоня голову с черными волосами, сбегавшими ему на правый висок лесенкой, одновременно протягивал руку к стоявшему чуть позади котелку с подогретой на солнце водой и плескал себе из ладони на лицо и на грудь, а потом под мышки, под мышки с редкими волосенками, поживаясь и скаля



желтоватые зубы и вспыхивающие на солнце золотые клычки.

Семен Первый, наострив один глаз и прищурился второй, поднялся на локтях, усмешливо хмыкнул:

— Моется! Будто нельзя залезть в омут, как мы, окунуться с головой.

— Значит, нельзя, — возразил тезка. Они всегда не соглашались друг с другом и спорили, но не жарко, не зло. — Может, человек с малолетства боится простуды. Может, слабоват легкими, сердцем али еще чем. Не слышал, ночью покашливает?

— И мы с тобой, мало ли, гавкаем. А тогда напились из болота, маялись животами. Он стерпел жажду, не лакнул из-под кочки и уберег себя от беды. Осторожный!

— Это плохо?

— Чего ж тут плохого...

— Так чего же ты?..

— Так вон решил мыться из котелка. Уж мылся бы, на то пошло, из ложки, я бы чайную дал. А тогда, помнишь, угодили под дождь, вымокли? Ну, вымокли, беды-то, что вымокли, разделись до живого тела и обсушились перед костром. Он сидит на пенечке, повертывает к огню то зад, то перед, морщится, потому что не сохнет одежда по-настоящему. Мы скипятили воды, заварили чагу и хлещем чай самодельный кружка за кружкой; он выпил полкружечки и сидит, завязал горло платочком.

— Ну и что?

— Опять «что»?.. Не стал раздеваться, как мы, так всяк делает, как он умеет и хочет. Обсушились после холодного душа тем вечером мы, обсушился и он. Даже не кашлянул. Значит, поберег себя человек не хуже тебя. И теперь, стало быть, надо беречься.

— Да уж побережься наш лейтенант умеет и может; сам схоронится от чего-то и тебе скажет, как схорониться. Но здоровьишко у него так себе, дрянь. Сколько, он говорил, ему исполняется нынче? Двадцать три года? Не исполнилось двадцати трех, говоришь, а уже два зуба обточенных или вставных. Слаботелый... Вон-вон опять, посмотри, поплескивает из котелочка, прикладывает руки к воробьиной груди!.. А зайти в речку боится... Зашел! Окунулся! Уже трет себя полотенцем, ха-

хакает, — хорошо! Поглядели бы на него немцы, послушали бы, как он хахакает! Он бы у них похахакал, когда бы они его потащили без пересадки в гимнастерке и бриджах на березовый сук.

Елсуков, расслышав эти слова, заскрипел всем телом о влажный песок.

— А как бы его увидели и слышали немцы? Мы что, сдались бы?

Возмутился Родион:

— С какой стати мы попали бы к ним?

— Во-во, разобраться, с какой? Три недели не попадались, на четвертой надумали бы сглупить! Да вы что, мужички, опять за свое?

— Уж и сказать что-то нельзя... — проворчал Семен Первый.

— Сделали бы глупость, попали, и себя засадили бы в ихние лагеря и его ухойдакали, а спрашивается, за что? Что он тебя и меня от фашиста спасал? Делил поровну черную крошку?

— Да так вышло, Елсуков... К слову пришлось...

— Пусть вдругорядь у вас не приходится. Ишь начали снова!.. Человек вон старается, почти вывел к своим, на его карте, подсказывает сибиряк, от силы три перехода до Селигера, там, по сведениям, застрял фронт ихнего наступления, по другую сторону озера наши, а мы попадем к ним или, еще поганее, сдадимся!

— Раскудахтался! — буркнул Семен Первый уже из рубахи, которую он надевал. — «Человек старается, да человек почти вывел!» Не говори гоп, пока не прыгнешь! И еще неизвестно, как встретят свои нас с Сенькой, а может, и вас.

Елсуков оттолкнулся локтями от земли и сел, мотая всклокоченной головой; из отросших за время блуждания по немецким тылам косм полетели песчинки.

— Нет, не может этого быть! Если мы выйдем и вынесем документы...

— Наградят орденами?.. Первым товарища Елсукова за поклажу тяжелую на горбу.

— Награждать, соображаю, не будут, но... Да вы что, парни, одурели совсем?.. О лейтенанте опять начали плести, дураки. О нас с Лиховым... Что мы с ним недостаточно воевали? Боялись? Лично я, если и боялся когда, так не за себя, за своих ребяташек,

пятеро их у меня. Второй отец для них сыщется? Отколь ему взяться? Сиротство! И они, провожая на войну, чуяли, облепили со всех сторон и ревмя ревут; самая махонькая, Настюнька, так вцепилась в ворот рубахи, вернее, не могу отодрать. Хоть ломай ей пальцы и ноготки-коготки: «Тятыка!» А у тятки вот-вот все оборвется внутри. И тут было однажды, чуть ли не оборвалось. Поначалу еще, когда увидел, поперли их танки, поливают огнем. Тут и вскрикнула опять махонькая моя: «Тятыка!» И вцепилась на сей раз не в рубаху, не в ворот, а в горло. Как ни пытаюсь оторвать, не могу. С нею, Настюнькой, и выскочил было из ячейки, да сразу опамятовался — назад. Куда бежать-то, зачем? У вас было не так? Не кричали вам: «Тятыка!» — Елсуков поднялся во весь рост, черный и страшный в своей наготе. — По-другому было, что вы тут всячески выражаетесь?!

— Да мы что?.. — сел на траве и затрепетал Сенька Второй. — Мы же так как-то...

— Не подумавши, — договорил тезка, прячась за ним и тоже трепеща.

— То-то мне! — уже начал отходить Елсуков. — Вон идет лейтенант наш, пусть, если слышал, поговорит с вами.

Лейтенант уже успел одеться, обуться и при всей форме, с пистолетом на одном боку и с планшетом на другом, весь подтянутый, шел берегом по лужку. Не в порядке были лишь сапоги, оскалившие белые зубы — гвоздики, пришлось обвязать их бечевками.

— Поднимайтесь! Быстренько! — на ходу бросил он Килину, и тот вскочил с лужка и, прыгая на одной ноге, начал вдевать ногу в устье штанины, густо унизанной заплатами. — Остальные, не мешкать со сборами! — Лейтенант подошел к четверым спутникам, уже натянувшим брюки и гимнастерки, и, потирая ладонью щеку, тихо и смущенно сказал: — Расположились как до войны. Как где-нибудь на покосе!.. И я сам потерял голову, завидев проточную воду и свежий лужок. А вокруг немцы-фашисты. Не от одной ихней погони сумели уйти, а тут могли влипнуть, пропасть ни за что ни про что. Потому что недалеко фронт, я прикинул по карте, не более тридцати километров. И, сидя на берегу, я отчетливо слышал в той стороне, на северо-восто-

ке, разрывы орудийных снарядов, обвалами. Значит, там, в озерном дефиле, война. Сплошной линии фронта, думаю, нет, кругом леса и болота, но деревни и хутора поблизости от передовой, конечно, заняты немцами, так что приказываю всем: осторожности! Больше так беспечно, как здесь, не располагаться, — он с неудовольствием оглядел залитую солнцем полянку, еще недавно самого его привлекавшую чистотой, — и одежду и обувь с себя не снимать. Через пять километров небольшой выселок, — обернулся он к Лихову, — сходишь, разведдаешь. В дома заходить только с огородов и сперва осмотревшись. И ничего в деревне не брать, решительно ничего, только уточнить обстановку: на Селигере ли еще фронт. Я понятно говорю, Лихов?

— Понятно, товарищ лейтенант.

— Собрались? Поклажу на плечи, пошли!

Вскоре, точно, увидели деревеньку в полтора десятка домов и остановились в березовой роще. Родион вскинул на плечо трофейный автомат с запасом патронов (патроны он раздобыл прошлой ночью, при стычке опять же с одиночным немецким солдатом) и направился между кустиками. За ним увязались два Семена, они оба клялись, что на выселок не зайдут, только наблюдают со стороны, и Ялов не стал возражать, правда, предупредил опять: осторожно!

Часа через два Лихов вернулся один.

Лейтенант, завидев его, резко поднялся с валежины.

— А хлопцы? Где хлопцы?

— Они там...

— На выселке, что ли? Было же сказано, на выселок не ходить.

— Они и не заходили, на выселке я был один. Немцев там нету, бывают только проездом. До озера Селигер по проселку двадцать пять километров, фронт держится там. Но пока немцы не наступают, будто бы ждут пополнения. А еще я узнал ненароком, вчера тут, над дорогами, летал наш самолет, бомбил их колонну. И вот когда я шел обратно сюда, наткнулся на грузовик, заскочивший в кусты и тут попавший под бомбы. Поодаль в борозде лежали два убитых фашиста, на одном — новые хромовые сапоги. Не подумав, я рассказал о них Семенам. Семен Первый загорелся: «Пойдем, снимем с фашиста!» Сенька Второй даже добавил

«Отдадим нашему лейтенанту, он, можно сказать, без сапог».

— Забота о лейтенанте, о его сапогах! — вспыхнул Ялов, что с ним случалось нечасто, и приподнялся на носках своих хромовых, с подошвой, державшейся на бечевках. — И потащились туда вон, в кусты? И глупо погибли?

— Семен Первый, один. Его тетка вот-вот подойдет, моется у ручья. — Родион прикрыл ладонью глаза, их и теперь обжигало тем страшным видением: на просе-лок за теми кустами выкатилась грузовая машина; в кузове сидели и стояли солдаты в немецких серо-зеле-ных мундирах и палили из автоматов — начал ква-кать один автомат, включилась в концерт целая дюжи-на. А из кустов по сжатому полю, пригибаясь, бежал человек, тащил под мышкой головками вперед сапоги. Немцы стреляли по нему. Настроившись, они ударили залпом. И человек с сапогами — Семен Первый — как бы споткнулся за что-то и рухнул на землю. А немец-кие автоматчики, гогоча, все стреляли, уже по тому ме-сту, где лежал человек, и прекратили стрельбу, убедив-шись, что тот не поднимется. Грузовик прибавил про-ворства и скатился в низину. Все. Погиб человек ни за что ни про что!

В потемки уже Родион Лихов сходил на сжатое по-ле и похоронил Семена в воронке от бомбы, принес и положил перед лейтенантом прошитые автоматной строчкой по голенищам, но еще прочные сапоги.

— Вот. Может быть, пригодятся...

— На могиле поставил какой-нибудь знак?

— Насыпал земли и воткнул затесанный колышек с именем и фамилией.

— В скольких метрах приблизительно от деревни Березовки? На юг? Кажется, на юг?.. Далеко ли от до-роги? От кустиков?.. — расспрашивал лейтенант, сам в темноте быстро писал, шурша карандашом по блок-ноту.

Родион отвечал не очень охотно, не очень уверенно. Под конец спросил:

— Не домашним ли собираетесь со временем сооб-щить?

— Собираюсь. А как же? Кто сообщит о гибели че-ловека, если не мы?

Лейтенант Ялов был уроженцем Москвы. Здесь он рос и учился, здесь начиналась его армейская служба. В сороковом, предвоенном, году его мотострелковую часть перебросили из-под Москвы на запад, туда же после краткосрочного отпуска и незавершенного лечения на курорте в Крыму выехал и Ялов. Его не смутило, не расстроило, что отдых и лечение прервались, — надо, стало быть, надо; он и в Москву завернул только на два часа, чтобы свидеться с матерью да захватить с собой кое-что из вещей; в тот же день поезд мчал его к Балтийскому морю.

Это был скорый поезд, он проскакивал полустанки и полевые станции, задерживался только на крупных и узловых; но еще стремительней уносился вперед — мысленно — пассажир в комсоставской хорошо отглаженной гимнастерке. Провожая взглядом пригороды столицы с их деревянными дачами и краснокирпичными крохотными заводиками, с изобилием лип и дубов, разметавших пышные кроны, Ялов, собственно, был уже там, в дождливой Прибалтике, которую он знал только по газетам и книгам, на Рижском взморье и в Риге, где никогда не бывал; не бывал, а видел и золотой песок побережья, слепивший глаза, и серый асфальт улиц, дививших своей чистотой, да что видел — ступал голый ногой в горячий песок, тонул в нем по щиколотки, шаркал подошвами хромовых сапог об асфальт.

С детских лет Ялова увлекала романтика поисков, риска, борьбы и отваги. Эту страсть ему внушил, конечно, отец, хотя видеть его сыну тоже не приходилось. Старший Ялов до революции работал в подпольных типографиях социал-демократов, а с началом гражданской войны перешел в органы армейской разведки. Это был смелый подпольщик, а потом боец незримого фронта. Молодой Ялов еще шестиклассником читал книгу, где говорилось и про отца, как он в одном южном городе проник в штаб белой армии — не полка, не дивизии, армии, — добыл важные сведения для наступающих красных войск и помог им разгромить врага. Мальчик частенько приставал к матери, допытывался, что ей известно еще о геройстве отца. Но та смущенно пожимала плечами, она и замужем-то была один год, муж был

с нею деликатен и ласков, но о работе своей не рассказывал; он часто ездил в командировки, иной раз надолго, а однажды уехал и не вернулся; сын родился уже без него. Но, значит, с отцовскими склонностями.

Нет более священной обязанности для коммуниста и комсомольца, думал молодой Ялов, как бороться с внешними и внутренними врагами! И он поклялся, что всю жизнь посвятит выкорчевыванию врагов, отдаст священному делу всю свою кровь, каплю по капле. Перевод на запад он посчитал за свое, за личное счастье: Советский Союз стал лицом к лицу с фашистской Германией, там, в Прибалтике, начиналась схватка двух разведок, двух контрразведок, а позднее, может, и армий, и он, Ялов, будет на переднем крае борьбы.

Но еще довоенные события в Прибалтике озадачили Ялова: отпрыска русской графской семьи, паренька в ботинках на толстой подошве, с румянцем во всю щеку, подозревали в шпионаже, а он, оказывается, ничего дурного не делал, он тосковал в Прибалтике по родному Подмосквью, которого не видел (тоже не видел!), и встречал с красным флагом Советскую власть.

Началась Отечественная война; уже через восемь дней немец подошел к Риге, которую уже 22 июня бомбил. Думали воевать на чужой территории (если уж воевать), а тут и по своей отступали. Оказались во вражеском окружении крупные части, штабы; пришлось выходить к своим мелкими группами. И в тисках окружения было невероятное: он, контрразведчик, шел вместе с самострелом и дезертиром, спал с ними в одном шалаше и ел из одного котелка.

Сегодняшней ночью, чтобы перебраться через озеро Селигер, Лихов, Елсуков, Килин, воспользовавшись темнотой, проникли в прифронтовую незнакомую деревеньку, занятую фашистами, отыскивали там нужных людей и вон ведут перевозчика. Только очень уж молод, судя по голосу, перевозчик, так и звенит бубенцом. И не опасается, что кругом немцы. Когда темень впереди стала как бы пошатываться, лейтенант подал голос из-за укравшего его ствола вербы:

— Сюда!

— Знаем! — прозвенел бубенец.

— А не громко разговариваете, знающие?

— А кого бы мы опасались тут, немцев? — усмехнулся паренек весело и отважно. — Они ночью сюда не придут. Они и днем из деревни не вылезают, — может, покуда их мало. А спустились сумерки, прячутся по домам. У наших соседей живет фриц, захотелось ему по нужде, кличет хозяйку: «Матка, ком, ком!» Сидит возле забора впотьмах, без конца спрашивает: «Во биз ду, матка?» — «Хиер бин их».

— И матке приходится осваивать немецкий язык?

— Приходится, значит.

— И тебе тоже?

— А мне что? Я еще в школе учил.

— Сколько же ты успел пройти классов? — Ялов уже различал в темноте их перевозчика: маленький, щуплый. — Классов пять-шесть?

— Поболе.

— Как зовут, интересно?

— Никак.

— Так-таки и никак?

— Никак. Я же не спрашиваю у вас и у ваших товарищей — как. Побывали они у нашего Степана Степановича, объяснили ему что к чему, вызвал меня Степан Степанович, дал задание перевезти, и вот я перед вами; вы тоже передо мной; а остальное ни вас, ни меня не касается.

— Больно ты строгий, Никак! — Лейтенант пошуршал вислыми ветками, похватал носом влажную прохладу затаившегося где-то в темноте ночи и кустов Селигера. — А дорогу на тот берег хорошо знаешь?

— Если бы плохо, Степан Степанович не послал. Через ночь да каждую ночь плаваю, кого-нибудь да перевозжу. Двух летчиков сбитых посадил в лодку под самым носом у фашистов и переправил. А до них перевозил подполковника туда и сюда.

— И сюда?.. — озадачило Ялова. — Почему еще и сюда?

— А он явился в Сорогу — там теперь наши, штаб армии, — ему вежливенько сказали: «Сам вышел, а своих в окружении оставил? Возвращайся, батенька, собирай всех до единого и веди». Вот он и пошел обратной дорогой. Здесь говорит мне: «Жди, друг, повезешь в третий раз». Говорю: «Ладно, даже пригоню еще одну лодку. Только поторапливайтесь со сбором, пока



ранняя осень, еще не задуло, начнутся ветры и вьюги, не больно-то поплывешь». Уже сегодня барометр у Степана Степановича попер с великой суши на переменную, того гляди, наворожит ненастье и бурю, тогда я вам не перевозчик, не проводник.

— Тогда будем и мы торопиться, — сказал Ялов и обернулся к своим. — Быстро! — И те поползли в кусты, шелестя ветками и травой, отыскивали свои рюкзаки, Елсуков — свою особую воловью поклажу. — Теперь веди нас, Никак. Где твоя лодка, как к ней пройти?

— А вам не обязательно знать, где она, как. Много будете знать, скоро состаритесь, — продолжал дерзить юный перевозчик и проводник. — Топайте следом. Да осторожнее, можно споткнуться и расквасить себе нос. Еще проще развесить по веткам глаза. — Он нырнул между кустами. — За мной!

— Топаем! — откликнулся Ялов, хотя вовсе не топал, лишь шаркал подошвами старых, развалившихся окончательно сапог о лоточек тропы, находя ее ощупью. А по лицу шлепала влажная листва; и был момент, уткнулась в лицо сухая жесткая ветка, царапнула переносицу. Как не высадила глаза! — Где ты, Никак? Во биз ду?

— Хиер бин их. Здесь я, — отвечал паренек издалека.

— Ты нас все же не оставляй... раз тебе поручили.

— Ладно, идите на голос, я жду.

И он дожидался их, попадал в темноте под ноги, как кутенок, и вновь уносился вперед, что приходилось догонять его, сбиваясь с тропы и продираясь кустами, окликать: «Во биз ду?» — «Хиер бин их». Благо, что путь берегом обдававшего свежестью озера был недолог, да и посветлей стало, когда спустились к воде. Лодка была спрятана в прибрежных кустах. Впятером выволокли ее из-под нависших ветвей и, проташив по песку, дали осторожно плюхнуться в воду.

— Кто сядет на гребни? — с серьезностью взрослого спросил паренек-перевозчик. — Кто посильнее?

Елсуков смахнул с одного плеча свою ношу и, придерживая ее на втором, шагнул в колыхнувшуюся и сразу осевшую лодку.

— Надо быть, я.

— И я, — сказал Лихов.

— Ну и садитесь бок о бок. Да враз поднимайте и опускайте весла, не вразнобой. Не плещите. Ни-ни! На воде не то что в лесу, далеко слышно, не дай бог, ежели засекут.

— Ты же уверял, — напомнил ему Ялов, — что немцев поблизости нет, ночью они не вылазят из деревень, отсиживаются в домах.

— Мало ли что я сказал, а теперь вот давайте мне тишину. Ни звука лодкой и веслами! И чок-чок, зубы на крючок!

Все сели, строгий перевозчик, устроившийся в самой корме, оттолкнулся веслом от песчаного берега, и лодка плавно пошла, чуть поскрипывали уключины. Никак правил ловко, его весло резало воду бесшумно, и только когда паренек изменял направление лодки, за кормой приглушенно побулькивало.

Как он ориентировался в пути, Ялов не мог себе объяснить: ночь была беспросветной, только отплыли от берега, а его уже не видно; ни огонька заблудящего где-то на берегу, ни звездочки в небе, забитом тучами плотно; темень снизу и сверху, непроглядная темень вокруг. Может, есть при удалом перевозчике какой-то прибор, компас с нафосфоренными стрелками, паренек поглядывает на него исподтишка? А может, чутье, особое, прирожденное? Ведь обладают же чутьем птицы, летят с юга на север и обратно за тысячи километров, и никогда не сбиваются с курса. Выручает звездная карта неба? А днем? А ночью, как сегодня, без звезд? Говорят, птицам помогают силовые линии магнитного поля планеты. Что помогает этому пареньку? Или рановато еще за него ручаться, может привезти не туда?

Но что бы ни говорил себе, как ни мучил себя сомнениями Ялов, в глубине души он был уверен, что паренек этот не подведет их, что уже через час-полтора они будут на той стороне озера, у своих. Столько бродить по лесам, по болотам, не поддаться никому, ничему и вдруг попасть как-то нелепо впросак на последних километрах пути, — не должно этого быть!

Лейтенант расстегнул на шее воротник гимнастерки и прилег на валявшийся в носу лодки чей-то мешок, закрыл глаза. Поскрипывали с опаской уключины, побулькивала осторожно вода, причем не только под гребями, но и ближе, у него под локтями, вспоротая носом

лодки с разлету. А вообще-то тишина и покой. И убаюкантый тишиной и покоем, Ялов снова раздумался о превратностях судьбы, больше лично своей. Хотел биться с врагами на границе, а очутился в Калининской области, чуть не под стенами Москвы. Но ничего, ничего, вот только соберется с силами Красная Армия!.. Это хорошо знают Лихов и Елсуков, если гребут, вон как старательно и дружно гребут. Знает теперь и Семен.

Землю они в темноте не увидели, они заметили вспыхивающие бледно-синие огоньки и один среди них зеленый, он, вспыхнув, горел подольше других, и Никак с кормы громко и солидно сказал:

— Наши!

Потом была высадка при вспыхивающих фонариках, была посадка в лодку других каких-то людей, они плыли на немецкую сторону. Ялов не стал спрашивать, кто они и зачем туда отправляются; и было размещение на жидких нарах избушки, стоявшей в берегу озера... Компаньоны предлагали идти сразу в деревню, до нее вела наезженная дорога, и нашелся человек, изъявлял согласие туда довести, но лейтенант решил подождать до утра: утро вечера мудренее. Он приказал спутникам:

— Спать!

## 8

Направление в строевую часть Лихов и Елсуков получили раньше других. Они подошли к бункеру, сверху забросанному хвойными ветками. Тут их остановил часовой.

— Дальше нельзя. — Загородил им дорогу автоматом.

— Нету начальства? — запросто спросил Елсуков. — А нам надо представиться, что явились для прохождения службы дальнейшей. Можно присесть?

— Это разрешается.

Перед входом в бункер стояли скамейки, явно принесенные из крестьянских домов, массивные, грубой работы; Елсуков опустился на стоящую слева; Родион присел по другую сторону прохода, свалил с плеч вещмешок. Оба они за время блуждания по вражеским тылам осунулись, Елсукова припорошила седина, влаж-

ные глаза, как бы вдавленные в лицо, смотрели печально; грустно выглядел и Родион. И было в облике Лихова, в его голосе ироническое:

— Ты бы хоть сказал, строгий часовой, что за часть, в которой нам придется служить? Хоть пехота или артиллерия?

— Не положено разглашать.

— Да мы ж все равно узнаем. Раз посланы служить, будем знать.

— Вот придут из командования, тогда узнавайте. Да вон идет комбат Чупраков! — Часовой подтянулся и, еще не дождавшись, когда рослый, в развевающейся плащ-накидке комбат поравняется, вскинул руку к виску. — Разрешите, товарищ командир стрелкового батальона? Вот прибыли к нам...

— Пополнение? — подхватил командир батальона. — Хорошо! — И Родион, стоявший тоже навытяжку, заметил, как его, а потом Елсукова смерили испытующие глаза. — Хорошо! Следуй, пополнение, за мной! — И прошел, не оглядываясь, в бункер.

Он был всевидящий и всеслышащий, этот комбат, он, оказывается, уже знал о вновь поступивших к нему в подчинение солдат и теперь, в бункере, только поинтересовался настроением мужиков (он так их назвал, мужиками). Заметив, что старший по возрасту озабочен, участливо спросил:

— Думы о доме? — Он поперебирал валявшиеся на столе шахматные фигуры. — Поди, небогато жил? Полна изба ребятишек?!

— Угадали, — подтвердил Елсуков. — Пятеро осталось их у меня мал мала меньше, — как они там живут? И как будут жить дальше? На одной материнной шее, это не шуточно.

— Понимаю вас, старший по возрасту, — сказал командир батальона. — А вы, вы, младший, что хмуритесь? — обернулся он к Родиону. — Ничего, ничего, вот обживетесь тут у меня, настроение повысится. А пойдем в бой... — Командир батальона собрал шахматные фигуры, расставил в две шеренги черные, в две белые, черные подальше от себя, белые ближе. — Сходим в бой, сбросим с этого берега окопавшихся немцев и совсем весело заживем. — Он встал у себя за столом, едва не касаясь головой бревенчатого наката. — Будем

рассчитывать на победу! — в меру повысил голос комбат. — А теперь отправляйтесь в первую роту, скажите командиру, что от меня. Это — выйти из бункера и вправо, все вправо до крайней землянки. Желаю успеха!

Новички не очень умело козырнули боевому комбату (разучились за последние месяцы козырять) и боком вытекли из бункера на вольный дневной свет, заторопились по утоптанной стежке направо и прямо, к землянкам. Там представились командирам роты, взвода и отделения и вскоре обедали под кронами елок со всеми, а под вечер получали патроны, гранаты-лимонки и шанцевый инструмент.

В бой пошел стрелковый батальон старшего лейтенанта Чупракова через неделю. На первых порах, собственно, не наступали, а сидели в кустах, кое-как зарывшись в луговую мокрую землю, пока вела огонь артиллерия. Били «сорокапятки». Они стреляли вяло, паузы между выстрелами были длинные, и кое-кто из сидевших в кустах начал нервничать и вспоминать дурным словом бога войны: три дня назад рота уже вела бой с десанниками, но ничего не добилась, подошла артиллерия, и на нее мало надежды.

Родион Лихов, вслушиваясь в эти разговоры, дрожал. Он начал дрожать еще в утренних сумерках, когда подходили к кустам, рассыпались цепью по готовым ячейкам. Вот бьет лихорадка, никакого с нею, навязчивой, сладу. И ведь бывал в переделках, должен бы попривыкнуть, так нет, все вздрагивает: руки и пальцы рук, колени и даже лопатки, между ними по спине ходит ледяной ветер; трясется нижняя челюсть, и дребезжат, прямо-таки дребезжат зубы, выбивают мелкую дробь. Странно, ничего не боялся при встрече с немцами в их тылу, а тут вдруг оробел. Раз пробивает дрожь — оробел...

Справа по фронту копался под кустиком Елсуков, углублял ямку, но снизу в нее проступала вода, приходилось подкладывать ветки. И закопаться в землю нельзя, и не закопаться нельзя, особенно такому крупному человеку, как Елсуков, вон его не закрывает даже ивовый куст; в такого крупного неизбежно угодит лишняя пуля. Мимо такого мышонка, как сосед слева, пролетит целый снаряд, не заденет. Родион пригляделся к

человечку, сидевшему перед пеньком по левую руку. Мышонок! Он и дрожал (тоже дрожал!), как мышонок, подтянув к шее руки — передние лапки. Пополз... Ползет к нему, Лихову... Да у него и хвостик, как у мышонка, — конец расстегнувшегося ремня.

Тот пополз с незажженной сигаркой во рту и сел, подобрав под себя ноги и опять подтянув, но теперь уже как молещик, руки к груди.

— Слышь, браток, не знаю, как тебя звать, меня зовут Павлом, удружи спичку. Я свои израсходовал.

— И у меня спичек нет, я не курю, — сказал Родион. Но в этот момент он, пожалуй, и сам затянулся бы дымом, чтоб освободиться от дрожи. Ни спичек, ни кресала.

— Беда. Вот же беда! — Цигарка в зубах Павла успела смокнуть, разваливалась, и он выплюнул ее. — А откуда будешь-то, какой области уроженец? Я здешней, Калининской, бывшей Тверской.

— С Чулыма-реки.

— Сибиряк, что ли?

— Вроде бы.

— Слышь, сибиряк, а ты смерти боишься? Нет?..

— А сам ты?

— Боюсь, страх как боюсь. Еще бы с артиллерией али танками... А то было уже наступали, говорилось, подмогнет артиллерия, а она и голоса не подала. Сегодня ухаёт, так вполсилы. Худо... К тому же устал, хоть бы отдохнуть маленько в санбате... Да ладно, сибиряк, прощай! — И уроженец Тверской быстро и с оглядкой уполз.

Без него Родион прилег на повялые ветки, прикрывавшие бруствер, раздумался: а это было бы ничего тоже, попасть в медсанбат. Не надолго, на недельку, другую... Чтобы отдышаться получше, спокойно поспать... Утречком медсестра принесет тебе что-нибудь на тарелке с голубыми каемками; под тобой будут белые простыни; а со стенки, из репродуктора...

Родион не договорил до конца, возмущенно подумал: «Ведь придет же такое на ум!..» И будто не его собственный голос говорил ему, будто эти слова были того человечка, привалившегося теперь боком к пеньку, Лихов погрозил ему кулаком. И кажется, в этот момент освободился от дрожи, что донимала с утра; точ-

но: не дребезжат зубы, он собран, весь слит воедино, как перед прыжком в ту немецкую бричку, запряженную битюгом.

К началу атаки — ее возвестила красная кровяная ракета, выписавшая над полем боя крутую дугу — он уже чувствовал себя легким и ясным, когда все слышно, все видно вокруг: справа, пригнувшись, отчего голова опустилась ниже хребта, бежит Елсуков, слева — тот человечек, бежит тоже, а не ползет, и даже конец ремня не волочится, заправлен; народу же по обеим сторонам больше и больше, кусты впереди, правда, редуют; хлопки выстрелов раздаются чаще и чаще, и справа и слева, они как бы поддерживают тебя, и уж не дает сойти с половички команда: «Вперед!»

И Родион, все видя и слыша, правда, слыша и видя сегодняшнее, ближайшее, ничего дальнего, прошлого, ни дома, ни семьи перед ним не было, торопливо бежал; кончились бледно-зеленые ивовые кусты, начали вырастать и сразу обрушиваться другие кусты, черные, с огненными цветами, — люди начали приотставать и ложиться; уронил себя перед корявой валежиной и он, Лихов. А черная, в огненных цветах роща все гуще, непроходимее, — это стреляли немецкие шестиствольные минометы с того берега Селигера, и мины падали с визгом, уханьем, треском. Уже трудно глядеть в сторону рощи, она застилает черным глаза, выжигает их огненно-красным. Еще немного и — все, полетишь в бездонную пропасть, вечную пустоту.

Но конец с его бездной и пустотой, казалось, неизбежными, почти что желанными, не наступал. Родион слышал уханье взрывов и видел небо над головой, причем чувствовал — удивительно! — небо делалось просторнее, обнаженной, утренняя голубизна даже над полем боя проливалась до самой земли, пальба же, затеянная фашистами, утихала, черные с красным кусты взрывов возникали реже и реже. Зато в другом месте все сотрясалось от взрывов. По ту сторону озера! Там стоял выше леса дым, сквозь него пробивался огонь. Туда, по вражеским минометам, накрывая их, была артиллерия, наша. Не те две или три туберкулезных пушчонки, а настоящая артиллерия, бог войны.

Когда поле боя очистилось, можно было разглядеть местами разрушенный черный земляной вал, за которым

укрывались десантники, откуда-то появился комбат Чу-праков, Родион увидел его впереди себя, без того высокого, да еще привставшего на носки, с пистолетом в руке.

— За мной! — взорал он пронзительно. — Там и есть-то их полторы калеки. Вперед!

Неожиданное его появление, да еще при неожиданном прекращении минометной стрельбы так подействовало на бойцов, что все поднялись, вся рота, вся цепь, оказывается, растянувшаяся на полкилометра и охватывавшая позицию десантников полукружием. Родион заметил, что одновременно с ним побежали, обгоняя комбата, соседи справа и слева, неповоротливый вроде бы, а проворный на ходу Елсуков и тот тверской, Павел, он бежал вприпрыжку и что-то кричал, что-то звонкое и тянучее. Вся цепь несла впереди себя неразрывное, разраставшееся вширь и ввысь «А-а-а!». И это мощное «А-а-а!» каждого убеждало, что он не один, сплывало всех и устремляло вперед.

Немцы-десантники, лишившись огневого прикрытия и увидев атакующих русских, явно растерялись и не сразу открыли стрельбу. Да и стреляли поначалу робко и неуверенно, будто раздумывая: «А надо ли? Стоит ли?» Они ж понимали, накатывается лавина, несдобровать.

А лавина подавляла их одним своим несмолкаемым «А-а-а», перекатывавшимся через земляную заграду. Кроме того, пехотинцы азартно стреляли. Родион глянул влево от себя: останавливаясь, прицеливаются и бьют; даже коротышка сосед норовит поднять винтовку на уровень глаз; поглядел в правую сторону — встают на коленки и торопливо стреляют. Только не Елсуков, его не было. Ранен? А может, убит!.. Но и эта страшная мысль в голове держалась недолго, надо было стрелять: впереди из-за комьев черной земли высунулась крутолобая каска десантника. Он, Лихов, привстал на колени и вскинул винтовку. Попал или не попал в немца, в ком земли угодил, разлетелись по сторонам черные брызги.

Десантники начали отбиваться злее, отчаянней; у них были автоматы, и они могли строчить и строчить. Они уже выхлестали средние звенья в живой цепи. Но фланги были целы, они уже зацепились за взрытую



землю на линии обороны и притягивались друг к другу, смыкая кольцо.

Лихов оказался ближе к левому флангу; у него теперь была одна цель — тот немец за гребнем черной земли, то ли раненный, то ли убитый, раз больше не появлялся; и раз он убит или ранен, значит, можно и пужно спешить. Родион перемахнул через земляной вал и тотчас увидел своего избранного в лицо: стоя на корточках, тот обматывал белым бинтом шею. Не раздумывая, Лихов всадил в него штык и с остервенением и какой-то незнакомой ранее сладостью пришил немца к земле. Поискал глазами, где они тут еще, но больше не нашел чужих, в мышинного цвета мундирах, были только в гимнастерках, свои. Так и стоял, пришивив немца и озираясь.

Сбоку подошел, припадая на правую ногу, комбат Чупраков.

— Что, Лихов, не хватило маленько войны?

— Пожалуй... — Родион выдернул из бездыханного тела винтовку и приставил к ноге.

— Еще хватит. Думаю, хватит. Целый и невредимый?

— Если не считать, что остервенился.

— Не считать. Меня ранило, и то не считать. Елсукова придется считать выжившим из части: убит.

— Вот же!.. — простонал Родион.

И под вечер он хоронил товарищей по стрелковому батальону. Их клали рядами в общей могиле, выкопанной на берегу озера Селигер. Елсукова положили в верхнем крайнем ряду. Всех закрыли шинелями. Могильный холм получился широкий, посередине — деревянный обелиск с множеством надписей. В край холма Родион воткнул ореховую палку и повесил на нее пилотку друга с красной звездой.

# Жизнь четвертая

## 1

Родион еще издали заметил, что на площадке его монтажной бригады, возле крайней, только что водруженной колонны, митингует какая-то женщина. Электросварщики, строповщики, каменщики, плотники в черной робе и промасленной брезентухе — и, невысокая, стройная, в голубой вязаной кофточке, заправленной под синюю юбку, она. Кажется, из управления треста... Точно, главный сварщик треста Лидия Вениаминовна; Витаминовна, как ее окрестили при посещении стройки в прошлом году. Тогда она критиковала бригаду за низкое качество сварки. Теперь, похоже, дает не усвоившим урока разгон. «Вон-вон как прет острой грудью вперед. Это занимательно, — подумал Родион, — молодая красивая женщина дает разгон мужикам».

Когда подошел ближе, расслышал каждое слово по-московски акающей Витаминовны:

— ...А если обрушатся перекрытия... Если разойдутся вдруг швы?.. Вы отдаете себе в этом отчет? — Теперь она стояла, подперев бока, перед сидевшим на корточках и ежившимся под брезентовой робой дежурным сварщиком, новичком в бригаде, парнем с усами. — А вы, юноша, знаете, что перед тем, как варить, нужно убрать с металла всю смазку? Вас этому обучали?

— Ну, говорил кто-то, — стрельнули в одну сторону, потом в другую усы.

— Почему не убираете смазку?! — властно требовала представительница треста. — А это, это здесь поче-

му? — Узким носком черной лакированной туфли она потыкала в основание колонны. — Сперва бетонируют гнездо, потом ставят колонну и прихватывают электро-сваркой. Вам это известно?

— Известно...

— А почему приступили к работе, если не готово гнездо?

— Ну, услышал: «Сварщик, сюда!» — подбежал и начал прихватывать с каждой стороны на два штыря.

— Скажут: «Бейтесь лбом и затылком в стенку!» — будете биться?

— Не знаю... Вон идет из прорабской бригадир, спросите его, он скажет. Обо всем скажет.

— Бригадир отвечает за свое, вы за свое.

— В чем дело? — подойдя, спросил Родион.

Витаминовна скосила на него глаза, голубые, под цвет кофточки, и вскинула их на самый верх четырех-гранника железобетонной колонны.

— Придется переставлять. Кстати, она держится не вполне прямо. — И пошла без оглядки, перешагивая ссохшуюся бетонную крошку и беспорядочно лежавшие провода.

Все глядели ей вслед, на высокие каблуки ее туфель, блестящие лаком, на обтянутые тонкой вязью чулок, тоже поблескивающих на солнечном свете, точеные ноги, смотрели молча, замороженно и, только когда Витаминовна скрылась за штабелем кирпича на поддонах, прорвались:

— Указчица! Много их приходит указывать!

— «Почему не убираете смазку?» — осмелел теперь и сварщик-усач, раздувая свои пушистые, легкие усы. — А что она не сгорит?!

— А гнезда, гнезда можно бетонировать раньше и позже, — поддержали его, — ничего не случится.

— Ничего страшного не случится, велики ли колонны. Что в них, тысячи тонн? А эта...

— ...«Она держится не вполне прямо»! И тут соринку нашла!

— Придирки, одно слово, придирки! Небось когда к сдаче объект, не придираются к мелочам. Там другое слово: «Давай!» Лишь бы уложиться в сроки — давай! Тут не к сдаче, тут можно и покуражиться. Как думаешь, бригадир?

После того как Витаминовна приказала переставить колонну и так демонстративно ушла, и Родион был склонен считать, что ничего особенного не случилось, просто гражданка решила показать, какая она облеченная властью и какой может закатить подчиненным кураж.

— Думаю, что кураж и придирки.

— Точно! Разыгрывает из себя большое начальство, слушайся ее и помалкивай, получил указание — выполняй.

— Начальство, оно не может без указаний, на то оно и начальство. Но эта могла бы и проще, не закатывать выше колонны глаза, не задирать нос.

— И какое мнение твое, бригадир?

— Что будем делать?..

— Ломать! Сварщик, берите в руки резак!

В первый момент никто не тронулся с места, так были удивлены решением бригадира, будто бы разделявшего их общее мнение. Не менее их удивился своему поступку и Лихов: так искренне возмущался куражом смазливой гордячки и вдруг не менее искренне признал собственную вину и вину монтажной бригады, допустившей все-таки брак. Да только дай себе и другим спуск, как все повторится завтра и послезавтра!

Люди тем временем мало-помалу зашевелились, ворча, что ими помыкают кому только вздумалось, а они — выполняй приказание и молчи. Но постепенно задвигались энергичнее, окружили колонну, и кто-то подставил к ней доску-упорину, и сварщик-усач, вооружаясь резаком, начал быстро снимать с бугелей ранее приваренные штыри; загляделась на кого-то или на что-то внизу крановщица, жена юного усача, он снизу показал ей кулак; и вот уже спускается крюк со стрелы, накидывает на оголовок колонны удавку...

К концу смены злополучная колонна стояла как штык. Монтажники, столько ворчавшие поначалу, расходились по домам в приподнятом настроении. Родион чувствовал, все в нем ликует. Он и ранее, бывало, испытывал это чувство, когда удавалось переломить свое упрямство, упрямство других и сделать что-то нелегкое, но важное, нужное. По случаю праздника на душе решил проехать и пройти домой центром города, может быть, что-то купить.

Очередь, поначалу жидкая, в одного человека, и сонная, наподобие тихой степной речушки, раздалась вширь и в длину и теперь бушевала, как река в половодье, готовая все разворотить на пути. И откуда набегало людей, вроде и день будничный, и час не скажешь, что неурочный, все на службе и на работе; да и погода такая — духота, зной, только валяться где-нибудь в затишке. Тут же, как в жарко натопленной печке, не случайно в три ручья пот.

Родион обтирал платком шею, лицо, а промокли и подмышки и плечи. А сзади и с боков напирали; и орала магазинная очередь женскими пронзительно-звонкими голосами — тут были почти одни женщины, — надо было убежать от одного их крика и гвалта и, конечно, сгореть от стыда: стоит в очереди... за женскими комбинациями. Голубые, розовые, сиреневые, они были развешаны над прилавком и слепили глаза.

Родион крепился, не убегал. Не убегал седенький старичок, аккуратный, во всем аккуратном, державшийся за спиной. Он не кричал, как другие, но капал, методично капал ему, Лихову, то в правое, то в левое ухо:

— А впереди лезут... Без очереди... Вон-вон та особа... с волокнистыми буклями... — И все шевелился позади, егозил. — Вы бы, товарищ бывший военный... поскольку в гимнастерке и с орденами, медалями, навели бы какой-то порядок. Не желаете пачкаться? В таком случае выйдем из магазина ни с чем.

Родион встряхнулся, звякнув медалями.

— Ни с чем так ни с чем!

— Ах, так вас интересуют покупки! — укорил его старикашка. — И так вы, стало быть, любите вашу жену... или не жену, не знаю, для кого собираетесь покупать! Мне-то не для жены, не для дочери — внученьке. — И когда Родион встал к нему боком, воскликнул: — Да я же вас знаю, дорогой мой! Я видел ваш, извините, портрет. Снимали вас в областную газету?

— Ну, было, — ответил нехотя Родион. И чего прилепился старик, завел разговор о газетном портрете?

— Еще были там какие-то фермы, — продолжал настырный дедок, — на их фоне с цепями на плечах — вы. Снизу подпись: такой-то, фамилия, имя и отчество. Скажете, я ошибаюсь или вру?

— Ничего я не собираюсь вам говорить.

— Вы, вы! Там вы очень похожи. И еще там упоминалось...

Но в это время задние так надавили, что очередь зашаталась, кое-кто отлетел в сторону; Родион едва устоял на ногах, вместе с коренными очередниками его протасило вперед и прибило к прилавку, там он ухватился за металлический прут ограждения. Удержался возле него и узнавший его старичок. Продолжать разговор он не смог, спереди и сзади галдели. Но когда поравнялись с продавщицей, девушкой в черном поблескивающем халате, выбрал момент, сообщил ей:

— Это наш знаменитый монтажник и заслуженный фронтовик, был снимок в газете. Не видели?

— Нет.

— Чуть не на половину страницы.

— Может, только на четверть? — буркнул Родион. — И какое это может иметь значение здесь, в магазине?

— Конечно, конечно, — подтвердила с улыбочкой продавщица и все-таки в лоскут серой бумаги завернула не две комбинации, как другим покупательницам и покупателям, а три, разных по цвету, на три выписала талон. И никто ее за это не упрекнул. Родион покивал ей смущенно, выбираясь из очереди. Потом торопливо платил деньги и получал покупку в контроле, быстренько уходил, опасаясь, что разговорчивый дед догонит и ухватится за рукав, продолжит свои откровения.

Вообще-то Родиона не смущало, что его замечают, о нем говорят, он гордился работой бригадира-монтажника и уж редко держал взаперти боевые награды — это была гордость фронтовика, прошедшего через всю Отечественную войну. В последнее время он не снимал с себя гимнастерку, сохранившуюся после демобилизации сорок пятого года, с гимнастерки не снимал ордена и медали, потому что ему частенько приходилось выступать как фронтовику перед молодыми строителями, кроме того, на профсоюзных собраниях — он был членом объединенного построикома, и его Шевченко прочил в председатели. Иногда собрание завершалось небольшим банкетом. И повсюду — цветы и аплодисменты. Сказка, думал Родион Лихов, не жизни!

Вот идет он по широкому, в пышных яблонях и каш-

танах, проспекту большого южного города, о котором до войны и не знал, что он существует в природе и помечен на карте, а город этот — его: он освободил его от фашистов, пролил за него кровь, а теперь восстанавливает разрушенное, главное, его черную металлургию. Здесь не знают Лихова разве малые дети. Потому что газеты про него пишут, радио говорит. Идет, как сегодня, по улице или едет в трамвае, а за спиной перешептываются: «Это он! Он тогда первым ворвался и водрузил флаг». Да что хвастаться разговорами, вон бежит наискось через улицу старушонка с авоськой, кого она хочет догнать? Да его, Лихова. Это заведующая детским садиком Половинкина Евгения Евгеньевна; ей нужен не кто другой, Лихов. Позарез! Потому что должность заведующей садиком есть, а самого садика нету, надо еще добиться ассигнований, построить. А кто может помочь? Лихов. Евгения Евгеньевна уже говорила об этом, вот сейчас встретятся, повторит.

— Родион Аверьянович! Родион Аверьянович!.. — Она проскочила вперед и поставила на тротуар авоську с картошкой, загородила дорогу. — Здравствуйте, Родион Аверьянович. Как жизнь? Что нового на строительстве? — И не ожидая, что ей ответят (такой была она заполошной), застрекотала, как швейная машинка: — А у нас-то, у нас с детским садом: решение о строительстве вынесли, постарался предпостройкома Шевченко, а в титул все-таки не поставили. Надо, чтобы выделили ассигнования и занесли в титул. И тут все надежды, Родион Аверьянович, на вас.

Смешная она, хозяйка детсада, который до войны был и со временем будет, но которого пока нет. И как видно, заботливая, печется об очаге, как о чем-то своем личном. Придется помочь ей. Так он Евгении Евгеньевне и сказал, пожалуй, уверовав под ее же воздействием в свой авторитет. Да и как мог не увериться, если по всему заводскому району города висели портреты фронтовика и ударника, с которых глядел на белый свет он.

«Но полно, полно об этом! — осадил себя Родион. — Так и зазнаться недолго». А он вроде никогда носа не задирает. Особенно-то. Поменьше надо думать об успехах и достижениях. И уж не хвастаться, что дали квартиру с удобствами, вполне мог бы жить и на старой, в

стены не дуло, с потолка не текло. Другие живут куда хуже; тот же Чупраков ютится во времянке, слепленной из битого кирпича, а он — коренной житель этого города и тоже строитель и заслуженный фронтовик. Да и не только в квартире человеческое счастье, не в одних званиях, почестях, должностях; вон цари жили в теремах и чертогах, а поголовно счастливые были? Счастье человека рассеяно, его сразу и не заметишь, оно и в придорожной былинке может для тебя быть, и в солнечном лучике, дотянувшемся черт-те откуда. Есть счастье в маленьком, будет оно и в большом!

Родион поднялся на третий этаж своего нового дома и рванул на себя дверь. Заперто. Пришлось доставать из кармана ключи. Пока открывал замок и дергал на себя дверь, нажимая на нее коленом, кое-где сбил свежую голубоватую краску. Ну и черт с нею! В прихожей, правда, чтобы не грязнить пол, содрал с ног сапоги, пошел далее в одних нитяных, домашней вязки носках. Аля была в спальне, перебирала кое-что выстиранное, положил перед нею бумажный пакет.

— Тебе лично.

— Что это? — удивленно спросила она. А быстрые руки ее уже раздирали обертку. — Ай! — вскрикнула Алевтина, будто она обожглась, наткнувшись на розовое. — Это ты где, Роденька, взял? Это как тебе удалось?

— Шел по городу, заглянул в один магазин — продают, достал из кармана деньги — купил.

— Так просто?

— Ну, не совсем...

— Думаю, что не так просто. Красивые! — Алевтина уже несла покупки к кровати, расстилала поверх белого тюлевого покрывала и, чуть касаясь мизинцами, разглаживала податливые, веселые складочки. — Все три с аппликациями! Я еще никогда не носила таких.

Ну вот, много ли надо человеку для счастья! Родион подошел к жене со спины и положил ей на плечо подбородок, шевельнул дыханием свисавшие волосы.

— Нравятся?

— Еще бы не нравились! Особенно розовая. — Алевтина держала ее осторожно за бретельки и, развернутую, прикладывала к груди. — Прелесть!



— Будешь надевать для примерки?

— Зачем? Я и так вижу, размер мой. Точно.

— Примерь...

Голова Алевтины начала медленно поворачиваться; подбородок мужа соскользнул с плеча, и вот они уже смотрят друг другу в лицо, жена испытующе щурясь, муж смущенно опуская глаза.

— Ты это что, Роденька? Что ты надумал? — Алевтина легонько хлестнула его скользким розовым по лицу. — Вон звонит телефон, иди, слушай, наверное, опять приглашают где-нибудь выступать.

Звонили со стройки. Начинал говорить звеньевой из вечерней смены его, лиховской, монтажной бригады, теперь трубку взял парторг на строительстве прокатки Чупраков, он просил ненадолго приехать.

— Случилось что-то? Особенное?.. — насторожился Родион. — Не особенное, а все же звонишь. Ну ладно, приеду, — пообещал с неохотой. И начал сразу же собираться: натянул фуражку (тоже военную), сдернул с вешалки плащ. Надо, стало быть, надо, какой может быть разговор. Алевтина вышла проводить, она загадочно улыбалась и, казалось, подсмеивалась. — Ладно! — сказал и ей. — Еще свидимся!

Что это означало, она, конечно, поняла: «Еще свидимся! Никуда ты от меня, голубка, не убежишь!» — и наклонила голову, стягивая на плечах им же купленную когда-то газовую косынку: она и не собиралась куда-то бежать.

## 2

Случилось, и прескверное, с юным электросварщиком, тем усачом, задержавшимся во второй смене, ударил молодую жену, крановщицу, тоже оставшуюся на вахте. Кое-кто требовал собрать коллектив и обсудить драчуна. Родион настоял на своем: вызвать обоих во время перерыва и поговорить в узком кругу. А пока, пока решил забраться на верхотуру и посмотреть, как там и что, давно не был, часа два или три.

Лестница была крутая, с редкими ступеньками из кусков ребристого проката; плохо приваренные, ступеньки местами оторвались, приходилось подтягиваться на руках, хорошо, что у монтажника сильные руки. Вообще-то надо специально пройтись по лестницам со

сварочным инструментом, подправить ступеньки, еще полетит кто-нибудь из новичков вниз головой. Не дай бог, если кто сорвется! Так что возьми на заметку, бригадир: лестницы. Чтобы завтра же ни одна ступенька не болталась, не показывала оторванным концом, что до земли столько, что можно вытряхнуть из себя душу, не долетев.

На площадке, высланной листовым железом и заваленной электродами, выпиравшими из бумажной обертки, кабелем, кое-как собранным в мотки, еще не на самом верху, а в средней части сооружения из металлических ферм, балок, укосин, Родион остановился перевести дух да и задохнулся еще больше: столько тут вздыблено железа и стали! И это только штрихи будущего прокатного цеха, его ребра. А литейный почти в полной готовности, празднично поблескивают свежепокрашенные суриком крыши. Дальше литейного — ТЭЦ. Ее высоченные трубы еще не дымят, но держат строй точно, величественно.

А когда-то здесь все было порушено, исковеркано, груды битого камня и скрученного железа заволакивал дым. Горел город, горели заводы, это было осенью сорок третьего года. Не надеялся тогда стрелок-автоматчик Родион Лихов выйти живым из огня. И уж, конечно, мысли в голове не держал, что вернется в этот город, будет строителем. А вот довелось.

С верхней точки будущего прокатного цеха Родион разглядел и пригороды, зеленеющие садами, и скверы, и реку, ее синеватое стремя в серебряных искрах предзакатного солнца. А вот той памятной точки на противоположном берегу широкой реки, где они тогда спускались к воде, начиная форсирование — там стояла церквушка, — из-за левой тэцовской трубы видеть не мог, труба загораживала церквушку. Чтобы узреть ее, надо пройти меж двумя серыми, из бетона, колоннами по металлической балке, что положена их монтажной бригадой накануне. И Родион взобрался на балку, лег на нее животом. Огляделся вокруг: вторая смена работает, но люди, все люди значительно ниже, одни принимают конструкции, поднесенные кранами, другие корпят над сваркой, прикрывшись щитками от ослепляющих даже на расстоянии искр. Каждый занят своим — вряд ли заметит. Можно пройти!

Когда встал во весь рост, держась за ребро колонны, еще думал: а надо ли? Это Ялову там, на войне, понадобилось перевести по лавам Елсукова, лейтенант рисковал своей жизнью. Но то был оправданный риск, благородный. Какая нужда, какой смысл в риске этом! Но правая нога, не слушаясь его, уже сделала шаг, потянула за собой левую ногу. Спокойно, бригадир! Ты же можешь спокойно, не торопясь. Ветра на высоте нет, не может помешать, ширина балки такая, что уместится не одна ступня, две, так что пройдешь. Только балансировать осторожно руками и не глядеть в пропасть, на самое дно, только — под ноги, стараясь не запинаться о неровности металла, не ловить даже краешком глаза где-то и что-то движущееся или колеблющееся, постараться выключить слух, чтобы не наткнуться на чей-то дурашливый вскрик. И быть в то же время готовым, что колебнется воздух, долетят какие-то звуки, мелькнет что-то перед глазами, — полная власть над собой. Ты же можешь властвовать, Родька! И, бывало здесь же, ходил, правда, не на такой высоте и на более короткое расстояние. А в детстве — припомни-ка! — лазил на кедры, нисколечко не боялся. На фронте, был случай, подобрался к немецким траншеям по вытяжам лепехам противотанковых мин. Но — ничего прошлого, одно настоящее, сиюминутное, это! Перешагнуть заусеницу в левой стороне балки... Даже не шаркнул подошвой, перешагнул! Чутьочку наклониться в правую сторону: откуда-то немного подуло... То, что где-то сигналит грузовая машина и кто-то кого-то ругает, его, Лихова, не касается, у него задача — пройти. И он уже прошел более половины. Три четверти!.. Еще десять—пятнадцать осторожных шагов, и можно крикнуть, пусть негромко: «Ура!»

Неожиданное произошло, когда до цели оставалось три-четыре шага: снизу, из-под ног ударили мощно искры электросварки и ослепили; рука Родиона инстинктивно потянулась к глазам, чтобы протереть их, освободить как-то от наваждения, и в это время он потерял равновесие и закачался. Правда, качка продолжалась недолго, он пересилил себя и, слепой, отыскивая под собой балку ощупью ног, стал пробираться вперед, наткнувшись же вытянутыми руками на шершавый бетон, рванулся к колонне всем занемевшим в напряжении

телом, обнял ее. Он готов был целовать ее, милую, она спасла его жизнь. Нет, он сам, как бывало на фронте, преодолел страх и опасность и победил! И стоило пройти над пропастью не по балке, по проволоке, чтобы почувствовать себя вознесенным и победившим, это для человека как глоток живой воды. Он глядел вниз, теперь уже в самую пропасть, на ее дно, где копошились машины и люди, видел вдалеке зеленые пригороды, синеватый, весь в солнечных блесках речной плес, кирпичную боковину той церквушки на возвышении противоположного берега и все это — не одну колонну — дружески обнимал, обнимал всю весеннюю землю, весь земной шар.

Но, спускаясь по лестнице, Родион подумал и подругому: вполне можно вознестись и упасть. Судьба играет человеком, — так и в песне поется. Но вот хочется и человеку поиграть со своей, добрячкой или злодейкой, судьбой. Играет, делая глупости. Бригадиру монтажников втемяшилось в голову пройти над стройкой по балке, испытать свои нервы и мускулы, а электросварщика-усача ожалила зеленая муха, он бросился с кулаками на молодую жену. Но ни бригадир Лихов каждый день по балкам не ходит, не испытывает себя, ни усач не дерется с женой ежедневно, даже не было ранее случая. Так надо ли их судить строго? Обязательно ли вызывать усача, одного ли, с женой ли, в прорабскую и ругать? Может, он сам себя укоряет, казнит. Даже наверняка! Ну и ограничиться тем, что побеседовал с ним парторг.

Так Родион и сказал через несколько минут Чупракову, и тот согласился. Не стали возражать ни начальник участка, ни председатель цехкома, ни звеньевой. Председатель объединенного постройкома Шевченко имел особое мнение. Еще не переступив порога тесовой прорабской, он требовательно спросил:

— А где остальные? Где тот, кого мало обсуждать, надо судить?

— А мы его отпустили, — сказал Чупраков. — Ушел вместе с жинкой.

— Как это, отпустили? И кто это «мы»?

— Мы. Значит, я, — Чупраков приложил руку к груди, — бригадир монтажников, — он кивнул в сторону Родиона. — Видите ли, Григорий Тарасович...

— Ну, что вам «Григорий Тарасович»! Я давно Григорий, более шестидесяти лет, и отвечаю за всю стройку, а вы... И все-таки вы отменили решение Григория Тарасовича, подвели его. Я спрашиваю тебя, Чупраков, почему? — Невысокий ростом и кряжистый, он таки перевалился через порог и подступил к Чупракову вплотную. — Как вы могли?

Тот стоял перед ним, приложив руку к груди и согнувшись в дугу, и Родион, глядя со стороны, пожалел его, не потому пожалел, что на того напустился несправедливо председатель объединенного стройкома, пожалел, что прежнего Чупракова, человека сильного, бодрого, давно нет, после многих ранений он сдал, постарел и согнулся, даже в голосе его что-то слабое, старческое, и только в минуты волнений он мог еще несколько выпрямиться и свести мощно широкие брови или вскинуть решительно голову, как там, на войне, и резануть словом без пощады, сплеча. Пока держался за сердце и сдерживал себя.

— Мы не собирались вас подводить...

— Я сказал ему, чтобы он после работы остался, вы сказали: «Иди, парень, домой». Это не подвох с вашей стороны? Не подрыв авторитета профсоюзного руководителя?

— И об авторитете не думали...

— Это верно, не думали. Не хватило политического чутья.

— Поговорили между собой: парень он вообще-то хороший, допустил ошибку, исправит без вмешательства со стороны.

— Ошибку!.. — едко усмехнулся Григорий Тарасович. — Парень допустил ошибку, ведь как безобидненько! А в какой обстановке он ее допустил, учитываете? Не улавливаете политический смысл? Хотя вы и парторг?..

— Нет, — откровенно признался Чупраков.

Родион тоже ответил бы: нет. Весь смысл происшествия, объяснил бы он, в том, что молодой муж ударил молодую жену. Нехорошо получилось, позорно. Но так и выставлять на общее обозрение позор? Человека обсудили бы в узком кругу (пусть в узком), из узкого слух распространился бы до широкого, обсужденный пришел бы домой и опять с кулаками к жене:

«По парткомам-профкомам ходить, жаловаться?..» Уж если повторится у них, придется выносить на собрание, может быть, общее, пока хватит того, что поговорил с ним парторг.

— Не улавливаете? — допытывался у того Григорий Тарасович. Он стоял перед Чупраковым, руки на поясе, глядел снизу вверх, не мигая. — И вы, Родион Аверьянович, — обернулся он к Лихову, — не улавливаете тоже? Нет?

— Нет.

— Ай-яй-яй!.. А еще завтрашняя моя смена. И наша рабочая совесть и честь! Воевал отважно с фашистами, несчетно раз награжденный!.. Возвратился к мирному труду и опять подаешь людям пример, вон твоя бригада опередила на целый год пятилетку!.. Да профсоюзная масса ждет не дождется, когда за тебя руки поднять!.. И в это самое время один из твоих подчиненных, грубый и безответственный человек, бросается с кулаками на жену свою, тоже члена бригады, то есть допускает аморальный поступок; его тень падает... на кого?

— Не знаю, — сказал Родион.

— На товарища Лихова. И где, какая гарантия, что человек, поднявший руку на жену, не имел целью скомпрометировать больше тебя? Вот, мол, народ, люди, что творится в прославленной монтажной бригаде, у прославленного в труде и бою товарища Лихова. Безобразие!.. Теперь, Родион Аверьянович, думаю, ясно, что при нашем общем недосмотре произошло, какой факт, в окружении какой, так сказать, ситуации?

— Нет.

— Что значит «нет»?

— Не ясно. Вы что-то преувеличиваете.

— Да, да, Григорий Тарасович, — поддержал Лихова Чупраков, — несколько сгущаете краски в отношении того человека. Ну какая у него, к лешему, цель, бросать тень на своего бригадира. Просто, чудак, приревновал к кому-то в бригаде жену, ударил ее сгоряча. Мало ли бывает меж молодыми людьми...

— Между мужем и женой, — вставил Родион.

— Поругаются муж и жена, раздерутся, и мы должны всем коллективом их разнимать? Лезть в их души с руками и ногами?..

— Муж и жена — одна сатана?! Так думаете? — Григорий Тарасович оглядел упрямых спорщиков попеременно с укором и сожалением: не понимают. — Конфликты и трения!.. Обыкновенко!.. И если вдруг возникают конфликты и трения, нам позволительно проходить стороной? Не разбираться в их сути? Смотри, Родион Аверьянович, тебя же намеревался оборонить, постоять за твое доброе имя. А ты, оказывается, можешь рассудить: просто человек человека ударил. А где ударил, на базаре или в бригаде передовиков, в какой момент политической жизни, вроде и не имеет значения. И сам, случается, допускаешь поступки, не думая о значении. Забрался на верхотуру и пошел без предохранения по балке, — не ребячество, скажешь? Ребячество! И думаешь, снизу не видно? Люди все видят! Оценивают! А часом раньше, видел народ, ты толкался и прел в магазине...

— Я там, в магазине, что-то украл?

— Украсть не украл, нет, но, понимаешь, дорогой, не солидно, обкрадываешь себя. Защищать хулигана, мягко говоря, опрометчиво. Это я тебе по-дружески, Родион Аверьянович, говорю, чтобы в дальнейшем... — Григорий Тарасович не договорил, потянулся к зазвеневшему у него под рукой телефону и поднял трубку. — Лихова? Здесь. Что, что? Так... Так... Сейчас скажу, соберется и выедет. — И уже Родиону, с предосторожностью опуская трубку на рычаги: — Сверху телефонный звонок. Предлагают выступить на строительстве ТЭЦ. Не по нашей линии, не профсоюзной, а встреча рабочих с героем войны. Не возражаешь?.. Тогда бери мой вездеход и дуй на квартиру, переодевайся и тем же часом туда. Набирайся авторитету!.. А о тех словах моих, Родион Аверьянович, все же не забывай, я предостерегал тебя, пекся о тебе же самом.

### 3

На собраниях, когда приходилось выступать с речью, Родион Лихов обычно чувствовал себя непринужденно. Домой возвращался бодрым и окрыленным. А перед тем как пойти и поехать куда-то, тревожился. Из-за чего, почему? Вот подрагивает что-то внутри, никакого слада между сердцем и головой.

Это повторилось и сегодня, потому Родион упросил поехать вместе с ним друга своего, однополчанина бывшего, Чупракова. При огнях уже они вместе подкатили к клубу строителей ТЭЦ, бок о бок нырнули под крышу временного неказистого помещения; Родион прошел сразу на открытую сцену, в президиум; Чупраков остался в зрительном зале.

Народ в клубе собрался горластый, Родион едва сообщил, для начала, что он тоже строитель, работает по соседству, только начал обрисовывать итоги Отечественной войны, как с задних рядов закричали:

— Мы это знаем! Мы грамотные!

— Ты давай про свою войну! Про свою!..

— Точно, где с немцами воевал? За что дадены ордена? — надрывался хриловатый голос с галерки. — Который достался дороже?!

Вот это Лихову нравилось — о своем и, конечно, своими словами, не заглядывая в подготовленную бумажку. А то пока разберешь свою писанину, пока продерешься к себе самому, уже сыт, не хочется говорить.

— А у меня самая дорогая награда не орден. У меня самая дорогая — медаль. — Родион дотронулся рукой до крайней в ряду, ближе к середине груди. — Вот эта.

— «За отвагу», что ли?

— Она.

— Давай про отвагу!

— Это было в сорок втором, в феврале. Уже под Москвой битва прошла, отогнали фашистов, уже взяли севернее — Калинин и южнее — Калугу, подошел черед действовать нам, на озере Селигер. Я в ту пору служил в отделении разведки; командиром стрелкового батальона был старший лейтенант Чупраков. И вот получает он приказание самого командующего Четвертой ударной армией генерал-полковника Еременко — теперь маршал, — чтобы выделил двух разведчиков попроворнее, идти на задание, переводить ночью по замерзшему Селигеру батальон лыжников во вражеский тыл. Выбор пал на меня и еще одного рядового. Говорим: «Есть!» И мы ходили не раз для тренировки вдвоем — ничего. Там была одна горловина опасная, по сторонам — немцы, иной раз стреляли. Но проскочишь горловину и хоть запевай песню — никто не услышит:



ледяная пустыня, выходи на вражеский берег, никто не заметит, потому что кругом лес, глушь.

Но мы ходили вдвоем, а тут целый батальон. Ничего, пошли сами и повели. В двенадцатом часу ночи. Мигаем зеленым светом фонариков по колонне — путь свободен, опасности нет. Да люди в батальоне были такие, еще не нюхали пороха и не умели маскироваться и соблюдать осторожность, кто чихает, кто кашляет, один хлопнул лыжами, другой поскользнулся и хлопнулся, а вместе получается шум, что беда, просто беда.

Думаю, немцы по краям горловины услышат движение и откроют огонь, перебьют и потопят ребят да еще всполошат всю округу, сорвут замысел командования. А замысел был — бросать в тыл лыжные батальоны, громить фрицевские штабы, потом смело переходить в наступление по всей линии фронта. И вот кое-кто не умеет блюсти тишину. И командиры рот и взводов не могут совладать с шалопаями. Чтобы насторожить как-то народ, может, немного и припугнуть, по уговору с их начальником штаба, я даю по колонне вместо зеленого цвета предупреждающий об опасности красный; командиры рот мой сигнал продублировали. Чувствую, замирает колонна. Прямо-таки исчезает во тьме. Да на короткое время. Стрельбы-то со стороны противника нет, люди считают, ошибка. И опять — кашель, чихание, будто простудились всем батальоном еще по дороге на фронт.

Шумы начали утихать без команды при подходе к лежавшей впереди горловине. Я достал из кармана часы на цепочке, поводил зажженным фонариком: до линии фронта два километра пути, там должна быть известная только разведчикам вешка: вставленная в ледяную расщелину кисточка камыша. Только бы дотянуть до нее! И все, у кого были часы, тоже поглядывали на них, осторожно мигая фонариками, высчитывали время и вымеривали расстояние. А сами двигались осторожнее, осторожнее. Кажется, и лыжи не задевают о снег и об лед, проплывают по воздуху. И боже упаси — кашлянуть. Да ни у кого и потребности такой нет. Вот что делает с человеком опасность!

Тишина. Только и слышно, посвистывает под ногами поземка. А темень ночи не очень густая, будто разбавленная. Впереди проступило из мглы что-то черное, ка-

кое-то пятно. Та наша вешка. Я подбежал к ней скорее других и потрогал голой рукой: мягкая, ласковая. Поздоровался вроде. И одновременно попрощался: до встречи на обратном пути!

Чуть слышно поскрипывают лыжи и лыжные палки... Так прошли еще полчаса, уже следующих суток, и вдруг — для нас, проводников, это не было вдруг — уперлись в темный, нависший над озером берег. Миновали Селигер, вновь достигли земли! Кто-то из ловких вскарабкался по крутому откосу и встал над обрывом. «Братцы, лешище и снег! И точно нехоженые!»

Значит, явной опасности нет. И тогда все, теперь уже всем батальоном, в сотни ртов, глоток, носов закашляли, зачихали и засморкались. И кто-то уже мурлычет веселый мотив, и вспыхивают огоньки папиросок. Только нам двоим ни курить, ни кашлять или чихать было некогда, пока не выкатилась на небосвод, не прорвалась сквозь тучи луна, надо возвращаться в Осташков. А впереди еще та горловина, где вполне могут встретить огнем.

Но ничего, прошли злополучное место. Возвратились. А луна все не вылупливается из облаков, и нам второе задание: опять вести лыжников через Селигер, целых два батальона. Мы и с этими благополучно прошли. На обратном пути остановились возле своей вешки посреди горловины, присели на корточки, товарищ мой и говорит: «Теперь, Лихов, считай, что мы дома, а третий раз на задание никак не пошлют, скоро рассвет, давай выпьем свои фронтовые». По залу, до этого тихому, пробежал легкими вспышками смех. Говорю: «Возражений с моей стороны нет». Мы быстро открыли баклашки, он мне наливает в манерку, я взаимно ему. Лью и булькаю. Он: «Тише, услышат».

— Ха-ха-ха! — уже треснул во множестве мест переполненный зал.

— Говорю: «Пусть слышат. Теперь пусть они слышат! Начнут стрельбу, убежим. Уж в двоих-то не попадут!» Но где там что-нибудь слышать с передовой, оккупанты спали и видели счастливые сны. Мы за самих себя выпили, за здоровье друг друга, за лыжников, их благополучие в немецком тылу, за сон фрицевский преспокойный. И выпили-то сто граммов на двоих, а стало тепло, весело. Отошли немного от горловины и запели

«Синий платочек». За «Платочком» — «Все горел огонек...». За «Огоньком» — «Славное море, священный Байкал». Так с песнями и вышли на берег в Осташкове. Тут нас встретил комбат Чупраков: «С какой стати поете? Может быть, выпивши?.. А батальоны перевели?» — «Так точно!» — говорим в один голос. «За выполнение боевого задания представляю к награде, за поведение недозволенное вблизи передовой — по наряду вне очереди!»

— От, черт! — возмущенный голос с галерки. — В бочку меда — ложку дегтя! А люди старались. Героями действительно были: с одного бока мог быть огонь, с другого огонь, посередке вода. Все сделали, почему не запеть? А он их чуть ли не в каталажку! Так и отбухали наказание?

— Не-эт, — протянул Родион. — Не до этого было, с рассветом началось общее наступление. И шли, все шли в западном направлении, через Андреаполь, через Торопец, пока не завесновали под Велижем, а там мне вручили за селигерскую операцию и за все остальное в долгом походе медаль «За отвагу», позабылся наряд.

— А комбату Чупракову командование не припомнило тот деготь? Что было комбату?..

— Комбату за операцию на Селигере и за поход был орден «Красной Звезды».

— Твоя «Красная Звезда» за другие походы?

— И о ней, что ли, подробно рассказывать?

— Давай, как получится! — уже знакомый голос. — Как выйдет, так и давай!

— Мой орден «Красной Звезды», — Родион отыскал его на груди и огладил пальцами лучики, — за Сталинградскую битву, там действовал с осени сорок второго наш батальон. Только мы шли не на Сталинград, а от Сталинграда, ближе к здешним местам. Мы тогда быстро переправились через Дон и закрепились на плацдарме, немец нас так и не сковырнул. Вот за это. «Отечественную войну» второй степени дали тоже за переправу, только через Донец. К тому времени научились быстро переправляться: выскочили из лодок на берег и скорее залезать в землю. Углубился по грудь, попробуй выковырни меня!.. «Отечественную» с золотыми лучами, первая степень, получал уже тут, в нашем городе, за его взятие. Прямо где сидим сегодня, где вы

поставили заново ТЭЦ, а мы воздвигаем прокатный, и шла в то время война. Пальбы было, и крови человеческой было, кто местные, старожилы, те знают. Я про эти события писал в областной газете. Пусть писал журналист, я только рассказывал, но, значит, известно, повторяться не стану. Добавлю, что здесь меня ранило, второй раз, сильно. Тут где-то неподалеку от старой маленькой ТЭЦ — вы-то строите вон какую громадину — было двухэтажное здание, его наша артиллерия обрушила, издали смотришь, груды битого кирпича; и в тех кирпичах засел автоматчик, не дает хода целому батальону. Комбат Чупраков одного пошлет с гранатами по-пластунски, другого пошлет — не проползут и половины, конец. Отдает приказание мне: «Ну-ка, Лихов, возле чугунной ограды!..»

— На верную гибель?

— Кому-то надо было ползти. Когда меня ранило возле решетки, Чупраков пополз сам. И его тогда немецкий автоматчик пришел очередями к земле. Уж четвертый или пятый из наших отправил фашиста на тот свет. Меня стали вытаскивать, я очувствовался, начал вытаскивать Чупракова. Что мои раны в ногах, этот был весь изрешечен пулями, из каждой дыры — кровь, надо скорее в санчасть, пока жив.

— Не помер?

— Нет, выжил. Еще воевал после долгого перерыва. На реке Висле его ранило в позвоночник, пришлось возвращаться до срока в свой город. Сюда. Живет и работает на строительстве. И даже присутствует здесь.

Какое-то время все в зале оглушенно молчали, будто не могли понять сказанного или что-то вразумительное сказать, а потом заговорили одновременно:

— Так давайте за стол и комбата!..

— Комбата Чупракова в президиум!

— Чупракова!..

— А-а-а!..

Чупраков привстал в первом ряду и, неловко обернувшись к залу, благодарно поклонился; он думал отделиться этим, а люди не переставали кричать: «На сцену! За стол!» — волей-неволей пришлось подчиниться, идти. Некогда прямой и высокий, он шел к сцене и поднимался на сцену, согнувшись и скосив голову к правому, излишне поднятому плечу: пули, прошившие

его с головы до ног, сделали все, чтобы человек если и встал с земли, так не распрявился и рос бы до времени вниз. Видя его такого, люди старательней хлопали, чем некоторым другим. Родион не обижался. На что было обижаться, если чествовали товарища, не менее достойного, чем он, даже более достойного: командовал батальонами, к тому же пострадал.

Поздней состоялось небольшое застолье в рабочей столовой. Угощая гостей, хозяева и сами наугощались, иные всплакнули, вспоминая страшные годы войны. Оказался тут и магазинный знакомый Лихова, старичок, он все хлюпал носом и, еле выговаривая слова, жаловался, что кончилась его биография, укатали Сивку крутые горки, только воспоминаниями и пожить.

Но больше было, конечно, всего бодрого и веселого, песен и плясок, речей. Люди наказывали фронтовикам, в особенности члену объединенного построюкома, так развернуться, чтобы скорее достроился комбинат. И Родион млеял, млеял, тоже охваченный радостью, видя этот подгулявший народ. Хорошие, добросердечные люди! Они приняли его за своего и многое от него ждут, и он должен, обязан оправдать их доверие, если его выберут опять в построюком, и первым делом, конечно, позаботиться о строительстве детского сада.

Из клуба он выходил грузен от угощения. А час был поздний, автобусы и трамваи не ходили, и живший неподалеку Чупраков предложил ему переночевать у него. Уже из квартиры дружка Родион позвонил домой, объяснил Але, где он застрял.

Та пожурив его, что он забывает свой дом, под конец сказала:

— Тут к тебе приходила одна женщина.

— Какая еще женщина? — Подумал: «Не Евгения ли Евгеньевна опять?» — Старушка?

— Нет, молодая.

— Не знаю...

— Завтра придет снова, узнаешь. Пока!

4

Домой Родион вернулся в восемь утра — молодая полногрудая и глазастая женщина была уже тут, в прихожей их новой квартиры, сидела возле тумбочки с

телефоном, чуть он притворил за собой дверь — быстро встала, казалось, взлетела, этакая жар-птица, в канареечном шелковом платье и цветастой косынке на плечах.

— Здравствуйте, Родион Аверьянович, — поздоровалась она первая, не дав еще что-то подумать ему.

— Здравствуйте. Вы ко мне?..

— Вы не узнаете меня, Родион Аверьянович? — Женщина засмеялась. Ярко покрашенные губы ее разогнулись, край верхней затрепетал. — Нет?

— Нет... — Но именно теперь, когда Родион произнес почти уверенно «нет», он узнал эту женщину, — по трепещущей верхней губе; все остальное за годы и годы в ней изменилось, была тогда в Займище молоденькая девушка, почти подросток, теперь стояла перед ним зрелая женщина. И найдет же через столько лет, в другом краю государства! На всякий случай спросил:

— Ефросинья, что ли? Уж и не помню по бабушке...

— Гордеевна.

Точно, отца ее звали Гордеем, он был из тамбовских, переселенец, только приехал в Сибирь и сразу простудился и умер; померла вскоре от нелегкой жизни на чужой стороне, больше с горя, и Фроськина мать; девчушка осталась одна. Жила в няньках и стряпках, ничего хорошего не видела и нарядов особенных не имела, а на людях появлялась не рохлей, выглядела опрятной и завлекательной. Фроська! Таращит, бывало, на него, тоже молодого, глаза, а верхняя губа так и трепещет. И он, мало ли, заглядывался на нее, а под конец — так получилось — воспользовался открытостью девушки, грубо надсмеялся над нею. Уж такая после той вечеринки была сумасшедшая ночь, зимняя, а по-весеннему теплая, ясная, опьянившая и этой похожестью на весну, и заливистостью Степкиной игры на гармони, и его самого, Родьки, разухабистой пляской. И была причиной сама Фроська, она вся, вся трепетала под его козьей дохой. И спрашивала шепотом: «Женишься потом, женишься?» А он больше и не подошел к ней ни разу. Последний раз виделись, когда описывали их, лиховское, имущество. Ох, сколько было на лице Фроськи, в ее глазах презрения и зла! Так и прожигала глазищами, вот этими, что сегодня смеются. И почему они сегодня так весело и откровенно смеются?

Простили все прошлое, нехорошее? Но как они могут простить, если она не прежняя наивная Фроська, другая, наверняка чья-то жена Фрося и сотрудница какого-нибудь учреждения Ефросинья Гордеевна, вполне самостоятельный и не зависимый ни от кого человек. А может, она, нынешняя Ефросинья Гордеевна, пришла над ним посмеяться в отместку или подпустить черную кошку между ним и его Алей? Уж очень подозрительно Алька посматривает на них и все ходит, ходит через переднюю из комнат на кухню и обратно.

— Аля! — остановил ее, снова проходившую, Родион. — Ты знакома с гражданкой? Мы из одного Займища.

— Да, мы познакомились еще вчера, — подтвердила Алевтина и прошла между ними.

— Познакомились и пили чай, — добавила гостья. — И была там, за столом, Николаевна, я ее хорошо помню по Займищу. Между прочим, несколько не изменилась, по-прежнему молодая, красивая. И был там ее внук, ваш с Алевтиной Ивановной сын Леня, можно сказать, молодой человек. Не хватало лишь вас, Родион Аверьянович, вы задержались на каком-то собрании.

И опять Родион мысленно спрашивал себя, зачем он понадобился бывшей девчонке из Займища: простое желание свидеться с земляком? Какая-то у землячки нужда, что готова обратиться за помощью к своему бывшему обидчику, к негодяю? А может, все-таки цель — отомстить?.. Родион, нарочно не торопясь, снимал с себя плащ, прятал под занавеской на вешалке, не без умысла долго перепоясывался и заправлял под ремень гимнастерку, — чтобы было время еще что-то сообразить. Обернулся к гостье быстро, неожиданно для нее, думал, застанет врасплох. И, пожалуй, застал, Ефросинья Гордеевна смотрела в его сторону изучающе и оценивающе. А через мгновение уже приняла прежнее выражение лица: смеющееся каждой складочкой кожи, каждой искоркой серых с желтизной, — оказывается, серых с желтизной, — глаз. То, что грудь его в ордене, ее удивило, но, как видно, не очень и не надолго, она замечаний не сделала. Фроська, Фроська! И откуда ты такая взялась? Да ты ли это? Ты, конечно же ты!.. И чем больше Родион утверждался в мысли, что

перед ним она, Фроська из Займища, та самая, которую он тогда завернул в доху и положил на сугроб, что она отыскала его в этом городе, на юге страны, и пришла к нему на квартиру, еще попахивающую олифой и краской, — чем больше он во всем этом утверждался, тем ясней ощущал в себе нарастающую тревогу: что-то такое может произойти... оно, наверно, случится... произойдет неизбежно, и, чтобы оттянуть развязку, заговорил:

— Надо же, встретились в тысячах километров от Займища! Через двадцать с лишним лет!..

— Вы, может быть, спросите, как я здесь очутилась, как вас нашла?

— Конечно, конечно! И пройдемте сюда. — Родион распахнул дверь в боковую комнату, еще никем и ничем после въезда в квартиру не занятую, но увидел ее пустоту — только стояло в простенках по стулу, — представил, что именно здесь и случится что-то такое, что породило тревогу, и не сразу пропустил в комнату гостью нежданную, не сразу прошел сам.

А она, гостья, жар-птица, охотно впорхнула в открытую дверь и присела без приглашения на стул, принялась оправлять-ощипывать складочки-перышки на шелковом платье.

— Я сюда приехала из Москвы. Мне частенько приходится ездить по областям. Здесь я не первый раз, ревизую облпрофсовет, бухгалтерию. И давно знаю, что вы здесь, мне писали из Займища.

«Знала, а ранее не зашла», — мысленно отметил Родион.

— Сразу после войны написала соседка твоя бывшая, Варя. И я не однажды подумывала: зайду, посмотрю. Да все почему-то не смела.

«Сегодня, значит, насмелилась. Почему-то...»

— Да и времени всегда было в обрез. А нынче приехала — главный бухгалтер на бюллетене. Приходится загорать. Натуральненько загораю! — Она показала забронзовевшие локти. — И ем, ем, ем! Сливы, яблоки, груши, благо, что все это есть в изобилии...

— погоди, погоди, Фрося, — остановил ее Родион, незаметно для себя сбившись с официального тона да и подумав: ничего, ничего не случится, просто землячке захотелось встретиться с земляком. — А как ты оказа-



лась в Москве? — Он подсел к ней со своим стулом. — И давно ли из Займища?

— Из Займища?.. Тогда буду рассказывать по порядку. Из Займища я давно, еще до войны. Видишь ли, сразу после вас открылся в Займище леспромхоз, я работала там, была сучкорубом — стала председателем рабочкома. И появился в леспромхозе уполномоченный из Москвы, тоже по лесной линии, по профсоюзной. Ну и увез меня в Белокаменную, аж на знаменитый Арбат. Там и жили, работали. В войну стало трудно одной, хоть и в Москве, я — обратно в Сибирь, в Займище, опять работала в леспромхозе. А с сорок пятого года уже безвыездно на Арбате, в Москве. Хотя ездила еще в Займище, раз одна, раз с мужем, в прошлом году. Рассказать, что там было в прошлом году?

— Ну, конечно!

— Внешне Займище каким было, таким и осталось, поубавилось старых домов, сгнили, так выросли новые под тесовыми крышами. А вот коренных жителей мало осталось, больше приезжие. Знакомого мужика и не встретишь, говорят, пятьдесят человек не вернулось с войны. Ну, ребяташек, этих все равно тучи. Пришлось выстроить новую школу, в два этажа. У твоей бывшей два больших сына, две дочери, одна замужем. Не писали о Варваре, о ее жизни?

— Нет. Почти нет.

— Рассказать?

— Конечно, конечно!

— Ну, живет Варвара Васильевна в том же крестовике, только надворных построек давно нет, амбары колхоз перевез к подтоварнику, построили там из одиночных большой зерносклад, конюшни тоже разобраны и увезены, остались два закутка, один для коровы, другой для свиней. А Варвара и без мужика живет хорошо. Слышал, что Степку убили? Нет? — Гостья тоже перешла незаметно на свойский разговор и на «ты». — Погиб геройски еще в сорок первом году под Москвой. С тех пор Варвара одна, то есть без хозяина, с ребяташками. Но не бедствует, все, все у нее есть. Свиней держит. Две крупных у нее, хрюкают басом, три штуки поменьше и полный двор поросят. Я отворила калитку — она чистит свинарник, из открытых дверей летят мерзлые шевики, высунулась на свет — лицо будто ду-

бленое, а сама как сорокаведерная бочка, так ее разнесло. Ну, постояли, порасспрашивали друг дружку о разном. Позже сели за стол — на столе курица, сваренная целиком, плавает в собственном жире. Стали чай пить — посуда фарфоровая, вазы цветного стекла, и варенье в них разное: малиновое, смородиновое, черничное...

В этом месте Родион как бы выключился из рассказа своей землячки, из всего сегодняшнего, вернулся в ту, давнюю, жизнь, когда они с Варькой прятали в погребной яме посуду. Ящик был расшатанный, и фарфоровые чашки и блюдца чирикали в нем пичужками, а тарелки и миски, эти кудахтали, как потревоженные на наседлах куры. Но Родиона не очень-то смущали их ропот и жалобы, он перенес их в том расшатанном ящике, сунул в угол промерзлый — пусть там замрут. Сочувствовать, что ли, их фарфоровым душам? Зачем, когда рядом была Варька?

— ...Приехала сюда, загораю да и купаюсь, ем фрукты и овощи, по вечерам слушаю радио, — разобрал уже другое Родион, — какая-то часть Фроськиного рассказа пропала, — и вдруг слышу, говорят о тебе, монтажнике, называют фамилию, имя и отчество. Я так и подскочила со стула. — Ей и теперь не сиделось, она вспархивала, шурша канареечным платьем; и вот закрыла глаза и затаила дыхание. А он замер, тревожась, и повторил про себя: «Вот сейчас, может... наверное... явно случится». Но нет, опять пощадило, гостья солнечно рассмеялась и зачастила, трясая головой: — Да это ж, это из нашего сибирского Займища! Был пахарь когда-то, стал монтажником, бригадиром, да еще самым передовым! А потом вижу в газете, бригадир монтажников при регалиях, вся грудь в орденах, значит, воевал с немцами хорошо, — это тоже по-нашему, по-сибирски! И опять, опять слышу по радио и вижу твою фотографию в газетах: Родион Лихов... Ну, думаю, надо встретиться с земляком. И вот ты передо мной. — Ефросинья Гордеевна дотронулась пальчиками до его крайней от плеча желтоватой медальки. — Сколько же у тебя всяких наград?

— Много.

— А когда их давали, знали, что ты бывший кулак? — Это у нее вырвалось как бы между прочим,

— А чего не знать, знали, раз брали в армию. Кто желал воевать, не отказывали. Я сразу пошел добровольцем. И воевал. Давали поначалу медали, потом и ордена.

— И ничего?

— А что? Ничего.

— Да я тоже думаю, ничего.

— Взыскивали как со всякого и награждали как всех. Подал заявление в партию — и в партию приняли, еще в сорок третьем году. В сорок четвертом подучили немного гвардии старшину Лихова, дали «младшего лейтенанта», потом, уже снова на передовой, — «лейтенанта» и «старшего лейтенанта». Демобилизовался из армии, приехал сюда, в город, который освобождал, к фронтовому верному другу, да тут и остался, пошел на восстановление завода. Вкалываю ударно. Поощрения тоже, награды. Вот выдвигают по службе... Что еще Лихову надо? Ничего.

— Я думаю, ничего. — Ефросинья Гордеевна попыталась согнать лишнюю улыбочку и веселость с лица, это ей как-то не удавалось. — Но теперь-то, Родион Аверьянович, ты о прошлом своем рассказал?

— Нет.

— Что «нет»?

— Не говорил. Потому что не спрашивают. В биографии значится, что родился в деревне, в крестьянской семье.

— Да? А я думала...

— Как ты думала? Что думаешь обо мне?! — начал сердиться Родион, двигаясь на трещавшем под ним стуле. — Ты думаешь, я скрыл что-то от здешних людей, обманул их? Совершил огромное преступление?

— Ну, положим, не огромное, может, даже не преступление...

— Так что же, черт побери?!

— Только то, что утаил свое прошлое.

— Да это же вчерашний, даже позавчерашний день моей жизни! — Родион вырвал из-под себя трещавший под ним стул, отставил к стене, сам прошелся взад и вперед перед гостьей. — Я же, говорю тебе, после того и воевал, и получал воинские звания и боевые награды. Доказательства? — Он резко остановился, звякнув медалями. — Без подделки!.. С сорок пятого года беспре-

рывно на стройке, восстанавливаю разрушенное, и опять у меня одни поощрения, благодарности и Почетные грамоты. Так что еще от меня?.. Что я должен делать еще? Кричать на всех перекрестках: «Я, Родька Лихов, позавчерашний сын кулака»?

— Лучше без крика. И без утайки.

— А я, между прочим, и не утаивал. Ни на войне, ни в мирное время. С начальником стройки однажды был разговор, я сказал, что по происхождению кулак, он посмеялся. Парторг наш Чупраков знает меня как облупленного, с сорок первого года, когда я попал к нему в батальон. Я поднялся у него на глазах, стал ротным командиром. Председателю объединенного постройкома Шевченко, правда, не рассказывал, не пришлось. Могу завтра пойти, рассказать.

— Вот-вот! — Ефросинья Гордеевна встала и повязалась косынкой. — Чтобы в дальнейшем чувствовать себя свободнее, знать: «Ничего за мной недосказанного или уведенного в затемнение нет».

— Еще какие будут дружеские советы земляку?

— Никаких.

— Может, будут дополнительные претензии?

— Нет.

— Личного плана?..

— А какие могут быть претензии личного плана? — не поняла или сделала только вид, что не поняла, гостья. — Нет, нет.

Сам Родион понимал, что в этот момент говорил. И он собирался еще вернуться к этому разговору, а пока предложил гостье вместе позавтракать. Но Ефросинья Гордеевна отказалась решительно, она спешила, явно расстроенная, что затеяла неприятный для обоих разговор, лишила себя радости встречи.

— Извините, Родион Аверьянович. До свидания!.. — Из прихожей увидела хлопотавшую у кухонной плиты Алевтину и с нею раскланялась: — До свидания! Будьте здоровеньки. Николаевне от меня низкий поклон.

— Подождите, — Алевтина начала снимать через голову фартук, — у меня пекутся блины, позавтракаем вместе, тем временем, глядишь, возвратится с покупками мама. — Наскоро сполоснув руки, вышла в переднюю, а гости уже нету — ушла.

— Улетела! — хмыкнул невесело Родион. — Вспорх-

нула жар-птицей и улетела: ловите ее, если охота разжиться хоть одним золотым пером.

— Странно... А зачем она приходила-то, Родя? — Алевтина положила руки на грудь мужа. — Что ей надо от нас? Вчера была, только и сказала, хочется повидаться. Сегодня вы тут распорились. Из-за чего?

— Из-за того, что я тогда на ней в Займище не женился.

— Нет, всерьез, Роденька.

— Спрашивала, говорил я или не говорил в постройкоме о своем прошлом.

— Ну и что?..

— Сказал, что не говорил. На задания в армии посылали, представляли к награде орденами и медалями, говорил, принимали в партию и потом посылали в офицерскую школу — рассказывал, даже приехал сюда, принимал бригаду монтажников, начальнику строительства говорил. А вот тут никому не сказал. До каких пор говорить? Если не спрашивают?!

— Ну и пойдя да скажи, — посоветовала Алевтина.

— Придется, пока кто-нибудь не подумал, как Фроська, что скрываю. Только о том и мысли, как свое прошлое скрыть!.. Подмаскировать себя и втереться в чье-то доверие!.. Вот какой, дорогая, получается оборот.

Она обняла его и приникла щекой к щеке. Когда они вместе и вот так близко друг к другу, им не страшны никакие напасти, никакие Фроськи. Да и что, думала она, может случиться!

## 5

Еще до начала занятий в управлении строительства Родион явился в просторную и никогда не закрывавшуюся приемную председателя объединенного стройкома, чтобы перехватить Григория Тарасовича Шевченко, как тот появится. Человек он свой, из рабочих, хоть и не фронтовик, разберется, поймет. В приемной уже набралось немало народу, больше сидели на стульях, расставленных цепочкой вдоль стенки; преобладали тут женщины, они говорили о путевках в детский санаторий и в пионерские лагеря; были и мужчины, один, несмотря на жару, в черном костюме, другой в прорезиненном плаще; у окна стояли двое юношей в брезен-

товках, заглянувшие, как видно, перед началом дневной смены. Родион спросил, кто тут последний, и прилежанием на краешке стула, стоявшего возле входной двери, распахнутой в коридор.

Вскоре из коридора заглянул, постреливая глазами, Григорий Тарасович, во всем белом: полотняные, начищенные зубным порошком туфли, широкие брюки на выпуск, белая вышитая рубашка, с большим портфелем в руках.

— Столько народа ко мне? — Коротенький, переступая порог, он задел о него нижней частью портфеля. — Рано просыпаетесь, граждане, рано. Сами не спите и другим не даете поспать. — Переведа дыхание, он улыбнулся простецки, довольный своей шуткой. — Кто зачем в постройком?

Двое мужчин, в плащах и костюмах, при галстуках, одновременно поднялись.

— Мы вчера вам звонили...

— Вы обещали с утра...

Брезентовки пошуршали рукав о рукав.

— Я на минутку: вы обещали струнные инструменты для монтажников прокатного цеха...

— Мне насчет неуплаченных взносов...

— А вы что тут, Родион Аверьянович?! — заметив его, вскрикнул председатель объединенного. — Тоже, стало быть, дело? И вы скромненько притулились, сидите? Ну-ка, ну-ка, пошли! — Он заставил Лихова встать, пыряя его мясистым портфелем, заставил идти впереди себя. — Уж извините, товарищи, должен в первую голову с ним... — Он забежал вперед, чтобы открыть ключом дверь, и опять, уже в кабинет, пропустил Родиона первым. — Присаживайся, рассказывай... — Григорий Тарасович взвалил на письменный стол, рядом с графином портфель, сам прошел к сейфу, побрякав ключами, открыл его и достал с верхней полочки что-то завернутое в бумажку, с бумажки слизнул языком. — Зуб донимает и вообще... Приходится держать при себе порошки. К врачу надо бы показаться, да некогда. — Хлопнула тяжелая дверка, и опять забренчали ключи. Потом булькала вода, выливаясь из графина в стакан. Григорий Тарасович отпил несколько глотков и, ладонью погладив щеку, махнул рукой, мол, ничего, все в порядке, облокотился на стол.

— Слушаю тебя, Родион Аверьянович. Ты, наверно, по части вчерашнего собрания на строительстве ТЭЦ?

— Я пришел рассказать вам...

— Не надо. Не надо, не надо! — остановил его Григорий Тарасович, подняв обе руки. — Я уже знаю, как прошла встреча. Славненько! Мне звонил Чупраков.

— Я хотел сказать...

— Что хотел сказать людям, то и сказал. Поведал своими словами о фронтовых буднях, люди слушали, докладывал Чупраков, раскрыв рты. Взволновались. Взбурлили! Его, Чупракова, тоже фронтовика, затребовали на сцену! Все это я знаю. Все хорошо.

— Я пришел сообщить вам, товарищ председатель, что я из кулацкой семьи. — Григорий Тарасович опять поднял над головой руки, он ими отмахивался, и Родион решил, что человек не понял его, до человека еще не дошло, надо повторить. — Я пришел сообщить вам, что я по происхождению кулак. Сын кулака. Отец был раскулачен в тридцатом году. Семья была раскулачена и выслана. На фронт уходил добровольцем, воевал. Все остальное вам известно. Главное, что я должен сказать — из кого я происхожу. Надо было ранее объяснить, не строились бы какие-то планы. Хотя некоторые обо мне знают давно. Вы слышите меня, Григорий Тарасович? — Родион окликнул его, потому что тот сидел, закатив в подлобье глаза и схватившись обеими руками за щеку с большим зубом. — Он у вас опять ноет? Невмоготу?..

Григорий Тарасович поворачивал белками глаз и кивнул утвердительно. Но ничего не сказал, только мемекнул вполголоса.

— Может, позвонить в поликлинику? — спросил Лихов. — Вызвать «скорую помощь»?.. Или налить водички в стакан? — Григорий Тарасович сидел истуканом. — Может быть, мне уйти и явиться попозже, часика через два?

Вот теперь больной опять закивал, и закивал охотней, выражая согласие. Родион вышел из кабинета и торкнулся в дверь соседней комнаты, к Чупракову. Того не было. Решил снова навеститься в управление, как условились с Шевченко, через два часа.

Но через два часа Григория Тарасовича в кабинете не оказалось, и никто не знал, где он и когда будет у

себя. Не было и Чупракова. Но об этом хоть знали, что он вызван в горком. Напрасно приходил Родион и после обеда — никого. А в четыре часа дня надо было заступать на смену.

Больше он не пошел к председателю объединенного стройкома Шевченко объясняться. Зачем? Никакие дополнительные объяснения не нужны, Григорий Тарасович тогда все слышал, все разобрал и предпринял уже кое-какие меры. По пути на работу, пробираясь между вагончиками субподрядных организаций, Лихов заметил, что в верхней части щита, на котором стройкомовцы проставляли мелом данные соревнования за каждые сутки, исчез лист бумаги с его, Родиона, портретом. Видать, постарался Шевченко.

А на другой день утром под окна квартиры Лихова не пришла обещанная Шевченко легковая машина, на которой он должен был ехать на какое-то выступление. Ясно, что отношение Григория Тарасовича к нему изменилось. Уже в полдень, когда он все еще валялся в постели и был дома один, мать, жена, сын разошлись всяк по своим делам, ворвался в незапертую квартиру, хлопая сапожищами, Чупраков, распахнул дверь в спальню.

— Лежишь? Дрыхнешь, не зная, не ведая, что сделал с тобой наш главный перестраховщик?

— Как не знать, знаю.

— Откуда ты знаешь? Ну откуда? — вскрикнул досадливо Чупраков и, тряхнув кулаками, забегал по свободному пространству комнаты, распрямляясь больше обычного. — Кто тебе сказал? Кто?!

— Сам догадался. Еще вчера догадался, когда был у Григория Тарасовича Шевченко, посмотрел, как он мается — бедный, бедный! — зубами.

— Так если вчера догадался, почему даже сегодня не действуешь как-то, лежишь? Почему не позвонил мне, не пошел к секретарю нашего парткома?

— Не хотел. Ясно тебе? Не желаю!

— Чудишь, Лихов, чудишь! Характер показываешь?

— Показываю!.. Ты скажи мне лучше вот о чем, товарищ парторг... Ты скажи по совести, Чупраков, как фронтовой друг своему другу, послевоенный товарищ товарищу... Нет, только честно и откровенно скажи... — Родион выбрался из-под одеяла и сел на кровати в одних



трусах, весь бронзовый от загара, с вьющимися волосами на груди, на спущенных к полу ногах. — Скажи, я должен был всем и каждому говорить, из кого я происхожу? Обязан был?..

— Не обязан! — как отсек Чупраков.

— Нет, ты не сразу ответь, ты подумай...

— А я уже думал. И так же сказал нашему председателю объединенного постройкома. «И как ты, — говорю, — Григорий Тарасович, мог?.. Как мог на такого человека, как Лихов?..» — «А я что, — отвечает, — я ничего. Я только позвонил, просил другого на мою должность подыскать, сказал, что его кандидатура...» — «Ну и что? Что?!» — ору ему. А потом, в заключение...

— И дядька будто бы ничего, обходительный и протестский. Если бы, конечно, побольше принципиальности...

— Если бы!.. — усмехнулся невесело Чупраков. — Если переставить имя и отчество да навесить усы, получился бы из Григория Тарасовича Тарас Григорьевич Шевченко, воитель, поэт. — Он, Чупраков, ходил большими шагами по комнате, между двуспальной кроватью и стеной, чертил резиновыми подошвами свежепокрашенный пол, и Родион ему за это не выговаривал; бывало, с Алевтиной Леньку ругали, что ходит в мокрых тапочках и следит, этому прощал порчу пола; даже нравилось, что Чупраков вот так ходит, выводя сапожищами чертежи. — Ты знаешь, что я ему в заключение сказал? Нашему председателю? Дело было в моем кабинете, и я скомандовал ему: «Кру-гом!» Поверишь, нет, пулей вылетел в коридор. Как ты думаешь, плохо я, необдуманно поступил?

— Не знаю, — сказал Родион и задумался. Он попытался представить, как все там, в кабинете, произошло. Григорий Тарасович вылетел, конечно, не пулей, он, услышав: «Кругом!» — возмутился и покраснел, вспыхнули одновременно лоб и щеки, бритая голова; наверное, огрызнулся на грубый, неожиданный окрик и выкатился из кабинета как подопнутый мяч; а Чупраков, выкрикивая: «Кру-гом!» — весь выпрямился — Родион представил его особенно ясно, — прямой, как когда-то, до всех его страшных ранений, при первой их встрече, на Селигере. — Пожалуй, он стукнет и на тебя. Сегодня же стукнет.

— Сегодня у него не получится, он свалился, и его отвезли, положили в больницу.

— Да что ты?! — Родион соскочил, полуголый, с кровати. — Это что же, из-за нас с тобой? Больше из-за меня!..

— Не знаю. Пока что не ясно. И чем именно болен, ясности нет. Вот поеду в больницу, узнаю. Вот сейчас и поеду. — Чупраков развернулся, выписав сапогом на полу жирный смоляной круг. — Сам-то что собираешься делать?

— Думаю.

— Думай, я еще к вечеру заскочу.

Но думал Родион Лихов недолго. У него уже было надумано, еще накануне: уехать в Сибирь. На Чулым! В Займище ему, конечно, нечего делать, он больше не хлебороб, он лесник и монтажник, а на Чулыме, пишут теща и тесть, и леспромхозы растут, расширяются, и строится деревообделочный комбинат, нужны плотники и монтажники, — вот и поедет. Там его знают с давней поры и поймут лучше, чем здесь. Надо только посоветоваться с семьей, вдруг кто-нибудь заупрямится, не захочет возвращаться туда.

И вечером, после ужина, семейный совет состоялся. О случившемся все или знали, или догадывались, так что объяснения не требовались. Алевтина сразу сказала, что ехать. Ехать, ехать, одно твердила и мать. Запротестовал, как и ожидал Родион, сын Ленька. Он учился в политехническом институте, увлекался атомной физикой, он заявил, что для него в сибирской непролазной глуши ничего интересного нет. Природа? А она не вполне совершенна и будет со временем переделана. Он, Ленька, останется тут, на солнечном юге. Может, конечно, летом приехать на месячишко туда, покормить комаров. Он забрал со стола вместе с вазой недоеденные за ужином сливы и вышел на балкон, оглянулся там — лоб большущий, надо лбом взвихренные темно-русые волосы, — сказал, что это его окончательное решение, и закрыл за собой дверь.

Остальные трое еще ниже склонились над столом, уткнулись нос в нос, обсуждая, как они поедут да что возьмут с собой, что не возьмут, как там, на Чулыме, будут опять жить. Родион и про обиду свою позабыл, вслух мечтая о рыбалке, — начнет опять добывать тай-

меней и осетров, об охоте,—поплывет в половодье за утками, пойдет осенью с собственной двустволкой на белку, на глухаря.

— Тебе соболя на шапку добуду,—подмигнул Алевтине.— Матери вон лису-огневку на воротник. Нет теплой меха, чем лисий.

Николаевна, разглаживая на углу стола скатерть, всхлипнула, прослезилась.

— Не обязательно лису-огневку на воротник, воротники у меня есть, не будет, можно купить. Главное, появится опять огород, картошка своя, морковка и репка, не бежать на базар, не брать втридорога у кого-то. Опять же, сходил в тайгу и насобирал ягод: голубики, брусники, клюквы. Какой год здесь живу и все хочу клюквы. Хоть бы горстку, посыпать реденько на здешнюю покупную капусту, она тут безо всякого вкуса. А эти кислушие вишни!.. Эти сливы, как яблочки с картофельной ботвы!.. Да и сама картошка тут непохожа на нашу, сибирскую, жидкая, та рассыпчатая, что тебе сахар, тает во рту.

Алевтина ничего здешнего, южного, не чернила, а сибирское не расхваливала, она больше молчала, но Родион знал, хорошо знал, что у нее на уме. Просто она напрасно не волновалась, она чувствовала, и без ее слов будет так, как хочется ей. Она и ехала на юг с условием: временно, зная, что от Сибири никогда не отвыкнет. И уж помнила всегда, что у нее там мать и отец. Она сидела за столом тихая, но готовая кричать от радости и смеяться,—просто она сдерживала себя. Верхний свет падал ей на затылок, на распушенные по плечам волосы, лицо оставалось в тени, и она нарочно не поворачивалась к яркому свету, чтобы не выдать истинные чувства и мысли, а они ж всегда на лице.

— Затвердим, что ли, женщины, едем? — подводя итог, спросил Родион.

— Едем, Родюшка, едем! — пропела мать.

— Алевтина?

— А? Что?..

Вот же плутовка!

— Поедем, что ли?

— У-гу.

— Ленька пусть остается доучиваться. В летние каникулы будет приезжать к нам. Квартиру отдадим

Чупракову, он в каменушке живет. Две комнаты ему, одна комната Леньке. Там видно будет, куда нашего физика поведет дальнейшая жизнь, может, к нам же, в Сибирь.

Чупраков в этот день не заехал, но позвонил Родиону, рассказал, что был у Григория Тарасовича: лежит, сердце и нервы. Переживает из-за всего, что случилось. В общем, проснулся в нем человек.

Но Родиона это уже не могло остановить, он сказал другу, что вместе с семейством надумал.

— Так голова ж ты садовая, черт драповый!..— задребезжала телефонная трубка.— Ты в сибирскую тайгу, и я следом в тайгу. Здоровья-то, сам знаешь, нет, надо что-то предпринимать. В тайгу! Вот только отчитаюсь осенью по партийной линии и сдам кому-то дела!..

## 6

Прошлый раз, когда ехали с востока на запад, об Уральских горах даже не вспомнили, а видеть их не могли, была ночь, да еще безлунная и метельная; теперь, на обратном пути, весь знаменитый Урал пересекли среди бела дня, при встречном или боковом солнце, и говорили о нем всем вагоном; но покрытых снегом вершин или выжженных солнцем утесов и скал не заметили; были поселки и города, попадались дружно дымившие скопища заводских труб, только не горы. То есть были, попадались и горы, но низкие, какие есть всюду.

Едва встретили и проводили мать городов сибирских Тюмень, потянулись бескрайние степи, пришимские, прииртышские, на другой день — барабинские, приобские. Николаевна в эти дни встречи с Сибирью поднималась рано, до первых шагов в коридоре. Она поглядывала в окно и повторяла не столько другим, сколько себе:

— Вот уж Сибирь, так ее по всему видно — Сибирь, уж степи так степи, ни конца им, ни края, река встретится, так тоже — река, есть где проплыть пароходу, а уж лес хвойный начнется, так одно слово — тайга. И чем меньше человек ее видит, тайгу, тем она для него, наверно, страшнее. Здесь тайги нет, здесь, слышала я, урманы, если идти на полночь от Омска; но им до нашей

тайги далеко. А вот этим березовым рощам подавно. Рощи, рощицы, перелески... А что, Родион, Аля... Вы не спите там? — Она заглянула к ним с нижней полки наверх. — Что вы думаете, ведь и березняки здешние подросли. Подросли за наши годы на юге, гуще стали, кудрявее, на оглоблю деревце не годилось, теперь хоть на полоз к саням. Слышите там наверху? Видите?..

Родион сдвинул к стенке подушку, сам распластался на животе и заглянул исподлобья в окно: степь в березовых рощах и перелесках, степь, степь. Там, до Урала, было серо от деревенок и деревень, они гнездились в каждой низинке, возле каждого ручейка; здесь за час езды на поезде можешь встретить одно-единственное селение, зато большое, в несколько улиц, все остальное — травяная и березовая степь, степь да небо, есть что смерить прищуренным глазом, что вобрать себе в грудь. В Причулымье видимость, конечно, не такая громадная, разве где-нибудь с горки, а дыхание еще вольнее, чем здесь. Там не просто чистота воздуха, там пары смол, фитонциды. Хорошо выйти на перевал, встать к ветру лицом и вдохнуть! И до томских хвойных лесов, до Чулыма таежного не так далеко, вон за линией дороги впережку с березами уже елки и сосны.

Потом стали попадаться хвойные рощи, и в тех рощах, между елок и сосен, смотришь, — затесавшийся кедр. Иной, посмелее, задерет чуб и подбежит к самой дороге, увешанный шишками: любуйтесь! И Родион любовался бы ими, фиолетовыми и, даже издали видно, тугими, хотя и незрелыми, да пора было собираться, еще час-другой, и — узловая станция, пересадка, если, конечно, заезжать в Займище. Что делать, заезжать или не заезжать, они все еще не решили. И потом, когда чемоданы были приготовлены к выносу, составлены рядком на полу, а сумки и сетки увязаны и уложены, Родион, сидевший на нижней полке против матери и жены, снова спросил:

— Ну как, женщины? Мама?

— Ну, съездим и поглядим, как там и что. Дорога по нынешним временам туда недалекая, Фроська рассказывала, с железной дороги прямой тракт, сели на попутный грузовик, а машин, упоминала Фроська, полно, и к вечеру там. А можно, если торопимся на Чулым, то и не ездить, никто нас в том Займище быстро

не дожидается, не печет встречные пироги. Да попасть бы скорее в Кипрейную, да получить там сразу квартиру...

— Но я же писал, мне ответили телеграммой: дадут. Уже приготовлена.

— Ну и ехать и занимать, пока не занял кто-то другой. А появится опять крыша над головой, загудит печка, будут свои пироги. С грибами! С черемухой! Ватрушки — с брусникой! Так что можно заезжать в Займище, можно не заезжать. На отцову могилу надо сходить, Роденька. Грех ехать мимо и не зайти.

Сойдя с поезда, они направились туда вдвоем, Алевтина осталась с вещами на вокзале. Долго шли, спрашивая прохожих, улицами нового поселка, раньше тут было снежное поле; из поселка попали в искоженный и истоптанный скотом лес, больше лиственный, не частый, но рослый — вымахал за последние годы. И потом не заметили, как очутились на кладбище. Оно было запущено. Кое-где над заросшими шиповником могильными холмиками торчали скособоченные от времени пирамидки: или почерневшие под дождем и снегом кресты. Ни цветов свежих, ни венков.

И как тут, думал Родион, можно отыскать могилу отца? Но он шел следом за матерью, ковылявшей меж холмиками; она на что-то надеялась, все взглядывала вверх, на самые большие деревья и сличала их кроны с чем-то приметным на земле. Ковыляла, ковыляла, вся в коричневом, как бабочка сойка, да и запнулась за что-то, присела и обрадованно воскликнула:

— Вот!

Родион подбежал к ней и привстал на колени.

— А тут ли?

— Тут. Я больше узнала по соснам, вон они, два старые дерева, посередине их солнце. И тогда оно было посередине, только ниже держалось, не июль был, февраль или март. Еще могильщик тогда говорил: «Ну, будет вас вспоминать раб божий, глядя между сосен на солнце». И крест поставил, не обманул.

Родион потянулся к кресту и едва начал перебирать некогда выжженные на дереве и теперь шелушившиеся каракули-буквы, как вдруг они у него сложились в три удививших его и напугавших неожиданностью слова:

Раб божий Аверьян...

Фамилии не было, она стерлась. Но и так было ясно: здесь похоронен отец.

— Тут написано, мама...

— Вот-вот,— не удивилась она, не попыталась удостовериться, только как бы вдруг спохватилась, что больно она разбитная, веселая, и тяжело вздохнула.— Вот здесь и похоронили.

Родион все отчетливо помнил. Они с матерью тогда сильно переживали, что положили отца не обмытого в землю, оставили бог знает где одного. Но так уж распорядилась судьба. И отец, казалось теперь Родиону, не сам что-то делал в своей жизни, он же был раб божий, им распорядилась судьба, шептала на ухо: «Купи и перепродай!» Заставляла прихватывать пашни, пускать в племя больше скотины, мол, не осилишь сам, спроворот работники. «Раздувай кадило, не трусь!»— нашептывала судьба.

Он, Родька, оставшись без отца, не надеялся на подсказку судьбы, еще до войны, когда жил на Чулыме, наступал ей смело на хвост: она тянула к смутьянам Пентюхову Матюхе и Каргаполову, он воротил в бригады и мастера, в ударники и стахановцы производства. Наперекор судьбе выбился в начальники мехлесопункта. И на фронте, сколько ни строила козней злодейка-судьба, старался стоять на собственных ногах твердо и шел дорогой к победе.

Мать опустилась на колени перед могилой, всхлипывая, что-то шептала, наверно, молитву, она была в старости набожна; Родион продолжал докладывать отцу, стоя: старался делать, как все, потом это стало привычкой. Выработалась потребность добиваться первенства. Посмотри, у меня вся грудь в орденах и медалях. Не хвалясь, скажу, заслужил. Не судьба мной распорядилась, я сам взнуздal и понукаю ее. Кончилась война, пошел не туда, где потише, полегче (а мог бы, много раз награжденный), поступил на стройку, полез с дружками монтажниками на верхотуру, под облака. Тут, получилось, сорвался, оказалась непрочной лестничная ступенька, но ничего, терпимый ушиб. Словом, отче, переживем! Возвращаемся семейством в Сибирь, поступаю снова на лесозаготовки. Знаешь, тянет, тянет тайга. И меня тянет, и особенно мать, а еще больше... Извини, я же еще не сказал, что женился вторично, на

девчонке из пригородного Баранова, зовут Алевтиной; ее тянет еще больше в Сибирь. Есть сын по имени Ленка, студент, этот другой породы, не нашей, но башковит, башковит! Вот такие дела. Вот так и живем, Лиховы, работаем, служим, домовничаем, учимся.

Родион умолк, его поразила стоявшая вокруг тишина. Ни шелеста березового листа в безветрие, ни пошвиста пташек. Молчит оглохло земля, и уж немым холодом несет из отцовской могилы. Расслышал ли он хоть одно слово сына родного? Не расслышал. Да и тут ли он нынче? И существовал ли он когда-нибудь на земле?!

Не получился разговор с ним, думалось Родиону, и у матери: она уже поднялась с колен и стояла, отряхиваясь. Что она могла сказать ему через столько лет, тем более что любви особенной у них не было, сказывалась разница в годах, а держала их бок о бок привычка. И вот остался долг памяти. Он-то и привел их обоих сюда, ведь и его, Родьку, не связывала с отцом ни любовь, ни дружба. Винить в чем-то отца он тоже не мог, поздно было винить, если человек и был виноватым; он допускал какие-то перед кем-то проступки не сам, им играла судьба.

Родион осторожно коснулся рукой плеча матери.

— Пойдем?

— Надо идти.

Они могли бы как-то прибрать могилу старого Лихова, да знали, оба знали, что бесполезно: кладбища фактически уже нет, город раздвигает свои границы, в этих местах скоро, очень скоро построят новые дома, посадят молодые деревья.

— Две сосны, может быть, постоит еще,— уходя и оглядываясь, сказала Николаевна.— Хоть бы они постояли. Что сходили, Роденька, ладно, теперь можно ехать со спокойной душой.

На поезд уже компостировали билеты, и Родион встал в очередь. А сам еще кивал матери и жене, кивками показывал в ту сторону, где Займище и Бараново, мол, если хотите, можем съездить туда. Алевтина наклонила голову вместо ответа; мать махнула ладошкой, мол, наплевать. Родион и сам теперь думал — не стоит, уж лучше в Кипрейную гарь, где его действительно ждут.



На причулымской станции довелось посидеть в ожидании багажа. Далее ехали на попутных машинах. И настала минута — взвились по широкой лесовозной дороге на знакомый перевал. Родион встал в кузове грузовика и облокотился на жестяной верх кабины. Дул встречный ветер, выбивал слезы из глаз, но не могли они, не могли застлать широко расплеснувшейся поймы реки в придымленной зелени трав, в кудряшках ивовых кустиков. Сам Чулым пробивался из дымки расчлененными синеватыми полукольцами. По ту сторону поймы, над жирной чертой охрового яра, разметались домики поселка Кипрейная гарь, целый городок! Но не он, не город, больше все-таки удивил в минуту свидания с ним Родиона, удивило, что дальше скопища домиков, вправо и влево от него, по обеим сторонам поймы чулымской синел лес. Лес и лес! Сколько ни рубили его, сколько ни сплавляли плотами и матами в понизовье! И значит, дѣла для желающих тут еще хватит, раззудись, плечо, размахнись, рука!

7

Директор леспромхоза Иван Иванович Захаров за годы и годы жизни в тайге осунулся, постарел, наблюдая за ним со стороны, пока тот разговаривал с обступившими его за столом лесорубами, Родион мог отметить, что и плечи Захарова, когда-то развернутые, теперь норовили опасть и сойтись чуть ли не на груди, и темные, некогда сросшиеся над переносицей брови разошлись, меж ними пролегла вертикальная складка. Все это для Родиона было очень заметно, он не виделся с Захаровым с сорок первого года, когда уезжал с партией добровольцев на фронт; после войны гостил у тестя в Кипрейной, перед тем как забрать семью,— Ивана Ивановича не было дома, он ездил на какое-то совещание в Москву.

Но вот фокус: проводив по одному, по двое посетителей, Иван Иванович встал, развернул плечи, оправляя на себе гимнастерку (он, как и раньше, ходил в гимнастерке защитного цвета), вскинул брови, дал им сойтись и сделался на какое-то время прежним Захаровым, помолодел.

— Ну, здравствуй, Родион Аверьянович! Тогда по-

явился тут у нас и показал хвост, теперь, надеюсь, приехал не в гости.— Они пошли друг другу навстречу и обнялись.— Потянуло обратно в Сибирь?

— И это, Иван Иванович...

— А еще что? Что еще?

— Долго рассказывать, в другой раз.

— Нет уж, батенька мой, начал, так доводи до конца. Кстати, где остановился, у тестя и тещи? На учет в райкоме партии встал? Подтвердили там, что направляешься в леспромхоз?

— Подтвердили.

— Рассказывай, что там было еще, там, в шести с половиной тысячах километров.— Иван Иванович потянул Лихова к расставленным вдоль стены стульям; присели возле окна.— Климат самому или женщинам не понравился? А может, не поладил с начальством?

— Вроде того. Невеселая получилась, Иван Иванович, история...— И Родион рассказал, что с ним там произошло.— Подосадовал и отбил вам телеграмму: примите, если могу быть полезен. Получил вашу ответную— и, не задерживаясь, в путь.

— Недоверие к человеку, не оправданная ничем перестраховка!— покачал головой Захаров, все еще размышляя над рассказом собеседника.— Были они и раньше, и вот не изжиты теперь.

— А вы, Иван Иванович,— возбужденно заговорил Родион,— как вы в те годы доверились Лихову?

— Надо же было в кого-нибудь верить. Во что-то. Вообще жить без веры в человека, в его правое дело нельзя! А теперь, значит, принимай прежний свой мехлесопункт. Его нынешний начальник, известный тебе Иван Степанович, запурхался и расписался. Правда, его поймешь и ему посочувствуешь: семьдесят второй год, донимают болезни. А работал до нынешнего лета старательно, сколько раз выходил на первое место по комбинату, по министерству. Наградили его орденом Трудового Красного Знамени. Старшую дочь его наградили. Всю войну работала на лесопилке, одно время рамщицей, не отставала от мужиков. Теперь, связанная по рукам, по ногам ребятишками, перевелась в ОТК.

— Наверно, многих из прежнего состава уже нет?

— Поразошлись, поразъехались.

— Старики умерли, да? А помните, Иван Иванович, были два кума?..

— Так почему «были», они и есть. Один, правда, не вылезает из дому, заболел; приехала к нему сестра, тоже старуха, где-то жившая до того с сыновьями, нянчится с ним, как с дитем; а вот второй из кумовьев, Осип Макарович, этот и теперь бойкий, между прочим, сторожит контору твоего мехлесопункта.

— Забавный в прошлом был старикан!

— Он и нынче забавный. Оба они с чудинкой. Оба, оказалось, истые патриоты. В войну собирали деньги и теплые вещи для армии, щедро жертвовали сами, одного золота сдали на двадцать пять тысяч рублей. Между прочим, как намыли еще молодыми на Лене золотого песка, как ссыпали в кожаные голицы, так в голицах и держали по сундукам, в голицах и сдали по акту в районный госбанк; я специально давал им машину, ездили они вместе. Много было всего хорошего, боевого и по здешним тылам в Отечественную войну. И теперь колесо жизни катится, не удержишь, не остановишь, вон гудит все слышнее тайга. Растут люди. Пожилые по законам природы клонятся к земле...— Иван Иванович коротко, как бы украдкой, вздохнул: — Кто отработал свое, тому на заслуженный отдых, кто в зените силы, здоровья, того, сама логика подсказывает, к рулю. И то, что ты принимаешь всего-всего мехлесопункт, пусть тебя, Родион Аверьянович, не смущает.— Захаров похлопал его дружески по плечу.— Сегодня под началом у тебя один лесопункт, а завтра, смотришь, весь леспромхоз.

— Непосильное вы для меня, Иван Иванович, загадываете,— сказал Родион.

— А командовать взводом, потом ротой было по-сильно? Тоже, наверно, казалось поначалу сверх твоих сил. А командовал, слышно было еще тогда. Побеждал. Так и тут будет. Я не говорю, что будет немедленно, даже скоро, — попозже, нужен разгон. Вот для разгона и принимай завтра-послезавтра у Царегородцева дела.

Щурясь, Родион почесал пятерней обросший затылок.

— Отдохнуть бы, Иван Иванович, сколько-то надо. Отпуска у меня ни нынче, ни в прошлом году не бы-

до. Охота посидеть с удочкой на Чулыме, походить с ружьем по тайге.

— Так пожалуйста! — хитро сощурился и Захаров. — Ни рыбалка, ни охота любительская никому в Причулымье не запрещена. И куда плыть, идти или ехать с ружьем или спиннингом в установленные правилами сроки — не задача и не вопрос. Да вот завтра в леспромхозе выходной день, я сам поплыву рыбачить, захотелось обоим с Гликерией Константиновной рыбки, бери тоже спиннинг и присоединяйся ко мне. Можем голубики побрать, говорят, успела созреть. Да мы сегодня, вот сейчас и проверим, созрела она или не созрела, я поплыву на моторке к трелевщикам на тот берег, садись и ты, прокачу. Мы скоро управимся, за часик, за полтора.

Отказаться было не очень удобно, и Родион пошел вместе с Захаровым к берегу Чулыма. По дороге директор леспромхоза сетовал, что не вернулось с фронта много работающих людей, пропал без вести бывший директор леспромхоза, убит в первом же бою Орлов, что коллектив леспромхоза и теперь недосчитывает половины технического состава, и если бригады и целые участки справляются с планами, так только потому, что всюду один работает за двоих. Не паникуя, не жалуясь, но все-таки сетуя на различные недостатки, Иван Иванович шел неровным, трудно дававшимся ему шагом, а подойдя к берегу, весь мокрый от пота, долго обтирался платком.

Они сели в лодку и оттолкнулись от берега. Захаров опустил в воду мотор и, чтобы завести его, принялся дергать ремешок бечевки. В стальной коробке чихало и кашляло, а песенное стрекотание на тугую поверхность Чулыма не рассыпалось. Уже все лицо Ивана Ивановича покрылось струпьями пота, сделалось как вареное, а он все рвал и рвал без толку сыромятный ремешок. И таким беспомощным, жалким увидел его Родион, что подумал: надо выручать старика. В большом и малом выручать!

Держась за края лодки, он пробрался в корму и попросил у Ивана Ивановича бечевку. И так получилось, только рванул ее на себя, правда, изо всей силы рванул, как мотор всхлопнул и застрекотал победно, запел. Они еще покрутились неподалеку от

берега и урезали наискось через маслянистое плесо реки.

На прием дел хватило одного вечера, в понедельник утром Родион Лихов шел на работу.

Поселок уже проснулся и скрипел калитками и воротами, бренчал ведрами у колодцев; дружно топились печи — над тесовыми крышами пятистенников стояли дымы, верхушки их клонились в одну сторону, с юга на север; по соседней улице гнали на пастбище скот, мычали коровы, и блеяли овцы, над разросшимися тополями и березами вскипала бурая пыль; и пахло с той стороны поднятой пылью, навозом и дымом сосновых и березовых дров — сугубо деревенские запахи, хотя и в рабочем поселке. Так же пахло и до войны; и тогда, уходя на пастбище и возвращаясь с него, ревела скотина, бренчали ведра у колодцев. Все, как раньше, как когда-то давно.

Контора мехлесопункта размещалась все в том же сложенном из бруса бараке, он был выстроен при нем, Лихове. Только он, этот брусчатый барак на фундаменте из булыжника, как бы врос в землю, горб крыши посередине прогнулся; с трех сторон здание плотно обступили разросшиеся деревья. Перед входом в контору стоял кедр. Он не очень-то повзрослел, и Родион сразу узнал его, вспомнил, сам же когда-то сажал. Да и кедр, было похоже, узнал возвратившегося хозяина, колыхнулся под налетевшим ветерком и прошуршал хвоей; Родион, показалось ему, расслышал: «Сколько лет, сколько зим!»

Контора была не заперта, Лихов забежал в нее и сразу же вышел, через другую дверь, в обнесенный горбылем двор. Там бродил вороной меринок, единственное, принятое по акту, личное средство передвижения начальника лесопункта. Только неизвестно, поели, кормлен ли конь, скорее голодный, раз ходит по двору и выглядывает, что ему сощипнуть. Родион подумал, что он покормит конька на какой-нибудь остановке, и пошел искать уздечку, хомут и дугу. Потом запряг меринка, оказавшегося смирным, покладистым, в стоявший под навесом ходок, тоже персональ-

ный, начальничий, как гласил тот же приемо-сдаточный акт.

Когда выбрались со двора и поехали серединой улицы, сзади кто-то не один раз окликнул. Родион натянул вожжи и призадержал конька. От конторы, пыля сапогами, бежал древний старик с чахоточной бороденкой, во всем темном, поношенном, напоминавший какого-то книжного или киношного деда. Пришлось остановить лошадь и подождать.

— Это вы, Родион Аверьянович? — спросил для верности старец и, приглядевшись, дважды выдохнул: — Вы, вы! — И досадливо хлопнул себя по коленям. — Я ведь слышал, возвратились из дальних краев, знал, еще со вчерашнего, появитесь на старом месте, насиженном, ожидал с ранней рани, а, так вышло, прозевал. Прозевал! Видишь ли, Аверьянович, с кумом беда, захворал смертно, пришлось сбегать к нему, отнести рыбки наловленной... Да ты узнаешь ли меня, Родион? — спросил дед, видя, что тот долго рассматривает его.

— Узнаю, Осип Макарович, узнаю, — остановил его Лихов. — Присаживайтесь с той стороны тележки, поедем, дорогой доскажете о себе и о куме, что у того за болезнь.

— Так контора, Аверьянович...

— Сгорит без вас тут контора? Не сгорит! Что за хворь у кума, скажите?

— Сам рак, определили врачи. — Осип Макарович подошел со свободной стороны к ходу и ухватился за боковину из круглой и гладкой березины. — Определили и сказали дочке его, самому-то не говорят, чтобы, стало быть, не расстраивать. А какое еще человеку расстройство, если он полгода расстроенный, ест поедом его рак. Не руки и ноги отъедает по очереди, а жрет середину, начал с легких, перескочил на печеньку, схватился за горло. На той неделе еще разговаривал кум, а в понедельник, будь он проклятым, рак, лишился дара речи, во вторник — и зрения. Сегодня прихожу с рыбой, а кум уже без сознания. Вам надо ехать, Родион Аверьянович? — спохватился старик.

— Да, на плотбище...

— Ну, ну, не задерживаю, сажусь.

Вороной тронулся мелкой рысцей.

— И откуда, Родион Аверьянович, эти страшные раки? Саркомы всякие, если человек много ходил по воде? Еще зловредней — инфаркты, сражают людей одним махом и наповал. Да отцы наши и деды про нынешние болезни слыхом не слыхивали. Откуда взялись?

— А они были и тогда, не разбирались в них люди. Человек погибал, не зная, отчего.

— И то верно. Папаша ваш, помнится, умирал, а отчего умирал, ни он, ни другие не знали. И не такой старый был, как я или кум. Хотя, правда, с возу упал... Сам-то на здоровье не обижаешься?

— Пока нет.

— Ну и слава те господи. Не убитый, не раненый — тоже великое твое счастье. Возвернулся на старое место, наводи тут порядок, шуруй. Иван Степанович последнее время, сказать, отпускал вожди. Так что с него взять? Постарел. Также постарел. Многие из нас постарели, пора на покой. А пока могли, действовали, тот же Иван Степанович, столько леса, взглянуть, повалили и сплавили!

— И все равно кругом лес!

— Лес. Потому что уронили сосну, а возле комля целый выводок махоньких сосен — новое поколение. Так и в человеческом мире, одни старятся, другие — во множестве — зарождаются и растут. Есть которые и из старых долго стоят. Как я. И вот держат старого человека на службе. Наверно, думают, легкая служба, так мне, сторожу, хорошо. А чего мне больно хорошего сидеть без дела в конторе? И разобраться, чего тут сидеть? Уж взял с конного двора лошаденку, покормить, почистить и заодно маленько размяться. Так заберут снова туда. Уж если ты, Аверьянович, как-то заступись, дашь дыхнуть еще человеку. А то умру от безделья, право слово, умру.

— Так может быть, Осип Макарович... — За поселком дорог было две, одна тянулась луговым берегом Чулыма, огибая штабеля леса, явно отошавшие за летнее время, другая спускалась на песок, к тесовым временкам возле воды, к толпившимся возле одной из временок сплотщикам. Что еще у них за собрание? Родион повернул коня на песок. — Может быть, Осип Макарович, упразднить вашу должность при конторе мехлесопункта?

— И я говорил не раз то же. Рабочком наш ответил: «Нельзя. Есть штатная единица, нельзя».

— А если насмелиться да через «нельзя»?..

— Можно. Если найдется что-то другое, более подходящее старику. Чтобы дело, а не безделье. Я бездельничать не желаю. Сидеть дома, проедать пенсию тоже не больно охота, раз держусь на ногах. И что я, не понимаю задачи? Я не басурман какой-то, чтобы не понимать языка, не какой-нибудь Пентюхов. Между прочим, сказывают в поселке, он продан в войну немцам-фашистам. Вот шукура! Поди, и теперь где-нибудь лиходействует?

— Не знаю.

— Да это ж великий хитрец. Скользкий, вроде на-лима. Где-нибудь затаился, живет, помаленьку вредит. Может, под другой фамилией живет, подмаскировался бородкой. Но точно знаю, на этом свете, а не на том!

— Остановим-ка, Осип Макарович, лошадь, послушаем, что они там говорят. — Родион осадил меринка, конь едва не вылез из хомута и шлеи.

В бригаде сплавщиков было собрание, люди сидели кто на скамейках и стульях, вынесенных под открытое небо из бригадной времянки, кто на валявшихся тесинах и бревнах, облокотясь на колени; кто полулежал на сухом, перемешанном с опилками и щепой, пыльном песке. Мужчина в летах, с рыжеватыми растопыренными усами, председательствовал, стоя за вынесенным тоже из помещения столом, молодая женщина в брезентовой куртке и цветастой косынке писала протокол, сидя под локтем председателя. Сиплоголосый оратор, терзая без того скомканную кепчонку, говорил, что в их коллективе завелся отъявленный бракодел.

— Настоящий вредитель! — рванул он кепчонку обеими руками.

— Так уж и настоящий, отъявленный! — кто-то обронил с недоверием.

— А забыли, что он тогда сделал с конем? Недоглядел на дежурстве, раскатались бревна, подбил животному ноги. Напакостил один он, а отвечать пришлось всей бригаде. Теперь продолжение того: спалил будку, где стояла лебедка. Да и лебедку в огне повредило. И нам на него любоваться?

— Да гнать! — Это выкрикнул новый оратор, здо-



ровенный детина с выгоревшими на солнце волосами. Он давно стоял наготове и вот дождался, его очередь говорить подошла. — Гнать с треском! — Ему шептали с обоих боков, дергая за рубаху, мол, начальник новый подъехал, он отбивался локтями. — Что мне начальник! Новый или старый, с дырами! У меня своя голова на плечах. И я не хочу отвечать за чьи-то грехи, тем более матерьяльно. Фигушки! — И он сложил в горсть четыре пальца правой руки, пятый пропустил между ними посередине, показал их смущенному пареньку, сидевшему на передней скамье одиночно. — Вот она, хошь?

— Да что с ним панькаться, шизофреником! — закричали в два голоса с бревен. — Что ждать еще? Гнать!

— Так уж и гнать!..

— Натерпелись с ротозеем, довольно! Предлагаю голосовать.

Растопыренные усы председателя выстлались по-котовски, обнажив редкие хищные зубы:

— Верно! Начинаем голосование. Кто за то, чтобы...

— Погодите-ка! — остановил его Родион, заставив всех оглянуться, и пошел к столу между скамейками. — Я думаю, вы спешите с голосованием. Вообще, с решением вопроса. «Выгнать!», «Вычистить!» — это же проще всего. А вот разобраться детально...

— Было, уже разбирались!

— Верно! — подтвердил председатель. — Кто за то, чтобы...

— Не-эт! — вырвалось у Родиона раскатисто и, он сам почувствовал, строго, люди сразу примолкли, слышался только шепоток Осипа Макаровича, нырявшего между скамейками: «Это вам не Иван Степанович, это же Родион Лихов, герой!» — «Кто за то, чтобы...» отменяется. — Он видел, как настроены люди, упусти еще долю секунды, и проголосуют, изгонят парнишку, явно ротозея, не более того. Изгонят, без работы он не останется, может потерять веру в людей. — Голосование ничего не покажет, его сегодня не будет! Нашли тоже вредителя!

— Вредитель делу бригады! А кроме того, ему следует пришить прошлогодний прогул.

— А если я вам пришью сегодняшней коллективный прогул? Митингуете-то в рабочее время. — Родион ото-

гнул рукав куртки, посмотрел на часы. — Уже тридцать минут. Каково? Или: что вам начальник, новый или старый, с дырами?

И люди, заметил он, потекли, обгоняя друг дружку. Скоро на собрании остались председатель, он же бригадир, мужчина с растопыренными усами, и секретарша, учетчица. И еще был виновник происшествия, теперь придулившийся к бревенчатой стенке обогревалки.

— В обеденный перерыв подойдешь в контору, — наказал ему Лихов. — Поговорим. — И уже Осипу Макаровичу: — Поехали. Тут у них пусть утрясется немного без нас.

— Пусть, пусть! — покивал согласно старик и сел в бричку. Поехали. — Как ты их, Аверьянович, ловко! Так и надо нахалам. Ишь привыкли базланить да раскуривать из одного кошеля. Приехали за длинным рублем, приспособились хапать, парнишку из сирот чуть ли не заклевали. Ты их, Родион Аверьянович, хорошо урезонил, пусть знают, как обижать малолеток али там стариков.

Родион тоже думал, что он правильно поступил. Сильного работника он при надобности поддержит, а слабого, пусть и виновного, просто так в обиду не даст. Сам себя, не рисуясь, не скромничая, он считал сильным. И сил его с годами, чувствовал, прибавлялось. Сил, твердости, смелости, хорошего настроения, здоровья. Вот едут по дернистому берегу — в лицо холодный и сырой ветер, а хоть сколько-нибудь он раздражает его или пугает? Наоборот, полнит чем-то живительным грудь. Бьет в глаза встречное солнце, и летит навстречу Чулым, напирает громадой воды, а сердцу любо, и телу легко. Будет в жизни не такое, застанет где-нибудь на дороге пурга, и облапит когтистая стужа, а злые люди подставят подножку, — все стерпит, споткнется и упадет, но поднимется и снова пошел.

Конечно, подкрадется старость, и он перед нею, может быть, как Захаров, смутится или опустит вожжи, как Иван Степанович, или еще переменится как-то, но то будет в простительной старости, и то будет иная и еще не завтрашняя его жизнь.

В конторе леспромхоза Родион Аверьянович появился на час раньше обычного, еще затемно, когда обмерзшие окна его кабинета только наливались чернильной синевой неповоротливого рассвета, и сразу принялся звонить. Первым делом разбудил комендантшу, приказал, чтобы она подготовила срочно гостиницу. И комендантша, конечно, стоявшая у телефона босиком и в исподнем, ответила по-военному: «Есть!» — и пока он, Лихов, отдавал другие распоряжения другим подчиненным, конечно, сходила и освободила люкс. А приказывал Родион Аверьянович, во-вторых, водителю вездехода Царапкину, чтобы тот побыстрее чаевничал, отправлялся в гараж и готовил вездеход, поедут на станцию.

— Да повесь запасное колесо! — кричал Лихов в телефонную трубку. — Вдруг происшествие на дороге, ты же не можешь без происшествий, а будет запасное колесо, все легче при случае, короче, загар. Да протри там сиденье, Царапкин! И почисти ветровое стекло, чтобы видел дорогу и пассажир!

После многих звонков вновь вызвал комендантшу:

— Ну что, сделала? Теперь поставь в люксе цветы. Цветы не цветы, пахучие ветки, багульник или кедр, чтобы, понимаешь ты, колорит. Говорю, колорит! Прибывает такой гость, без особых претензий к жилью, равно к еде, но любит характерное местное, в особенности природное — колорит. Вот ты и развернись, покажи: чем богаты, тем и рады. Да графин со стаканом все же поставь, ежели нету. Стакан есть, а графин сломан? Ну, прояви инициативу, достань.

Родион Аверьянович посидел за столом, размышляя, куда еще позвонить. По участкам и лесопунктам? Так вряд ли Алексей Васильевич поедет в глубинку, он все-таки не чиновник «Северлеса», а секретарь обкома партии, первый, не столько у него свободного времени, чтобы кланяться каждой сосне, да и бывал в причудливых лесах, знает здешнюю обстановку, так что вручит переходящее знамя на центральной усадьбе и тем же часом обратно — другие дела. А может быть, и так подумал Родион Аверьянович, первый секретарь останется на денек, чтобы заглянуть в какие-то лесосеки, обновить впечатления; тогда придется послать впереди него человека, чтоб подготовил людей. Председателя рабочкома послать, он по этой части мастак.

И широкая, в черном волосе рука Лихова зацепилась снова за телефон и облапила его по-домашнему, по-простецки; а удержаться все-таки не могла, свалилась на стол: пока можно повременить, ведь не приехал еще дорогой гость. Вот сказать Алевтине, чтобы она подготовилась, надо, потому что вдруг Алексей Васильевич согласится, как бывало, переночевать не в гостинице. И прийти к директору на обед не откажется, может, и на этот раз.

Родион Аверьянович забежал домой, чтобы перекусить (уходил в контору без завтрака) и сделать наказы жене, и только начал говорить, допивая первый и последний стакан чаю, что к обеду вернется с гостем, Алексеем Васильевичем, Алевтина уже все поняла, захлопотала на кухне, переставляя пока что бесцельно кастрюли.

— Не знаю, что лучше приготовить на обед, мясное или рыбное.

— А что у тебя есть?

— Кое-что есть. Да вот сейчас увидишь... — Она накинула на себя полушалок и выбежала из дома, чтобы захватить кое-что из хранившегося в кладовке, на холоду. Она привыкла в последние годы встречать большое начальство, наезжавшее в леспромхоз, и всегда имела что-то в запасе. Алексей Васильевич был самый желанный ее гость. Он приезжал обычно зимой, входя в дом, широко распахивал дверь, басовито приветствовал молодую хозяйку (почему-то он всегда на-

звал ее молодой), рывком стряхивал с плеч пеструю, собачьего меха, доху, срывал с ног унты, тоже собачьи, лохматые, и просил домашние тапочки, выбирал из Родионовых, которые попросторней, и потом ходил, большой, большими шагами, по ковровым дорожкам, расхваливал лесной хвойный воздух и тепло деревянного дома, натопленного дровами; за обедом хвалил пельмени домашнего приготовления и ягодные, черничные, клюквенные, брусничные, кисели супруги директора и ел аппетитно и много. И это тоже нравилось Алевтине. Уезжал один гость, она поджидала другого. В школе с ребяташками, дома с соседями и гостями, каждый день в заботах и хлопотах, так и шла жизнь.

С холода прибежала бегом, шумно дыша, положила на стол два целлофановых заиндевевших пакета; из одного вынула кусок красноватого мяса с пупырчатой кожицей.

— Это глухарь. Помнишь, тогда подстрелил, ездили вместе в район? Можно сварить или зажарить. А можно что-то стерляжье... — Из второго пакета выскользнули на стол две закованные в латы да еще и посеребренные (в ледяной корочке) рыбины.

— Ну и пускай в дело рыбу и мясо, на первое и второе. Да что я тебя начинаю учить! — упрекнул себя Родион Аверьянович, уже облачась в просторный бушлат. — Ты ж хозяйка, наша кормилица, — подмигнул он ей, — ты сама все знаешь. А мне надо идти, вон за мной машина пришла.— Он разнял полотнища тюля и уткнулся седеющим чубом в окно, прислушался к стрекотанию мотора, пригляделся к стоявшему вездеходу, к его задку: есть ли там запасное колесо,— есть!

С рассветом ехали по широкой и гладко накатанной, будто остекленной, дороге. На прямых водитель Царапкин так гнал вездеход, что за стенками свистело и выло; он и на поворотах, подъемах и спусках не сбавлял бы особенно скорости, да Родион Аверьянович накрывал рукой его лежавшую на баранке руку, требовал призадержать прыть: и без спешки успеют. Главное же, сегодняшняя быстрая езда мешала ему думать. А думал он как раз об Алексее Васильевиче, давней с ним встрече в здешних лесах. Это было еще при Захарове. Секретарь обкома, тогда еще не первый, увидел на его, лиховском, мехлесопункте образцовый порядок

и как бы между прочим сказал: «Быть тебе, Родион Аверьянович, хозяином всего леспромхоза!» А через несколько дней его уже вызывали в комбинат, он получал назначение на место ушедшего на заслуженный отдых Захарова. Вышло так, как Иван Иванович загадывал и хотел. Алексей Васильевич позднее поддерживал выдвигенца, помогал и словом и делом. Бывало, придет, огромный, в дохе и унтах, обнимет за плечи: «Да ты ж у меня, Родион Аверьянович, надежда и слава! Миллион кубометров леса даешь — это же только представить! А лес для нашей области самое главное. Да я за такими, как ты, будто за каменной стеной!»

И теперь нужен лес, но не просто лес, кое-как срубленный и сплавленный по Чулыму, а лес, взятый из тайги с умом и сноровкой, по елико возможно дешевой цене. А это легко не давалось. Помогало начальство, Алексей Васильевич тоже. Он пособил оснастить леспромхоз передовой техникой; даже школу-десятилетку помог выстроить быстро, в одно лето. И чтобы за все доброе не встретить его на станции железной дороги, как самого желанного гостя? Да он, Лихов, все сделает по его указанию на производстве... И все же, все же направит кого-то вперед — председателя рабочкома! — чтобы подготовить людей... Ну, на всякий случай пожарный, чтоб не ударить лицом в грязь из-за какого-нибудь шалопаю или мозгляка.

Порасступались перед машиной клочкастые, редкие сосняки, где рубленные недавно и с пятого на десятое, потому что по преимуществу молодые, где взятые лесниками давненько и успевшие вырасти заново, загустеть, помелькал по затонувшим в сугробах обочинам заиндевелый кустарник, и спереди хлынул свет поля и неба, по-предвесеннему голубой; начинались совхозные пашни, плотно затканые чешуйчатым снегом; вдалеке четко обозначилась серая рябь тесовых и шиферных крыш районного центра и станции железной дороги.

Поезд приходил вовремя, он, казалось, постукивал где-то на подступах к станции, и Лихов проскользнул через калитку на перрон. И удивился немало: других встречающих не было. Даже из райкома не пришли. И сколько ни удивлял Лихова пустой и по-провинциально-

му задичалый перрон, он ждал встречи с Алексеем Васильевичем, надеялся: поезд, сбавляя ход, подойдет, вагон номер пять (в радиограмме указывался вагон номер пять) остановится против здания вокзала, и в открытых дверях, занимая весь их проем, появится Алексей Васильевич, конечно, во всем меховом. Когда спустится по ступенькам подножки, в тамбуре покажется еще один человек, с зачехленным знаменем. Уже было такое однажды, года четыре назад.

Но вот запыхавшийся локомотив, отдуваясь парами, проплыл мимо, поравнялся с Родионом Аверьяновичем сине-голубой пятый вагон, распахнулась дверь, а грузного человека в меховой одежде не было, по ступенькам спускались одни женщины, и наконец молодой человек среднего роста, во всем темном; вот он — точно! — держал древко зачехленного знамени в руках. Спустившись на перрон, он подошел к Лихову и назвался, такой-то, инструктор обкома, с ним представительницы комбината и облпрофсовета, прибыли с почетной миссией...

— А самого Алексея Васильевича, значит, не будет? — разочарованно спросил Родион Аверьянович.

— Нет.

— Он, может, куда-то уехал? На совещание в Москву?

— Да нет, дома. Дела, — слегка шевельнулись помеченные черным тонкие брови инструктора. И губы у него были тонкие, отчего лицо выглядело строгим. Чем-то походили на него — да тоже строгостью! — и две женщины, поставившие чемоданчики на снег. — Так что здесь поручено нам.

— Ну что же, поедем.

— Поедем. — И тонкогубый и тонкобровый шагнул первым к деревянному зданию вокзала.

И то, что приехал не сам Алексей Васильевич, а этот молодой человек, как-то узнавший его, директора леспромхоза, и то, что он пошел от поезда первым, Лихову показалось не случайным. Всю обратную дорогу он молчал, если спрашивали его о чем-то, отвечал коротко, если обращали внимание на что-то происходившее на дороге (раз вспугнули зайчишку, он урезал впереди вездехода), только согласно кивал. Он все пытался понять, что же такое произошло?

Представители области отдохнули полчаса в гостинице и проехали по участкам двух ближайших мехлесопунктов, заинтересовались валкой и вывозкой леса, ничего критического не высказали. Вечером состоялось собрание коллектива, инструктор вручил под аплодисменты переходящее Красное знамя и произнес хвалебную речь; повеселевший на миру директор леспромхоза принял знамя и под аплодисменты ответил на приветствие. И опять же, ничего необычного.

После собрания гости из области заторопились обратно и попросили машину. Лихов не стал их удерживать. Он поманил к себе маячившего в пестрой толпе и всегда готового к услугам Царапкина и, когда тот подскочил, локти в бока, приказал ему:

— Вот товарищи, отвезешь их обратно на станцию.

— Спасибо, — не дал что-то сказать водителю машины тонкогубый и тонкобровый, может, опасаясь отказа: была ночь, мело снег, и протянул Лихову руку. — Спасибо за привет, за содействие в выполнении наших скромных обязанностей. Между прочим, товарищ директор, вы говорили когда-то Алексею Васильевичу, что вам нужен более опытный главный инженер...

— Ну, говорил, нужен, — еще не сообразив, что к чему, но опять настораживаясь, сказал Родион Аверьянович. — А что?

— Алексей Васильевич велел передать, что он окажет содействие. И мы при надобности напомним ему. А засим до свидания.

— Засим, — ответил Лихов машинально. А когда гости вышли из клуба, подумал: «Засим?..» Какое-то паршивое слово. Как лишай на стволе елки. Никогда в жизни он не произносил этого, поди, не русского слова «засим». Хотел сплюнуть его, как застрявший в горле харчок, да некуда было плевать, обступили свои, леспромхозовские. Еще покантовал в мозгу злополучное «засим», испытывая его на несвежесть, и почувствовал, осенило: дело не только и не столько в слове «засим», дело в словах о главном инженере, которого обещают. И они убедились, что нужен! А это камешек в директорский огород. Ведь ежели говорят, что нужен новый главный инженер, плох старый, то, значит, не ахти как хорош и директор.

И хотя Лихов когда-то сам просил — это точно, —



чтобы к нему послали нового главного, с образованием, теперь он даже в обещании послать усматривал что-то для себя обидное, оскорбительное. Подозрения и подозрения! Они застилали мутью глаза, все путали в голове. Чтобы немного рассеяться, Родион Аверьянович остался посмотреть кинокартину. И зря оставался, голова еще пуще распухла от навязчивых мыслей, а что происходило тем временем на экране, он толком не видел, не разбирал.

## 2

Алевтина в ожидании гостя всю вторую половину дня — после школы — не выходила из дома, без конца заглядывая в окно, торопила события: вот подбегит, всхрапывая мотором, леспромхозовский вездеход, вот вывернутся из-за палисадника лохматые, как две овчарки, унты Алексея Васильевича. А гостя все не было; не приходил и хозяин; минуло время обеда, а потом и ужина... Родион Аверьянович заявился в одиннадцатом часу ночи, кургузым голичком обмел с валенок снег.

Уже перекипевшая в ожидании, Алевтина высунулась из кухонной двери, без особого беспокойства спросила:

— Не пошел?..

— Алексей Васильевич? А он не приехал. — Лихов прошелся еще голичком по валенкам, сметая уже не снег, а поблескивающие капельки влаги. — Были трое вместо него, вручили знамя и — до свиданья.

— А я-то хлопотала, ждала! — У Алевтины это вырвалось больше с облегчением, чем с досадой: не приехал — все-таки лучше, чем не зашел. — Наряжалась! — Выходя из кухни, она разняла концы укрывавшей ее черной, в ярких цветах шали, из-под шали полыхнула розовым пламенем шелковая кофточка. — Что ж, муженек, будем праздновать без гостей.

— Все-таки праздновать! А по какому случаю праздник?

— Ну если так вышло, готовились.

— Не велик же повод для праздника. — Устроив на вешалке бушлат, Родион Аверьянович вынул из кармана письмо, перед этим обнаруженное в почтовом

ящике, и, разглаживая его, вынес на свет, протянул же-  
не. — Читай, кажется, из Москвы.

— От Лени?!

— От кого больше, если из Москвы.

А обрадованная Алевтина уже не слушала его, ра-  
зорвав конверт и вынув из него два тетрадных листка,  
бежала быстрыми глазами по строчкам:

— «Дорогие мама и папа, шлем вам из столицы на-  
шей родины...» Как всегда, первая у него «мама»!

— Да уж первая! — не стал возражать Лихоз.

— «Сообщаем с Веруськой, что у нас родился сын,  
ваш внук...» Слышь, Родион, у нас с тобой внук! «На-  
звали Сергеем». Внук Сережа, Сереженька!.. Вот тебе,  
Родион, и повод. Уж это, будь уверен, повод для торже-  
ства. Отныне, Родион Аверьянович, ты не только муж и  
отец, но и дед. Дедушка Родион!

— А ты кто? Не бабушка Алевтина? Приглашай,  
бабушка Алевтина, раз у нас с тобой праздник, за стол.

— Приглашу еще, приглашу, дай дочитаю письмо.  
«Дорогой папа...» Так, так, так... «Дорогая мама, при-  
езжай поводитьсь на первых порах, мы с Веруськой  
очень просим тебя и надеемся...» Так, так, так... «С  
приветом из Москвы Леонид, Вера, Сережа». Ведь что  
получается... Ведь придется, Родион, ехать. — Говоря  
это, Алевтина сдернула с себя шаль, искала что-то  
глазами.

— Подать шубу? — спросил Родион Аверьянович  
и повернулся к вешалке, протянул к ней обе руки. —  
Сразу поедешь?.. Или сначала поужинаешь?.. Покор-  
мишь своего старика... раз что-то готовила? Он, старик  
твой, еще не обедал сегодня.

Алевтина черкнула его алмазной крошкой сощурен-  
ных глаз.

— Старик!..

— Раз дед, кто же больше, старик.

Ужинали дед с бабкой не на кухне, как обычно, а в  
большой зальной комнате, к ночи немного охолодавшей,  
сидели друг против друга за раздвижным столом, за-  
стланным белой скатертью, и не без волнения говорили  
о появившемся внуке, сразу влившем в их семейную  
жизнь свежую живую струю. А застоялась их жизнь,  
сделалась немного грустней со смертью Николаевны  
полгода назад, они, сын и невестка, тогда почувствовали

себя одинокими и вдруг постаревшими. И вот ощущение этой свежести и нужности, еще большей нужности на земле. Не виданный ими Сергей, семи дней от роду, уже требовал к себе пристального внимания и звал их срочно в Москву. Быстро выявились и другие немало-важные обязанности деда и бабки; да и возникли вопросы, как им в сложившихся обстоятельствах вести себя. Например, Алевтина перед тем как выйти к столу сняла шелковую розовую кофточку, надела бумазейную кофту навыпуск, коричневую, в белых цветочках. Родион осуждающе покачал головой.

— Чудишь, супруга, чудишь! Розовое тебе более шло, и ты выглядела в нем интересней.

— Я знаю. Да вдруг втемяшилось в голову: неудобно для бабушки, даже кощунственно.

— Еще скажешь, преступно. Что делает с бабкой недельный внучонок! С расстояния в три тысячи километров! И что еще сделает, когда подрастет!

Родион Аверьянович мог бы признаться, что и над ним новорожденный москвич начал вытворять: перестала пухнуть и гудеть голова, а все сегодняшние волнения и обиды показались мелочными и надуманными. И не было, не было в леспромхозе никаких иных представителей области, был сам Алексей Васильевич, первый секретарь, вручая переходящее знамя, говорил: «Ты заслужил его, Родион Аверьянович, честной работой. Я за тобой, за такими, как ты, как за каменной стеной». И не было ни с кем разговора о главном инженере, новом или старом, старого он не хаял, а нового не просил. Зачем он нужен в Кипрейной? Чтобы приехал и мешал действовать ему, Лихову? Исключено!

На другой день Родион Аверьянович опять с раннего утра носился по участкам, где на машине, где верхом на коне; все вчерашнее неприятное было напрочь забыто, а вот о письме из Москвы он вспоминал часто: паренек появился там, внук! Сколько ни петлял Ленька, кандидат, а потом и доктор наук, как ни уклонялся от обязанностей перед природой, копаясь в атомах и молекулах, а прошлым летом женился, не прожил с Верочкой и семи месяцев — уже сын. И как она досрочно управилась, Верочка? Соболюшке и той надо девять месяцев. Вот Алевтина поедет, узнает подробности и черкнет.

Алевтина уехала бы немедленно, хитрость невелика: сорок минут до поезда, двое с половиной суток поездом и — Москва, надо было как-то отпроситься с работы, кроме того, приготовить подарки, а это значит, и купить что-то, и что-то связать или сшить. Да и по дому нужно было как-то распорядиться, пригласить какую-то старушонку, чтобы топила печи и убирала в квартире; пообедать Родион может и в столовой, а скипятить чай утром и вечером не поленится сам. Отъезд назначила на четверг, в послеобеденный час, чтобы успеть к вечернему поезду. Так и условились с мужем.

В четверг перед обедом Родион Аверьянович заторопился из конторы, прибрал на столе, стал закрывать сейф, — в кабинет несмело вошла секретарша.

— К вам, Родион Аверьянович, новенький... С вещами.

— С какими такими вещами и что за новенький?

— С назначением из комбината, главный инженер Юрий Иванович Кузнецов.

— Вот как! — Лихов встал за столом, бросил к чернильному прибору ключи, они дзинькнули о стекло. Все же послали! Все-таки что-то затеяно, не зря он тогда психанул! Да и теперь чувствовал, нервишки начинали ходить, то в пот бросало, то в краску, хорошо, что секретарша не глядела в лицо, стояла потупясь. Казалось, не меньше его переживала и она.— Ну что же, — с вызовом сказал он, — проси!

Все в нем, Лихове, в этот момент было напряжено, более — напружинено: мускулы ног и мускулы рук, губы, ноздри, глаза; и все это, когда главный появился в открытых дверях, разом ослабло. Родион Аверьянович чуть не расхохотался над своими странными превращениями. К нему шел, осторожно ступая по ковровой дорожке, белокурый молодой человек лет двадцати двух, — парнишка! У него и усы еще явно ни разу не бриты, над верхней губой вился золотистый пушок. Пиджачишко узкий, в обтяжку, брюки со стрелкой, ботиночки... Это зимой-то в ботиночках на Чулыме, в тайге! Аккуратно одетый, с ангельским личиком, — ну, какой он, к черту, лесник, тем более его, Лихова, конкурент!

— Вы что же, уважаемый, не позвонили со станции? Я прислал бы машину.

— Да так как-то. Подвернулся ваш лесовоз с просторной кабиной, попросился и сел.

— Теперь уже «наш» лесовоз.

— Да, теперь уже наш. Здравствуйте. Кузнецов.

Назвался и Лихов, принимая протянутую через стол руку; она была маленькой, в голубых жилках; он нарочно придерживал ее в своей лапистой, взвешивая: легкая, женская. А вот голос главного инженера был густо настоянный бог знает на чем, грудной и объемный; Лихову показалось удивительным, что такой сильный голос держался в невзрачном, хотя и прилизанном теле; а вот на тебе, держался и даже... даже пугал, вот голос немного пугал, во всяком случае настораживал. — С семьей, главный инженер, или покуда один?

— Вы находите, что я не только окончил лесотехнический институт и получил назначение по службе, — он выложил перед директором леспромхоза свои документы, — но и успел по ходу дела жениться?

Лихов оставил без внимания его документы.

— Кто вас знает, нынешних молодых. Нынче все вы молодые да ранние.

— Холост. Потому на отдельную квартиру в леспромхозе не претендую, достаточно комнаты.

— А у нас есть и квартиры. Найдутся.

— Претендую на холостяцкую комнату. Питаться намерен в столовой. Кстати, — Кузнецов взглянул на стенные часы, они показывали без десяти два, — я успею еще пообедать?

— А мы пойдем ко мне, пообедаем у меня. Там и познакомимся ближе. Ведь работать-то, — Родион Аверьянович дружески подмигнул стоявшему перед ним навытяжку юноше, — работать-то вместе придется. Под открытым небом, в тайге! Уже завтра! Сегодня у меня такой день, отправляю жинку в Москву, она едет к невестке и сыну водиться с новорожденным внучком. Вот через час-два, — он тоже взглянул на стенные часы, на ползущую по десятке минутную стрелку, — часика через полтора надо катить к поезду. Позвонили бы со станции железной дороги, сообщили о себе, я бы приехал с женой, ее там оставил, вас захватил. Но раз вы уже здесь, а я еще не уехал, есть возможность вместе пообедать. Идемте, главный инженер Кузнецов, ко мне,

— Идемте, — легко согласился тот.

Они угодили к самому спеху: стол, правда, не в большой комнате, а на кухне, был накрыт, расставлены и разложены, правда, на двоих миски и ложки, Алевтина суетилась у плиты, поднимала и опускала крышку над парившей кастрюлей; одета она была не как всегда, не в халат, а в серое дорожное платье, и на ногах ее были не тапочки, а меховые ботинки. Родион Аверьянович представил ей гостя, и она, поклонившись ему, быстро изменила декорацию на столе, добавила еще один прибор, а к двум кухонным табуреткам подставила третью. Мужчины еще потолкались в коридоре, меж приготовленными в дорогу чемоданами и узлами, и пошли мыть руки и садиться за стол.

Новый главный инженер и в гостях оказался человеком юношески покладистым, не строптивым.

— Озябли маленько в дороге, главный инженер? — спросил Родион Аверьянович.

— Маленько озяб. Ноги.

— Ноги необходимо держать в тепле. Завтра выдадим валенки. Полушубок и валенки. А пока.. — не вставая с табуретки, Лихов покопался в нижнем отделении буфета и достал ранее уже раскупоренную и початую бутылку «Московской», поставил на стол, с верхней полки буфета достал две рюмки. — Выпьем, что ли, главный инженер, по одной?

— Выпьем.

— Вам, чтобы скорее согреться, мне, поскольку я еду на станцию, запастись в дорогу теплом... Супруга, между прочим, никаких согреваний не признает и посвоему тоже права.

Согласно выпили и по второй рюмке, за дружбу в работе и взаимопонимание. Налить третью Кузнецов не дал, положив на свою рюмку тонкий пластик ладони.

— По последней, главный инженер. По решительной...

— Нет!

И снова Родион Аверьянович отметил про себя, что голос главного инженера сильный, грудной, и это опять насторожило его, правда, на короткое время: подбегая к калитке, застрекотал вездеход.

— За вами? — спросил гость.

— За мной. Но ничего, дорогой, ничего, кушайте, машина и машинист подождут, как и пассажиры.

Но они все равно торопились, и с обедом и потом с одеванием. Главный инженер помог Лиховым вынести вещи и попрощался с ними. Родион Аверьянович захлопнул за собой переднюю дверку. Дорогой поторапливал шофера Царапкина, боясь, как бы не опоздать. И не напрасно спешил, поезд к прибытию их уже стоял наготове. Муж и жена (дед и бабка!) даже как следует не простились; вагоны заскрипели обмерзшим железом и поползли.

Потом Родион Аверьянович стоял один на опустевшем перроне, провожал удаляющиеся в ночную темень стуки колес. Он первый раз в жизни провожал в дальний путь Алевтину, всегда было, она провожала его, и только теперь по-настоящему ощутил, как это грустно оставаться вот так одному. И грустно, и тревожно. Вспомнился вновь назначенный инженер, и в ушах отчетливо прозвучало его басовитое и объемное: «Нет!» Но пусть, пусть он не хвастается своим басом и не грозит им, это только на сцене Дома культуры важно иметь голос, в лесу голосом не возьмешь!

### 3

Не зря тревожился директор леспромхоза, с новым главным инженером у него сразу начались недоразумения и конфликты. И удивительно, говорил Кузнецов всегда без волнений, со всем будто бы соглашался, а потом вдруг произносил свое басовитое, объемное «нет», и нельзя было через него, как через лиственничный пенек, перебраться даже на брюхе. «Дорожку вдоль Черного ручья, главный инженер, придется расчистить». — «Придется расчистить, чтобы беспрепятственно шли лесовозы». — «До Серого камня в половине горы». — «До Серого камня пока что». — «Дальше в гору, думаю, не полезем, плохой лес». — «Да, лесок там неважный». — «А плохой лес нет никакой выгоды брать. Что там собирать с бору по сосенке!» — «Но мы не можем, товарищ директор, рубить тайгу выборочно, только в местах наилучшего древостоя». — «Но тогда мы не дадим заработка народу и наверняка завалим годовой план». — «Постараемся выполнить». — «Если обойдем некоторые места». — «Нет!»

Этот мальчишка, чувствовал Родион Аверьянович, одним «нет» загонял его в тупик. Пришлось с ним считаться, передавать в его полное распоряжение все лесные машины, всю технику, — конечно, с последующим спросом. Организацию производства директор леспромхоза решил держать в собственном кулаке. Да поддайся он сегодня кому бы то ни было, начни лазить по всем без разбора причулымским чашобам, не только потеряет переходящее Красное знамя, вылетит в трубу. Завтра же! С тайгой нельзя шаляй-валяй или панибратски, в тайге человеку приходится, пусть не по-звериному, но хитрить. И Кузнецов в этом сам убедится, вот только пройдет годик, другой.

Внешне отношения их были хорошие, дружеские, главный инженер никаких грубостей не допускал, сказывалась его институтская и городская воспитанность, директор леспромхоза пока сдерживался. Пока хватало его сил. Иной раз в самый последний момент успевал схватиться за спасательный круг шутки, вроде: «Это что же мы, не видим за деревьями леса, спорим и спорим? Да вон она, за окошком, тайга, на всех хватит ее, всех прокормит, всех, придет срок, похоронит, но зачем всяк себе и друг другу приближать уготованный срок?»

Мысленно, в пылу горячего спора Родион Аверьянович хотя и называл главного инженера мальчишкой, а уважал его за обширные знания, за выдержку. Уважал товарища по работе за его хорошие качества, старался показать и свои, тоже лучшие. Ведь были же они у него, были! Ведь за что-то давали ему знамена и премии, чем-то отличался Родион Лихов, чего не было у других! А чем он, собственно, отличался? Да хорошо знал тайгу, всю ее подноготную. Не пренебрегал новой техникой, как иные директора: «Возиться-то с нею!» — брал все, что давали, терпеливо испытывал; уж если попадалась явная «липа», отправлял без сожаления в утиль. Но главное, мог бы сказать, не хвастаясь, Лихов, он ладил с людьми, умел разговаривать с ними, старался дать каждому человеку что-то для него крайне необходимое. Не обязательно трехкомнатную квартиру, хотя давал и трехкомнатные, не обязательно мотоцикл с коляской, иногда только слово, но человеческое, душевное. Получил его работяга и подумал: «Вот это ди-



ректор! Вот это свой в доску!» — пошел и перевыполнил план.

Случалось, Родион Аверьянович разговаривал с народом при главном инженере в лесу. Но разговоры эти были короткие и больше с начальниками участков, мастерами и бригадирами, их директор леспромхоза не очень-то миловал, требовал беспрекословного выполнения приказаний. С работягами под грохот тракторов-трелевщиков, под шум падающих лесин да еще на морозе, когда и челюсти-то нормально не двигаются, много не наговоришь, тем более ласково. Родион Аверьянович все хотел показать главному инженеру, как он, директор, разговаривает с народом в располагающей обстановке, например, после дневной стужи в вечернем хорошо натопленном клубе, когда люди сидят не в залощенной спецуре, а мужчины — в выходных темных костюмах, женщины — в пестрых праздничных платьях, несколько разморенные теплом, но довольные, добрые.

И вот такой случай привелся, директор леспромхоза и главный инженер попали в одном из дальних мехлесопунктов на рабочее собрание. Разделись, конечно, как и все сидящие в зале, прошли по приглашению председательствующего в президиум, сели за шаткий стол с поплескивающейся в графине водой. Речь тем временем держал начальник лесопункта Пал Палыч, как его называли, мужичонка средних лет и среднего роста, с плеснинкой волос на шишковатой голове. Он говорил хотя и по бумажке, а бойко, легко, практика и в говорении у него была, подводил итоги минувшего года и ставил задачи на предстоящее, при этом называл множество имен, одних людей умеренно хвалил, других, не охаявая совсем-то, поругивал, грозя граненым карандашом. Выступали по докладу рабочие и говорили тоже бойко, грамотно и толково. А от критики начальства все же воздерживались. Почему?.. Главный инженер — он перед этим знакомился с делами мехлесопункта — выступил критично, прописал и самому Пал Палычу и его заведующим участками и мастерам немало горьких пилюль, правда, касались они одного, техники. Родион Аверьянович, когда ему предоставили слово, решил говорить по широкому кругу вопросов, и говорить не стесняясь, резать правду-матку. Он с этого и начал, выйдя на край клубной сцены:

— Ну как, граждане, резать правду-матку или тоже воздерживаться? — Он прошелся глазами челночно по рядам туго набитого зала. — Я думаю, не стоит шибко стесняться.

— Резать под корни!

— Острым ножом резать! — закричали из разных концов зала.

— До крови!

— Ну резать ножом да еще до крови, пожалуй, излишне. Я фигурально о резании правды-матки сказал. Достаточно того, что раскритикуем кого-то. Согласны?

— Согласны, согласны, давай!

— Слышите? — Родион Аверьянович обернулся к членам президиума, а более к главному инженеру, мол, слышите голос массы рабочей. — И чувствуете?.. — Мол, чувствуете, как директор леспромхоза устанавливает с рабочей массой контакт? — Решено подвергнуть отдельных товарищей критике. Начну, Пал Палыч, с вас. — Директор леспромхоза обернулся к начальнику участка, присевшему на край стула, поклонился, мол, не обессудьте, с санкции коллектива. — Уже говорилось, что по участкам мехлесопункта не на всю мощь используется наличная техника. Не на всю. Где там! Например, трактор «КТ» за номером две тройки два ноля больше стоит, чем двигается. То под зонтиком сосны его видишь, то под пологом березы, тракторист крутит гайки — ремонт. А другой трактор, думаю, известно каждому чей, в наилучнейшей исправности, так опять двигается не в том направлении. Едем с главным инженером однажды, глядим, а известный сидящим «КТ» воротит с грузом шпальника не к верхнему складу, как все, а в поселок. И прет, уже прет целиной, разметая снег, по усадьбе. Чьей, думаете? Пал Палыча, в глубину огорода, где у него заложена персональная банька.

— Га-а-а! — не выдержал перенапряжения зал.

— Недостаточно начальнику лесопункта общественной бани, решил поставить свою, чтобы, значит, не мыться из одной шайки с каким-нибудь пропахшим соляркой шофером.

— Га-а-а!..

— И чего ее, думает, не соорудить, персональную, лес нарубленный есть, транспорт найдется, а плотни-

ки... Да Пал Палыч сам плотник первой руки, потихоньку, помаленечку сгношит. И проезжаю позавчера, а день, сами знаете, был выходной, гляжу, Пал Палыч посиживает на срубе, тюкает топором. Была куча бревен, стал сруб, полдюжины, если не больше, венцов. И как, думаю, Пал Палыч успевает? Ночи прихватывает на баньке?

— С фонарем «летучая мышь» трудится человек! — опять взгомонились в зале.

— Плюс подсвечивает луна!..

— Плюс помогают товарищи!..

— Не иначе, думаю, помогают. — Вроде бы неуклюжий во всем ватном и меховом, Родион Аверьянович легко и неслышно прошелся по сцене и остановился перед начальником лесопункта, руки в боках. — И какова получается банька? По-черному или по-белому, с отводом дыма в трубу? А, Пал Палыч?

Тот очинил кулачишком без того острый и малиновый от закалки на холодных градусах нос.

— Какая-никакая, да будет.

— Во всяком случае с паром?

— Ленули на каменку, вот вам и пар.

— С каменкой, значит, по-черному, по-старинному. С каменкой — лучше: лenuл на нее ковшечек — сухой пар, плеснул еще ковшечек — повлажнее. И парься! Ух, парься, сколько желает душа! Только венчики надо. Припасены, думаю. Есть?

— Найдутся.

— Сам ходил обламывал ерник для венчиков или тоже помогали товарищи? Бескорыстно?..

В средней части зала откровенно загоготали, сквозь гогот и смех прорвались восклицания:

— Ну, директор леспромхоза, поддал парку нашему Пал Палычу!

— Да уж выпарил в его недостроенной баньке, берзовым венчиком отстегал!

— Остается предсказать человеку его будущую судьбу.

— А что, я могу предсказать, — вскинул кудлатую голову Лихов. — По чертам на руке. Я знаком с хиромантией. Погадать вам, Пал Палыч? Не надо?

— Мне, мне погадайте, Родион Аверьянович!..

— Нам, нам! — закричали девчонки.

— Кому именно?

— Да вот наша заведующая столовой интересуется...

— Ксения Михайловна? Ну, пожалуйста. — Он хорошо знал эту молодую дородную женщину, от которой недавно ушел ее непутевый мужик. — С полным моим удовольствием. — Родион Аверьянович кивнул членам президиума, больше опять же главному инженеру, и соскочил с клубной сцены, под шквальный шум зала пошел к вылупавшейся из пуховой шали в первом ряду — под шалью белая кофточка — Ксении Михайловне, принял в свои разлапые руки ее согнутую в кисти, как лебединая шея, белую ручку. — Ну что вам, дорогая, сказать? Что сказать?.. — повторил Лихов, будто бы пристально вглядываясь в испещренную черточками ладонь, а на самом деле пережидая, когда в помещении будет потише. — Поглумилась над вами, Ксения Михайловна, злодейка-судьба, ох поглумилась! Но всему бывает конец. Как ночь сменяется днем и зима летом, так невзгоды жизни сменяются счастьем. Черная полоса ваших испытаний проходит, впереди отчетливо виден блестящий небосвод. Что касается вашего обидчика, Ксения Михайловна, так не такой уж он непутевый, поскольку берется за ум... — При этом ворожей быстро взглядывал то на руку женщины, то на распахнутые двери в глубине зала. — И придет он еще, возвратится, попомните мое слово, Ксения Михайловна, поклонится в ножки. Никуда-никуда он не денется! Он, Ксения Михайловна, уже здесь!

Люди в зале, сперва робко, потом все увереннее, смелей, заглядывались; повернула голову со всеми и Ксения Михайловна да и выдернула из рук гадальщика руку: там, в открытых дверях, стоял ее непутевый. Правда, что-то такое смекнул и быстренько скрылся за спинами толпившихся девушек и парней.

— Как в руку положил! — обронила сидевшая рядом с Ксенией Михайловной бабка.

А Лихов уже шел вдоль первого ряда неровно поставленных стульев и, потряхивая черным, с проседью чубом, принимал тянувшиеся к нему руки, вещал:

— ...Выйдешь замуж, милая, в нынешнем году... если обнаружится, конечно, жених... Что ждет тебя, парень, в ближайшие месяцы? Дальняя дорога и казенный дом, пойдешь служить в армию по весеннему призыву. Ус-

траивает?.. Тебя, дед, не интересуется судьба, не протягиваешь руки?

— Почему, почему?.. — ворохнулся в дубленой овчине древний старик. — Даже очень, Аверьянович, занимается.

— Ах, Осип Макарович! — сделал вид, что только сейчас опознал его Лихов. — Все ж таки хочется знать, что ждет впереди?

— А как же! — Старик, покряхтев, поднялся, хотел расправить горб, да не удалось. — Интересно узнать, когда приберет, грешного, смерть. Вон кума давно прибрала, со мной тянет резину. Или сбилась со следа, никак не найдет: я, видишь ли, землячок, переехал из одного поселка в другой, к внуку. И не собирался петлять, чтобы как-нибудь уцелеть, а вот получилось. Но пора бы ей, пора найти грешного...

— Значит, очередь, Осип Макарович не дошла, есть на свете погрешнее тебя. Например, Пентюхов Матюха.

— Он, сказывают, опять здесь.

— Здесь. Отбыл срок за подлость свою и предательство и снова к нам тут прибился. Ты горячее охраняешь, он — леспромхозовский заброшенный пока что поселок. А уж я как директор наблюдаю за ним, голубчиком, вдруг скovyрнется, оставит государственное добро без присмотра. Ну-ка, давай руку, Осип Макарович, погляжу, что тебе готовит судьба. — Родион Аверьянович, как мог, разгладил на своей широкой ладони желтую и сухую, как палый лист клена, старинову ладошку. — Да нет, ничего рокового в твоей ближайшей судьбе не предвидится, живешь и жить будешь. По сторожевой твоей службе, как показывает насечка под указательным пальцем, могут быть серьезные неприятности. Худо глядишь, Осип Макарович, за шоферами, лишнее они у тебя на бензоскладе берут. Иной ухарь наливает в баки сто литров, а расписывается за пятьдесят.

— Так и значит на руке?

— Как в бухгалтерском документе.

Притихший было в напряжении зал слегка трянуло от смеха.

— Чудно. Очень даже, Родион Аверьянович, чудно. И что делать... чтобы не протекало горячее?

— Заткнуть на вверенном складе лишние дырки.

— Так пальцем, что ли, заткнуть? Для всех дырок пальцев не хватит.

— Снимайте с Пал Палычем ватные брюки и садитесь голым, закроете сообща.

— Гга-а-а! — аж ударило в потолок.

— Ладно, граждане!.. — Родион Аверьянович заскочил на сцену и поднял обе руки. — Ладно, лесорубы, посмеялись, и хватит. За дело! Теперь принять новые обязательства. Какие есть достижения по прошлому, закрепить, какие огрехи — исправить, а переходящее знамя.. Пусть оно прирастет к нашему коллективу навек!

Уезжали директор леспромхоза и главный инженер, как и приехали, вместе; машиной правил сам Родион Аверьянович, пока пробирались по улицам и переулкам поселка, бросал ее из стороны в сторону между сугробами и валявшимися в снегу лиственничными хлыстами, где целыми, где порезанными на чурбаки; главный инженер, подняв воротник черного полушубка и свободно развалившись на заднем сиденье, курил; сжег одну папиросу и полез в карман за другой, опять высек зажигалкой огонь. Синий табачный дым все клубился над головой самого курильщика, а когда выбрались из поселка и повернули на свою главную лесную дорогу, мотнулся тучей в передок, где лохматилась большая в заячьей шапке голова Лихова, что тот не удержался, с укором сказал:

— Ты что, главный инженер, куришь и куришь, молчишь и молчишь? Может, заболели зубы, норовишь успокоить? Цинга?..

— Нет.

— А то у нас тут бывает, маются люди, если не запасли на зиму черемши, а лука и чеснока по столовым и магазинам в обрез. Но теперь лучше снабжение. Веселее зажили люди. Активнее стали. Обратил внимание, сколько народу собралось в клуб? Старые и молодые пришли.

— Старые и молодые, — подтвердил Кузнецов.

— Работящие за небольшим исключением люди, старательные. Зарабатывают прилично. А одеваются? Как одеваются! Обратил тоже внимание?

— Да.

— А как я с ними толковал, слышал и видел? Понравилось?

— Нет.

— Что значит, нет? — Родион Аверьянович без надобности надавил педаль тормоза, что машина как бы загнулась. — Чем именно не понравился разговор?

— А чем он может понравиться?

— Ну-ка, ну-ка, дружок.. — Машина пошла все медленней, как бы упираясь и царапая когтями дорогу, и стала, Лихов не спеша вылез из нее и распахнул заднюю дверку. — Вылазы! — И главный инженер, даже не спросив, что за причина, застегнул на себе полушубок и переступил узкий порог, угодил по щиколотки в снег. — Стой! Обратнo! — И Кузнецов поднял ногу в ботиночке («Все же в ботиночке!»), не говоря ни слова, начал забираться под брезент кузова. — Чем же вам, ферт, не понравился разговор директора с работягами?

— Всем.

«Выходи!» — почудилось Лихову, крикнул он снова, но тотчас сообразил, что крик был внутренний, а это значит, не настоящий, и это порадовало его: новая глупость не совершена.

— Чем именно?

— Рисуетесь перед рабочими леса. И не только перед рабочими. Паясничаете и скоморошничаете. Вместо того чтобы говорить с народом по-деловому и требовать дела, — не спеша и не нажимая на басовое, проговорил Кузнецов.

— Ферт! Я же говорил, ферт!

Больше за всю дорогу они не перекинулись ни одним словом. Главный инженер, поколачивая ботинками по металлическому полу машины, курил; директор леспромхоза гнал вездеход, без конца сбивавшийся с переметенной дороги, чертыхался. «Видите ли, он не так разговаривает с народом! — весь клокотал он. — И кто ему говорит об этом? Да какой-то мальчишка, еще не нюхавший пороха самостоятельной работы в жизни! Сопляк!»

А «мальчишка» и после этого не стеснялся говорить то, что он думает. Был случай, назвал пожившего на

земле человека удельным князем, язычником; о его лесном производстве выразился еще более определенно: организуется без особого мастерства и искусства, но старинке: «Эх, дубинушка, ухнем!»

Родион Аверьянович сам чувствовал, недостатки в его директорстве есть, без лишних слов на собраниях, без запарки и штурмовщины в лесу он не обходится, а технику насилует, и безбожно, когда восклицает: «В лес! Все, что крутится и вертится, в лес!» Но одно — чувствовать, даже понимать оплошность в своих действиях и поступках, другое, — чувствуя, понимая, как-то поправляться, — нелегко, ох, нелегко. Нелегко переносить, когда тебя тычут носом в твои недостатки, как слепого котенка или щенка. Тебя, Лихова, директора краснознаменного леспромхоза, передовика!.. И кто тычет?.. Родион Аверьянович сердился на молодого технорука, но сопляком и мальчишкой больше не называл. Старался понять человека, поставив на его место себя. Случалось, заводил разговоры с главным бухгалтером, с председателем рабочкома, не жаловался им, нет, но все-таки сетовал, что получают у него с юным техноруком постоянные трения. Сослуживцы сочувственно кивали ему, а определенных суждений не высказывали, как видно, стеснялись. Они долгое время работали под началом удачливого директора, помогали ему и пользовались его расположением и помощью, им было непросто и нелегко перейти в какую-то новую веру, точно не зная, насколько она лучше привычного и надежного, поившего и кормившего их язычества.

«Слабаки, — думал Родион Аверьянович, — неспособные поднять своего голоса, слабаки! А вот главный инженер, даром что молод, не боится что-то сказать откровенно». Это возвышало его в глазах Лихова, он тянулся к тому.

#### 4

Матюху Пентюхова в Кипрейной, конечно, не ждали. А он заявился, уже старый и одинокий. Куда его было деть? Пришлось зачислить в штат леспромхоза, сторожем, конечно, с согласия рабочего комитета. Но место подходящее нашлось только в пустом и до поры до времени ненужном рабочем поселке. Там он, сторож, и жил. Один. Но поселок стоял неподалеку от



большой лесовозной дороги, и к старику заезжали обогреться и попить чайку шоферы, привозили различные новости. Кроме того, Пентюхов имел свой радиоприемник, день и ночь слушал радио, так что все знал о событиях в мире, о положении в стране.

Директор леспромхоза заглядывал к нему иногда; по долгу службы приходилось и проверять старого, как он хранит какое ни на есть государственное добро, и заботиться о его быте. На этот раз Родион Аверьянович оказался в заброшенном поселке случайно: ехал мимо и завернул. Вездеход, взбороздив снег, остановился у единственного среди множества мертвых домов жилого многоквартирного дома: из трубы валил дым. Черный, он поднимался невысоко, его заламывало и прибывало к запеленатой снегом крыше. И на низком крыльце лежал снег, целый сугроб, привалившийся тугим боком к дверям.

Гремя обмерзшими досками, Родион Аверьянович растолкал ногами на две стороны снег и потянул к себе скобку дверей, прошел в сени. Из избы пахло кислым, овчинным, ударившим в нос после уличной свежести.

— Кто в тереме живет? Петушок — золотой гребешок?

— Где там! — отозвался с кровати Матюха. — Лягушка-квакушка. Не вижу, кто пожаловал на болото. — В полушубке и треухе, он приподнялся на локтях и прописклявил по-бабьи: — А-а, сам Родион Аверьянович, землячок мой и нынешний хозяин! — И уже более мужским голосом, грубоватей: — Проходи, проходи, гостем будешь. — Бас его к старости ослаб, подносился. — Каким ветром, ежели не секрет?

— Ты скажи, почему валяешься на постели, одетый? Немытый, нечесаный? Хотя, что у тебя там чесать!.. Почему печку плохо топишь, холодище в избе?

— Да вот лег отдохнуть да и не заметил, как сморил сон. — Старик уже сидел на кровати, сдирая с головы бараний треух; безусый и безбородый, с морщинистым лицом и запекшейся лысиной, он походил на застарелый по осени гриб; только говорящий был гриб: — Тут еще дровишки попались, дым от них есть, а тепла нету. За сухими бы выйти, дак пуржит со вчерашнего дня.

— Со вчерашнего из дому не вылезал? Вот это да, сторож!

— А что, сторож. В пору брусники тут ягодницы наши, леспромхозовские, ходили, ночевали в бараке и выдавили из рамы стекло, я взял их фамилии на карандаш, отправил в контору, дыры в раме фанеркой зашил. Был случай, шофер проезжающий выставил целую раму и с нею умчался, так я номер машины запомнил и сообщил, не знаю, какие приняты меры. Не задержал вора, так что же, стрелять в него, дурака?

— И со стрельбой твоей мог увезти не раму, не окно с рамой, а весь дом.

— Ну, целый дом, Аверьянович, заправляешь, не увезти. А как бы он раскатал его и повез? Все ближние дома я вижу в окошки, — и старик заглянул в одно из них и другое, на две стороны, — к тем, что далее от дороги, у-у, ни подойти, ни подъехать, до пояса снег.— Он забулькал каким-то нутряным подзадоривающим смешком. — Ты лучше скажи, Родюшка, что тебя ко мне привело, опасение за поселок? Забота о старике? Так тут у меня порядок.

— Порядок, порядок, а обогреть себя не можешь! — Родион заглянул в поставленную на попа бочку из-под горячего, служившую печкой, и, хлобыстнув дверкой, подхватил с пола топор, принялся колотить тут же, у печки, дрова.— Обогреть себя в доме не можешь, где тебе уследить за целым поселком!.. — Размахнувшись, не рассчитав, увесистый топор развалил надвое полено и врезался в пол. — Черт возьми!.. Вот погружу вместе с манатками на вездеход и умчу в Кипрейную, хватит, посторожил.

— Не умчишь, Родя.

— Отвечать за тебя буду и дальше? А если ты проворонишь общественное?

— И все равно не лишишь заработка, не обидишь меня...

— А сковырнешься тут один?

— Все мы из небытия приходим и уходим в небытие. А убрать меня, землячок... Положим, уберешь, а кого на мое место поставишь?

Вот в этом старый был прав: охотника куковать среди мертвых строений вряд ли подыщешь. Днем с огнем не найдешь!.. Печка, разгораясь, начинала гудеть, от нее потянуло теплом, и Родион Аверьянович прошел к вешалке, там сорвал с себя бушлат, повесил

на крюк. Молодой не захочет жить в одиночестве, хоть и не бей лежачего работенка, старый... не всякий старый рискнет жить без людей: вдруг какая болезнь? Да если бы попытался Матюха просить, требовать немедленную подмену, он, директор леспромхоза, на колени бы перед ним опустился: поживи тут; зарплаты по безлюдному фонду добавим, только посторожи.

Пока Пентюхов не отказывался от своей должности, Родион Аверьянович поломался, как перед тем мельником в Займище, потешил себя, придвинув к стариковой кровати расшатанный стул:

— Свято место пусто не бывает. Да только я объяви, как набегут желающие сюда. Потому что тут можно заниматься охотой. А ягод по летам сколько, осенью кедровых орехов! Тут у тебя золотой прииск. Не будь я директором леспромхоза, я сам запросился бы в сторожа. Не промышлял бы в тайге, так полеживал, слушал бы радио. Ты как нынче слушаешь, двадцать четыре часа в сутки? Или больше?

— А я не гляжу на часы.

— Все за границу слушаешь?

— И ее. Да вот батарейки сели, надо бы...

— Ну, батарейки я тебе доставать не буду.

— Да я и не прошу, Родя, не надо. Обещал привезти один шоферишко, дождусь.

— Продукты, какие положены, велю привезти, обяжу шофера Царапкина, чтобы свозил тебя вымыться в бане, а другого не жди. И зачем тебе иностранное радио? Может, ждешь новой войны? Нападения?

— Что ты, что ты, Родион Аверьянович! — Старик поднял обе руки и затрясся, но страха на бескровном лице не было, в сощуренных глазах пряталась не робость, хитринка. — Зачем, подумай, мне нападение? На какую радость война?

— Скажешь, не ждал тогда Гитлера?

— Ждал. Тогда ждал. И надеялся, только недолго. Был предателем и холуем ихним, но не полным врагом. И с тобой мы не всегда были противники, случалось, выручали друг друга.

— Ты считаешь за выручку, когда продавал мне мельницу, сам себя раскулачивал? Потом науськивал убить человека, который обучил меня чтению, письму?

— Это в Займище-то тогда? Мужичья была темная несознательность. Темнота и обида. И твой батька, думаю, не хворай он, тоже бы... Не сошли нас подальше, натворили бы мы, ох, много всего натворили. Но не будем, Родион Аверьянович, то давнее ворошить, не надо. У меня там было много оплошек, не на ту лошадь сколько раз ставил; из Кипрейной гари тогда пробрался ближе к немецкой границе, началась война — поступил на службу к фашистам. Ты, Родюшка, действовал правильной. Но и мне, мне в сорок четвертом году подфартило, — перешел на шепот, — сделал кое-что для своих, когда они наступали. В один большой город ворваться помог, командир корпуса наградил меня за это медалью. Желтенькая такая, из бронзы. Только она и спасла, получил срок. Верно, жизнь там не малина, да голова цела, ноги как-никак ходят..

— А скажешь, не злишься больше на власть нашу?

— Нет. Не шибко. Да толку-то в зле? Лоб-то, посмотри, от злости голый, — старик шаркнул ладонью по пергаменту кожи на лбу, — во рту-то у меня пусто, — он открыл рот, поводит мизинцем по оголившимся гребешкам десен. — Куснул бы кого-то, а чем?

— Ну и какая теперь у тебя вера, во что?

— Знаешь, в конвергенцию начинал было верить. Это такая петрушка, мы им уступаем, они нам, не наше в общем итоге, не ихнее, середина на половине. А потом гляжу, ерунда. Ерунда, одно с другим не сольется!

— Верней — социализм?

— Верней, право слово, верней. И я начал с ним помаленьку смиряться, не знаю, надолго ли. Конечно, не директор, как ты, не начальник, рядовой член замыкающий, но все же в строю... А теперь, Родюшка, — старик сполз с лежанки, — давай побалуемся чайком. Ты сегодня завтракал и обедал?

— А почему бы вдруг нет?

— Ну, мало ли, сперва с женой канитель, потом с подчиненными перепалка, не до еды. С новым главным инженером размолвка. Ты ему что-то сказал, и он согласился, другой раз сказал, и он опять согласился: да, да, а на третий загвоздил: «Нет!» — попробуй, выдерни гвоздь. Сегодня размолвка да завтра размолвка, смотришь, и замотался пожилой человек из-за молодого, почти что мальчишки...

— Собираешь сплетни, старик! — Наклоняясь перед печкой, Лихов одной рукой быстро открыл дверку, другой подхватил полено и сунул его в огнедышащую пасть. — Намотал сплетен на ус и разматываешь. Да если какой-то сопливый насмелился поднять хвост, и надо его приступить!

— Легче, Родюшка, легче, они теперь не такие сопливые. Молодая новая кадра, ее надо беречь. Прислушиваться к ее голосу. Как же! Вот я к твоему молодому тогда не прислушался, и полетел в тартарары.

— Ты считаешь, директор леспромхоза не умеет держать контакт с молодежью?

— Нет, почему же, контактит.

— Отстает от технического прогресса?

— И от прогресса не отстает, знает, какая-никакая машина, а все не две, как у человека, руки, больше. Управлять машинами и народом на машинах умеет. А ему начинают советовать. Да еще молодые. Да еще пробуют возражать!..

— Ну ладно, старик, хватит!.. — остановил его Лихов, прошел к вешалке и сорвал с крюка бушлат.

— А чаю-то, землячок, чаю?.. — засуетился Пентюхов возле печки... — Уж попей вместе, уважь земляка.

— Некогда. Да и как бы не промерз радиатор. Так что, если ни просьб, ни жалоб — пока!

Мельтешил снег, на дороге вспыхивала поземка, а стужи большой не было, и вода в радиаторе не замерзла; Родион Аверьянович включил зажигание и, выворотив к середине проулка машину, погнал ее, торопя. Размышляет тут от безделья старик! Про него, Лихова, как-то прознал, про отношения с главным инженером. Да ладно, пусть знает, пусть говорит!.. Засвистел встречный ветер, захлопал брезентом двух боковин; навстречу летел хвойный лес, но еще не поравнявшись, расступался услужливо и сваливался черной массой по сторонам. Вот такая езда Лихову нравилась. На свободной дороге, при быстрой езде он чувствовал себя царем, богом. А чтобы везде и во всем богом, царем — этого... этого не должно быть. Кто-то хотел бы поделиться с ним властью? Главный инженер Кузнецов? Ну, пожалуйста! «Вот пойду в очередной отпуск, оставайся за меня, развернись. А я со стороны погляжу...»

Морозы этой зимой не отличались суровостью, уже во второй половине февраля зачастили оттепели, март начался не с диких плясок пурги, как было в прошлые годы, а с тихой, вкрадчивой измороси, точившей снег и шуршавшей в снегу; после женского праздника развезло, казалось, вот-вот вздуется, зашевелится Чулым. Весна бралась за свое без оглядки. Весной, когда валка и вывозка леса почти что остановились, а лесосплав еще не начался, Родион Аверьянович и решил взять отпуск. И взял бы уже в конце марта, да пришла радиogramма из комбината, явиться на совещание в комбинат. Лихов быстренько сообщил, что вместо него придёт главный инженер. Ему ответили: вопрос исключительно важный, круглогодичная на все сто процентов работа в лесу, ликвидация порочной сезонности, быть самому.

Ну, сам так сам, пусть главный разворачивается и сейчас, пока он ездит в командировку, и потом, когда будет гулять!

## 5

Обычно, приезжая в комбинат, Родион Аверьянович привозил с собой полный портфель и объемистую авоську подарков: машинисткам и секретаршам — конфетки в нарядных обертках, с обязательным добавлением смешного рассказа о рыбной ловле или соболиной охоте в причулымской тайге, милым женщинам отдела материально-технического снабжения и главной бухгалтерии — одеколон и духи в роскошных коробочках и флаконах, плюс малосольная рыбка, по преимуществу стерлядь, по штучке, по две, некоторым из мужчин, собственно, троем начотделам, — по доброму куску осстрины или увесистому ленку. Иногда вместо конфет и духов были какие-нибудь чебурашки, вместо речной рыбы — сохатина или кедровый орех.

Привозил это Лихов, как он считал, не для того, чтобы кого-то задобрить, что-то выгадать для себя, для своего леспромхоза, он отвечал добром за добро, причем знал, что отвечает не эквивалентно, ему дают куда больше, чем он: и премий разных дают, и почета, славы как передовому директору и чуть ли не постоянному победителю в соревновании. Без их помощи он не ускакал бы так далеко.

Еще лет десять назад, только начиная карьеру директора леспромхоза, Лихов заметил, что в комбинате заинтересованы, чтобы какое-то из хозяйств выделялось как лучшее, шло впереди, чтобы по нему равнялись все остальные. Передовика отмечали вымпелами и знаменами, о нем писали в областных и центральных газетах; передовой леспромхоз скорей получал деньги на строительство, например, клуба, библиотеки; коллективу передового выделяли больше путевок на курорты и в санатории... Родион Аверьянович страстно хотел сделать свой леспромхоз заметным, передовым.

И он этого с годами добился, за ним прочно закрепилась слава умелого руководителя, волевого. На голову его посыпались почести. Он привыкал к ним и все меньше удивлялся собственному успеху. Привыкали и в комбинате, что его леспромхоз — лучший из лучших, и старались ему помогать: что-то новое из техники — лиховцам, жилой дом и какой-то единственно разрешенный объект соцкультбыта — им, им. Чем же мог ответить Родион Аверьянович на всеобщее к его леспромхозу внимание? Уж, конечно, не подарками — делом, работой. Ох, понаматывал на колеса нелегких лесных километров его, директорский, вездеход! По названию вездеход, а посидела машина в снегу и грязи, покуковал в ожидании вызволения директор! Не проходил вездеход — сиделся верхом на лошадку, и лошадь не пролезала — шел пешком или на лыжах и уговаривал, приструнивал, требовал, чтобы был обязательно план. Допускал перегибы, смущался, встретив обиженного, и оправдывал себя только тем, что лес рубят — щепки летят.

Итак, ехал с подарками. И что это — взятка? Подхалимаж — эти куски медвежатины? Заискивание — эти конфетки?..

В машбюро забрел лохматее, чем медведь: доха пестрая, до полу, ушастая шапка, унты, нанес холода и, конечно, лесных страшных-престрашных видений девочкам, они завизжали, а потом обступили цыплятками, принялись дружно клевать высыпанные на стол леденцы. Милым женщинам привез шесть купленных туесков, наполненных непокупной клюквой, и два из них сразу после машбюро занес в отдел материально-технического снабжения, с остальными поднялся на верхний этаж комбинатовского здания, в главную бухгалтерию.

— Ну, милые женщины!..

И хотя те не визжали, как машинистки, но дружно заахали и заохали, видя, как их кумир достает из портфеля маленькие берестяные посудинки с замысловато расписанными по бежевому чем-то темно-коричневым. Счетоводу, молодой женщине, сидевшей ближе к двери, — туесок, двум старшим бухгалтерам, уже солидным дамам, — по туеску, туесок — главной и, конечно, милейшей. Поставил перед нею, немного смутившейся, произведение прикладного искусства с двумя стаканами таежного яства и в изумлении отступил на шаг: в кабинете была еще одна женщина, пятая, рылась в бумагах. Не просто пятая — представительница Москвы, очевидно, приехавшая проверять счетных работников комбината, и не просто московская представительница, ревизор, а известная ему по молодым годам Фроська. Пятого же туеска он не имел.

— Извините, не думал, не предполагал. Здравствуйте, Ефросинья...

— Гордеевна, — подсказала она, поднимаясь со стула и, как тогда, солнечно улыбаясь. — Здравствуйте, Родион Аверьянович. Стоит ли извиняться!

— Стоит! Я для вас, Ефросинья Гордеевна, специально закажу в свой леспромхоз. Сейчас же! Завтра будет здесь мой главный бухгалтер, привезет. Или вам, скажите, не нравятся?

— Нет, почему же?! — грудью подалась вперед Ефросинья Гордеевна и осторожно коснулась ладонью красовавшегося на столе туеска. — Такой ласковый, аккуратный!.. — Она опустила на деревянную с ручечкой крышку четыре пальца правой руки с ноготками, как крупные и зрелые клюквины. — Славный туесок!

— Ну и будет у вас точно такой!..

И через каких-нибудь полчаса Лихов разговаривал по рации со своим леспромхозом, наказывал главному бухгалтеру попутно привезти туесок. Два туеска! Один с клюквой, другой с брусникой, — там соседская бабка отыщет в кладовке, вручит. Обещал — надо сделать. Поговорить еще со старой знакомой. Встреча с нею опять озадачила Лихова и встревожила. После пережитого в молодые годы он стал мнителем и пуглив. Ему стало казаться, что Фроська опять появилась на его пути неспроста. Тут с чем-то связано. С чем? Главный инже-



нер пожаловался через голову комбината в Москву? Так он вроде не ябедник. Да и что он мог туда сообщить!

Однако весь этот день, пока сидел на совещании у руководителей комбината, в голове нет-нет да и ударяло молотком: «Что?.. С чем?» Перебирал различные случаи нарушения финансовой дисциплины: и по безлюдному фонду истрачено больше, чем полагалось, и на ремонте жилья лишнее издержали. Но разве положил директор леспромхоза хоть копейку государственных денег в карман? Нет! И поскольку ничего особенно криминального не было, Родион Аверьянович приходил к мысли, что подозрительность его неосновательна, успокаивался и опять внимательно слушал ораторов, особенно управляющего, соглашался с ним: да, надо валить лес и возить лес беспрерывно зиму и лето, при теперешней технике это возможно; надо только держать в надлежащем порядке лесные дороги, улучшать бытовые условия лесников, приближать их жилье к месту работы. И одно надо, и другое, и третье, а кто должен делать? И на какие шиши? Каждый в конкретном случае должен смотреть, какие есть внутренние возможности и резервы? Придется внимательнее смотреть.

Просидели на совещании день и еще день, а всего так и не обговорили. Решили остаться на третий. Уже в сумерки, с объемистым портфелем в руках и двумя туесками в портфеле (главный бухгалтер выполнил поручение) Родион Аверьянович направился было в комбинатскую бухгалтерию, к Ефросинье Гордеевне, но неожиданно встретил ее в коридоре, она шла навстречу одетой: черная шубка на ней, серый оренбургский платок.

— Вот, землячка, — приподнял он портфель, — как тогда обещал, хотел бы вручить. Здравствуйте.

— Здравствуйте, Родион Аверьянович. Что ли, здесь? — Она повела рукой, показывая на пустой коридор и пыльный, едва освещенный электричеством пол. — Может, пригласите землячку куда-то, вместе поужинаем?

— Конечно, конечно!

Неподалеку был ресторан. Днем он именовался столовой, вечером — ресторан. Народу в зале оказалось немного; они заняли столик в притененном абажурами углу — так пожелала гостья из Москвы, — Родион

Аверьянович положил перед нею меню в толстых корочках, с глянцевитым рисунком: выбирайте. Но та подержала меню, как бы испытывая на вес, и вернула.

— Картошки с салом.

— И только-то? Не по-царски!

— Как раз, Родион Аверьянович, по-царски... Петр Великий привез свою Екатерину — не Вторую и не Великую — в Париж и там, в какой-то гостинице, вот так же спросил, что она желала бы покушать. Та ответила: «Картошки с салом».

— Да нашлась ли там картошка? И сало? Да они и здесь вряд ли найдутся. Сейчас погляжу в меню...— Он раскрыл жесткие корочки и поперебирал огрубелыми пальцами неподатливые листки тонкой папиросной бумаги. — Нет. Котлеты говяжьи есть, бифштекс с луком есть, а чего-нибудь даже похожего на картошку с салом не вижу.

— Так нет. Я же знаю, что нет. Закажите, Родион Аверьянович, порцию сайры и бифштекс с луком, И водки! Да не смотрите на меня удивленно. Себе можете взять кагор или портвейн, если не осилите что-то покрепче, а мне — водки. Конечно, немного, сто граммов. Я хочу вспомнить вкус самогона. Поможет одна водка. Зачем, спросите, воспоминания? Да так. Может быть, и не так... — Она загадочно сощурилась. — Самое первое, что я в жизни пила, после обычных воды, кваса и молока, был самогон. Его в ресторане, как и картошки с салом, разумеется, нет. Пусть заменит его горькая водка!

Она ее выпила не сразу и не из рюмки, а зачем-то перелив в граненый стакан и сперва попримерившись, зато выпила с отчаянной легкостью, свободными глотками, как воду. И, конечно, опьянела. Теперь Родион только слушал. Говорила она:

— Я стала пьяная, да? Ну и пусть. Пусты! Это я для храбрости напилась, чтобы не чувствовать себя стесненной. Не люблю быть стесненной!..— Быстрыми пальцами она рванула на себе ворот белой гипюровой блузки, что гипюр, кажется, затрещал, расстегнула верхнюю пуговицу. Но, помедлив, вновь застегнула. — И не желаю, естественно, стеснять чем-то других. Не хочу делать кому-то больно. А на меня и здесь смотрят с опаской и подозрением, мол, приехала из Москвы, копаются, ищет,

кого бы и в чем обвинить. А я не ищу злоумышленников, я проверяю ведение финансовых дел, смотрю, что делают правильно, в чем ошибаются. И разве я какая-нибудь буквоедка, ставить каждую цифру в строку? Я же знаю условия работы в лесу, тем более в сибирской тайге, тут могут быть и какие-то исключения из правил. Если это не злоупотребления... Так нет, видят во мне чиновника в юбке, ревизоршу бесчувственную, копушу...

— Ну, это не так, — возразил Родин Аверьянович, придерживав на столе ее руку с беспокойными пальцами.

— Так, почти так! И ты сам, Родион, — перешла она не оговариваясь на «ты» и назвала его только по имени, — ты сам, наверно, подумываешь: «А не собирается ли она снова подкапываться под меня?» Нет, Родька! — вылетело из нее просто и как бы привычно. — И тогда не собиралась причинять зло, да так вышло, что причинила. Я же знаю, все знаю, что там, на юге, произошло, как ты уехал и почему уехал в Сибирь. — Она вся разгорелась, лицо от вина, от возбуждения пылало. Она налила в стакан минералки и плеснула себе в рот, но пламени, конечно, не загасила. — И зачем, зачем опять эта встреча, если ты меня снова подозреваешь?!

— Да откуда ты!.. — Он едва не назвал ее Фроськой. — Откуда взяла?

— Не убеждай, знаю. И что думают комбинатские, знаю: «Еще наберет разного, заподозрит». И вижу, некоторые завидуют: живет бывшая сибирячка в Москве, в большом доме с удобствами, работает в министерстве, а баба, как все бабы. Ну конечно же, баба, кем еще быть? Чиновница! И живу, даже в очень большом доме живу, на двенадцатом этаже, под облаками. А кто знает, как там живу? Хватает ли под облаками дыхания?! Что, что я сказала?.. Вот как пить водку без меры! Будем, Родион Аверьянович, ужинать. Не возражаете?

— Нет.

После ужина Лихов проводил ее до гостиницы комбината (сам он, как всегда, остановился у друга, начальника ПТО) и, переминаясь с ноги на ногу перед входной дверью, стал уже вынимать из портфеля порядочно надоевшие ему туески, спутница положила на них руку в перчатке:

— Вам трудно их занести в мой номер?

— Нет, почему же...

— Так идите за мной. Время восемь часов, к нам можно до половины двенадцатого. Так обозначено в правилах, они вывешены на стенке. Осторожно, почему-то не горит свет... Почему-то не электричество — свечи. Хотя... романтично!

И в номер дежурная-администратор принесла зажженную свечу, поставила ее в чайный стакан, водрузила на столе. Помещение было просторное, рассчитанное на именитых гостей, сразу определил Родион Аверьянович, кроме обязательных кровати, гардероба и стола, тут была кадка с каким-то широколистным цветком, трельяж, поставленный против кровати, и огромная, как па-луба баржи, оттоманка, она занимала угол комнаты по левую руку от входа. Возле нее и остановился, в унтах и дохе, Лихов. Хозяйка номера пробежала вперед и скинула шубку, повесила ее в гардеробе. Повесила и вернулась к гостю, приняла из его рук портфель и, не открывая, поставила на пол.

— Раздевайтесь, Родион Аверьянович...

Он послушно снял беличью шапку, положил ее на край оттоманки.

— Доху... — сказала Ефросинья Гордеевна и коснулась ее распахнутых пол, да и потянула их на себя, за-прокинув голову, вскрикнула: — Родька!

Все сегодняшнее, сиюминутное — зимняя ночь в чужом городе, полутемные коридоры комбинатской гостиницы и гостиничный номер с громоздкой мебелью и свечой — вдруг полетело в тартарары, Лихов ясно представил себя на лунной улице Займища, того, давнего, после игрища в клубе, и рванулся вперед: «Фроська!» — и запахнул ее в полы дохи. И она затрепетала в его объятиях точь-в-точь, как тогда, повторяя со стоном: «Родька! Ох, Родька!» И все искала губами его губы и норовила не только поцеловать, укусить.

Он первым опамятовался и шепнул:

— Надо ж раздеться...

— Да. Хотя — нет! Я — да, — и она принялась сры-вать с себя что-то, — а ты — нет!

Потом лежали на оттоманке, накрывшись дохой, разъятые и опустошенные. Мыслей в голове Лихова не было. Пока-то пока, кажется, независимо от его усилий,

отфокусировалась перед закрытыми глазами картина: молодой кедр с пригнутыми снегом ветвями, возле него натеренная тропка, она ведет к ступенькам крыльца, далее — приоткрытая дверь. Его леспромхозовская контора в Кипрейной! Завтра надо ехать домой. А сегодня не мешало бы подготовить заявку на запасные части к трелевщикам и лесовозам... И Родион Аверьянович зашевелился под своим краем дохи, начал вставать, и Ефросинья Гордеевна не пыталась удерживать его.

— Утром найду, прощаемся.

— Хорошо.

А утром ее уже не было, оказалось, что она уехала в один из леспромхозов — дела.

Лихов со своими делами покончил в тот же день и выехал поездом на Чулым. Там всей конторой целую неделю корпели над планами лесозаготовок на трудные весенне-летние месяцы. Он, директор, предлагал одно, главный инженер другое. Родион Аверьянович поначалу спорил с ним, под конец махнул рукой: пусть будет, как настаивает он, Кузнецов. И пусть делает он сам!

В первый день апреля, выдавшийся не по-весеннему студеным: дул северный ветер, дорога лежала закованной в ледяную броню, директор леспромхоза вновь ехал к поезду и далее поездом. А под вечер голубой заоблачной высью самолет нес отпускника из Сибири в Москву.

## 6

Последний раз Родион Аверьянович заезжал к сыну, по пути на курорт, четыре года назад. В то время Ленька (он и тогда был не юношей) ходил неженатый, в науке числился кандидатом и квартировал у товарища, снимал закуток. Теперь это был доктор наук, и были у доктора жена и новорожденный сын, а занимал доктор с семьей трехкомнатную квартиру, паркетный пол в ней (правда, низкие потолки), во всех комнатах полированная мебель. В большой комнате с окнами на две стороны чинно стояли коричневые шкафы, набитые книгами; и на шкафах были книги, и на журнальном столике — его тонкие ножки так и подламывались от книг; толстые книги с серебряным тиснением по корешку лежали вразброс на письменном столе, занимавшем простенок, и стопками под столом, на полу.

— Столько книг, — покачал головой Родион Аверьянович. — И все ты их, Ленька, читал?

Сопровождавшие его сын и невестка переглянулись. Гладко выбритая, но блеклая кожа на Ленькиной щеке нехотя потянулась к глазу, к виску.

— Нет, конечно.

— Ой, скромничает, не признается! — вступилась невестка и, собирая полы халатика, смело шагнула вперед. — Читал их Леник, читал. Днями и ночами читает, без книги не сядет за стол.

Халатик ее был в мягких, привяленных стирками, розоватых цветах. И в улыбке, в голосе Верочки было скромное, мягкое, Родиону Аверьяновичу поглянулась невестка. Шибко тонка, что тебе полевая былинка, так еще молодая, на двенадцать лет младше мужа, вон у того посветлела макушка нечесаной головы; кроме того, Верочка только-только после родов, кормящая и баюкающая своего птенчика мать. Да и Леньке, надо быть, достается с наследником, тоже не гладок. Даже сильно заезжен. Немудрено: дома да на работе, полвоза да воз.

— И на сколько же у тебя книг, Леонид? Поди, тысяч на десять?

— Ну где там! Тысячи на две-три.

— Тоже деньги. Ковров вижу накупил. Может, тещины? Да? Один этот, на полу, что стоит. — Родион Аверьянович поковырял носком шлепанца ворсистый ковер. — Сколь рыхл и упруг! Что тебе мох на болоте в сухую летнюю пору. Иностранный какой-нибудь?

— Югославский, — с готовностью пояснила невестка.

— Мебель красного дерева тоже из-за границы?

— Румынская.

— Теперь много всего заграничного и у нас по Сибири, даже в лесу. Покупаешь ботинки — Чехословакия, взял стеклянную банку с томатным соком — Болгария! Механизмы зарубежные есть, из социалистических стран.

В коридоре Верочка проскочила вперед, приняла на себя бесшумную дверь.

— Наша с Леником спальня. — Кроме как Леником, она своего суженого не называла, и это означало, понимал Родион Аверьянович, любовь. И дай бог, что любовь! Без нее, пожалуй, и ковры не милее дерюжин,

и умные книги — простая бумага. А тут, в спальне, кроме книг — тоже книг! — и ковров, было еще много всего тюлевого. И распирали две противоположных стены гардеробище со многими дверцами; что там, за дверками, гадания излишни. Словом, устроился Ленька, обзавелся всем необходимым домашним. Даже без чего-то можно бы обойтись...

Детскую комнату Родион Аверьянович не разглядывал. В детской он стоял над кроваткой и следил, как дышит его внук: крылышки носа то приподнимутся, то разом опустятся, шевельнется на пододеяльнике тонкое кружевце. И время от времени по какой-то причине вздрагивала ресничка на одном, все на одном и том же глазу. А был момент, на переносье обозначилась, как у взрослого, складочка, и мать, тоже затаившая было дыхание, шепнула:

— Сердится на кого-то малыш.

Но тот больше уже не сердился, складочка его мирно разгладилась, и только ресничка — все та же — время от времени вздрагивала, будто отпугивая какую-то мушку, и дед Родион отошел на цыпочках от кроватки, сказал:

— Славный мальчонка, не будем ему мешать, пусть спит. Пусть подрастает!..

— А на кого похож, — свистяще зашептала невестка, — вы не сказали.

— Да на вас с Ленькой, на кого же еще! — В коридоре Родион Аверьянович обернулся к ним, прикрывавшим в четыре руки дверь в детскую. — Хорошо живете, ничего не скажешь.

— Так кухню еще не видели, кухню...

— Начинали обход, видел и кухню: холодильник там «зиловский», вывалил свой живот, шкафы белые, под стеклом, с нарядной посудой. А у вас еще собственная машина шоколадного цвета, пусть купленная с помощью тестя... Да такого, Ленька, как твое состояние, не имел ни один житель до колхозного Займища. Была, скажем, у твоего деда Аверьяна посуда, так разве похожая на твою? Эта ж тонкой работы, задень ее чайной ложкой, она запоет. Те наши чашки и миски кудахтали, как курицы на наседалах. А ковры твои импортные, как и отечественные, — им же нету сравнения! А твой шоколадный «Москвич»?

— Ты что хочешь сказать этим, отец? — усмешливо спросил сын. Но усмешливость его была какой-то усталой.

— Отец твой прожил огромную жизнь и тоже научился чему-то, пусть не в физике-химии. Он просто хотел сопоставить, сравнить. Да видно, нельзя сравнивать несравнимое. Все изменилось за годы и годы.

— Это верно, отец!

— Чего уж неверного. Вот ты получил к своей зарплате немалую премию, что-то купил. И у меня в леспромхозе есть, покупают с зарплаты и премий холодильники и ковры. Дай им румынскую мебель — купят мебель, не посядутся, завези легковые машины — рассчитаются за машины наличными. Так что не один ты, Ленька, такой.

— Обросший вещами?

— Не выше же головы, надеюсь, оброс.

— Пока нет.

— Ну и живи, радуйся, продолжай овладение наукой, раз она тебе по нутру, одевайся и обставляйся.

Верочка, стоявшая против свекра, крепко сцепив пальцы рук и положив руки на плечо мужа, вися на нем, похлопала расширившимися глазами и, набравшись духу, спросила:

— А в ту пору было все же обидно?..

— Когда начинали кулачить? Всякое бывало. Да я и сам было снял со стенки ружье и пошел, — вон Ленька слышал от меня и от бабки.

— Ой, страшно-то! И как интересно! — Верочка успела даже хлопнуть в ладоши. — Расскажите, пожалуйста...

— Может, не здесь? — остановил ее муж, тронув за локоть. — Может, хозяйшюка, за столом?

— Ладно, — кивнула та и метнулась на кухню. — Вы пока беседуйте о другом, я соберу быстро на стол и сразу же позову. И дослушаю!

За столом она сидела в голубом праздничном платье, поверх него в передничке. Сидела ближе всех к выходу из столовой, чтобы бежать, если понадобится, на кухню, еще что-то принести. Терпеливо дождалась, пока муж и свекор выпили по рюмочке водки за встречу, по рюмочке за сына и внука (сама она даже красного не



пила) и, опершись узеньким подбородком на кулачки, выдохнула:

— И как?..

— Как пошел и куда пошел, сняв со стенки дробовое ружье? — Родион Аверьянович солидно прокашлялся и откинулся на спинку мягкого стула. — Пошел обидчика своего убивать.

— Ой!.. Вы же для меня живая история. До сего времени я знала о тех годах только из кинофильмов да книг. Значит, идете... Наверно, боитесь?..

— Да нет. Не особенно. Возбужденный был. Взвинченный своим же деревенским, тот подговаривал и науськивал, мол, иди, Родька, ты ж у нас вон какой, гору своротишь...

— Сам не шел, а вас подговаривал?

— Ну, хитрый был, ушлый. Мол, иди, Родька, шлепни хоть одного, пусть руки не распускают, а то ж вытряхнут из крестовика, отберут мельницу. А я только-только купил у него же мельницу водяную. Дурак был. Ну и пошел, а стрелять не стал.

— На том все и кончилось? — разочарованно спросила невестка.

— На том.

— И позже не ходили с ружьем?

— Нет.

— Почему?

— Да хотя бы потому, что забрали ружье.

— А если бы... если, — еще загорелась Верочка и сорвала с кулачков подбородок, — если бы не отняли ружье?

— Как знать, невестушка.. Но убивать кого-то вряд ли решился бы, не всякий зверь, даже зверь, пьет человеческую кровь...

— Но ты говорил, отец, — вмешался в их разговор Ленька, до того молчаливый и постный, — что былое не стоит вспоминать.

— Верно, говорил, умолкаю. Хотя еще одно слово: не мешает выпить для круглого счета по третьей, тебе ближе там и ты за хозяина, — наливай!

Но и «умолкнув», Родион Аверьянович говорил все о том же, и за столом, пока выпивали по третьей, и после ужина, на диване в Ленькином кабинете, в окружении притихших его книг, говорил сам с собой: а дей-

ствительно, что было бы, если не забрали ружье? Ведь мог бы пойти! Наверно, пошел бы! Убил бы или не убил, скорей не убил бы, а снова пошел... Нет, не убил бы!.. Так что спи спокойно...

И Родион Аверьянович без особенного борения с самим собой почувствовал невесомость, заснул. Правда, скоро проснулся. Ему послышалось, что где-то поблизости плачет сдержанно женщина. Было б понятней, когда плакал ребенок, а то — женщина. Но за какой она стенкой, где и какая? Лихов поднял с подушки голову и прислушался: тишина. То есть идеальной тишины, каменной, какая бывает безветренной ночью в тайге, здесь, посреди Москвы, не было. За окном то и дело с шуршанием птичьих крыльев проносились машины: вдалеке, может быть, на каком-то заводе или в подземелье метро разрасталось тяжелое гроыхание и, достигнув предела, неохотно и медленно утихало, будто что-то обрушивалось; а на фоне тех дальних и гложущих звуков вдруг рассыпался совсем близко по мостовой мужской грудной говор и женский, стеклянными осколками, смех.

Снова услышал плачущий голос, опускаясь на подушку, и это было уже не во сне, наяву, плакала женщина и не в какой-то квартире за капитальной стеной, а здесь, в Ленкином, так уютно свитом гнезде, — стало быть, Верочка. Она плакала как бы маленькими глотками. И полушепотом причитала: «Ну, Леник, не надо расстраиваться. Еще полежишь немножечко и уснешь. Баю-бай!.. Дай, я поцелую тебя в лобик». И опять всхлипывания вперемежку со звуками улицы. «Это бывает, не спят, мучаются. Но поверь мне: все, все устроится». — «Чего же ты плачешь, — его голос, — если знаешь, устроится?» — «Ну, слышала, люди страдают бессонницей. Она бывает от переутомления. Ты много читаешь, без отдыха. А будешь слушаться меня, отдыхать, и пойдет на поправку! — И она там уже засмеялась сквозь плач. — Вот съездим летом на юг, купаемся в море!.. А хочешь, махнем не на юг, а в Сибирь, на твою родину. Какая там речка, Чулым? Поплаваем в том Чулыме! Побродим по дикому лесу! И сон твой вернется. Только ты обними меня покрепче. Вот так!»

Родион Аверьянович сел на постели, а потом сходил

к двери, прикрыл ее, чтобы не слышать, как они перешептываются. И так ясно — неважнецкие у Леньки дела. Все, конечно, от переутомления. И надо не только затащить его в тайгу, чтобы он отдышался, а что-то сделать сейчас. Будь под боком мать, она подсказала бы, но так вышло, он — в Москву, она — из Москвы. Но может, тоже догадалась, пока тут жила, и чего-то надумала, сделала. А самое лучшее, что можно сделать до лета, послать Леньке витаминчиков натуральных, брусники там, клюквы. Поднимется черемша — черемши. Обязательно сгношить посылку — и не одну! — бросить сюда.

Теперь сна не было и в помине, были думы, одни думы о Леньке. Ведь какая у парня беда, ну, прямо несчастье! Вот и порадуйся отец, что сын ученый здорово живет, что в гнезде у него с жинкой уютно. Вот и не скажи, хоть сам себе, что при городской цивилизации ущербно человеческое счастье. Ущербно! Потому живи, брат, в столице и опытничай в своих лабораториях, а живой природой не пренебрегай, дружи с лесом, травой, если хочешь быть в добром здоровье, ешь кедровые орехи и черемшу, ягоды и грибы. Особенно — ягоды, бруснику и клюкву. И конечно же облепиху! Прошлый год к осени занемогла Алевтина, и он сам съездил за чудо-ягодой, прямо-таки вливающей богатырские силы в людей.

Отвел беду и от Алевтины. Теперь — помочь Леньке. Из-за него он ранее срока покинул Москву — хотел пошарить в тайге, что там найдется для сына уже сейчас. В родное Займище скрепя сердце разрешил себе заглянуть. Только заглянуть и — обратно. По гостям ходить некогда. Да и к кому там через тридцать лет с лишним ходить, у кого засиживаться в гостях!..

## 7

Конечно, если бы не распутица, можно было приехать в родное село на такси, с форсом, как приезжали когда-то — на тройках, с колокольцами под дугой — приискатели; и когда-то, еще молодой, Родион Аверьянович так и собирался сделать: залететь в Займище на легковой машине и выйти из нее грудь нараспашку, но то время необузданного гордчества и показного форса

минуло, теперь Родиону Аверьяновичу хотелось появиться в Займище непримеченным, взглянуть на него одним глазом и тотчас исчезнуть, навек. Желание же это с годами стало неодолимым, его разожгла своим разговором о прошлом москвичка-сноха. Да и не будь этого разговора, все одно рвался бы в родное село. Уж так с человеком бывает: старея, оглядывается назад и стремится туда, где появился на свет.

По знакомым буграм, только менее залесенным, чем раньше, более открытым небу и солнцу, Родион Аверьянович сравнительно легко одолел пятнадцать километров пути, нигде не начерпал в резиновые сапоги, хотя и проваливался в лужи и вымоины частенько, а перед самым Займищем, в знакомом-перезнакомом с детства распадке, поначалу застрял. Между прочим, и распадок с Удинкой, и вся местность вокруг изменилась, и сильно. Не было выселка, его будто корова языком слизнула, не осталось никаких признаков бывшего жилья, лежало гладкое поле в чернобелых пезинах: где вытаявшая земля, где еще не растаявший снег. Наклоненный к югу косогор по другую сторону распадка, некогда в паутине меж и мелких кустов, теперь был распахан под один пласт; солнце поднималось все выше, и над влажной черной землей курился парок; на хребтине бугра марило, будто там переливался и закипал свежий мед. Да и запах медовый откуда-то доносило. Родион остановился, приняхиваясь. Нектар, мед! Только он рождался не на том, в пяти верстах; перевале, а тут же в распадке. Цвели кусты ивы козьей, и запах меда тек, конечно, от них. Они стояли не часто, как раньше, зато раздались вширь и ввысь. На них и сережки были медового цвета и походили — крупные и мохнатые — на пчел или шмелей.

Надо было перебираться на другую сторону Удинки, и Родион Аверьянович, оказалось, мог перебраться: из воды торчали бурыми лепехами валуны, ступай на них и шагай, он не заспешил на тот берег, в близкое уже, кучно рассыпавшее серые домики Займище. Ехал сюда — торопился, из Михайловки поторапливался, а теперь вот, перед самым порогом, не хотелось спешить. Присел тут, под ивой, на коряжину, охваченный робостью: как это вдруг увидит ту улицу, по которой ходил, дом, где родился и рос...

И неизвестно, сколько просидел бы под ивой, наверное, долго, да за спиной застрекотало, затакало, и на дорогу из-за кустов ивняка вынес себя на огромных колесах трактор «Беларусь». Он катил тележку, груженную чурками березовых дров. Тракторист, веселый паренек, выглянул из кабины и, не поравнявшись еще с человеком на коряжине, крикнул:

— Весна-красна, загораем?

— Пользуясь случаем, дружок. Да, кажись, хватит, надо забредать в воду.

— Сигайте в тележку, перевезу. — Паренек придержал своего рысака, дал возможность завесновавшему перед самой деревней пожилому человеку взобраться на воз. — Готово? А ну, Сивка-бурка, вещий каурка, вперед!

Новенький и ретивый, как и его водитель, белорусский колесник плюхнулся в воду и пошел ковылять меж валунами, обрызгивая их, обливая; тележка, наскокивая на валуны, шарахалась из стороны в сторону и гремела листовым железом бортов; в кузове трясло и мотало, кроме того, по коленям и локтям Родиона Аверьяновича били промерзлые чурки — они тоже не лежали спокойно, тряслись. Хорошо, что неширок был поток, выехали на сухое и ровное, можно было пристесть на утихшие кругляки. Лихов почувствовал притягивающую свежесть недавно напиленных дров, да и прокатился на них до самого Займища.

Перед крайним, уже и не мог признать, чьим именно, домом попросил тракториста остановиться, слез с вота и подошел к кабине.

— Спасибо, дружок. Чей будешь в Займище?

— Воронков.

— Воронков?.. Таких раньше в Займище не было.

— Из переселенцев я... Приехали со средней Волги...

Ну, переселенца, еще молодого, о многом не расспросишь.

— Еще раз спасибо, Воронков.

Оказывается, есть в Займище такой — Воронков, может быть, ходит в клуб, играет на гармонии, как играл Степка, может, пляшет «цыганочку»... И еще были люди, ребяташки, женщины и мужчины, шедшие навстречу ему, Лихову, — незнакомый народ. Мужчина с рыжими, как два язычка пламени, усиками, остановился, спросил,

нет ли у товарища прикурить, он держал меж пальцами правой руки папироску, Родион Аверьянович, засмеявшись, ответил, что нет, он не курит; а засмеялся — в голову пришла забавная мысль: к чему спички, клади в рот папиросу, она загорится от усов. Они разминулись. И лишь когда разминулись, Лихов подумал, что в облике человека что-то знакомое, ветродуевское, и окликнул его:

— Извините, вы местный? Давно здесь живете?

— Давно. С сорок шестого.

Тоже не из тех! Из других!

Не узнавал людей в деревне Займище Родион Аверьянович, не узнавал дома и постройки, все было не новое, так иное; только резными наличниками да разве унизированной завитушками вереей и напоминал давнее, прошлое, какой-нибудь пятистенник или крестовик.

А вот бывший свой дом, выйдя на главную улицу Займища, Лихов узнал сразу, хотя их крестовик со временем потемнел, даже сделался угольно-черным, врос в землю, вообще оказался не таким крупным, каким жил в памяти. Да и стоял он не в ближайшем соседстве с амбаром и другими постройками, а один, как перст, и не обнесенный заплотом из лиственничных тесаных плах, а схваченный на живую нитку штакетником. Но был это тот самый их крестовый дом, даже с той или такой же, как раньше, тесовой, местами замошившейся крышей. На том месте, где теперь вроде бы без ветра пошатывалась и поскрипывала калитка, тогда громоздились глухие ворота с полотнищами в косую дощечку. По зимам возле ворот надувало сугробы снега, маленький, он карабкался по ним на четвереньках. А бывало... А было...

Родион Аверьянович еще взглянул туда, на свой дом, и почувствовал, у него подсекаются ноги в коленях, поэтому заковылял в сторону, к изгороди, к лежавшим возле нее бревнам, нащупал конец гладкого, обогретого солнышком и присел.

Мимо проходили пожилые и старые люди, некоторые из них, приметив тоже немолодого, по-городскому одетого гражданина, даже здоровались, но никто, ни один человек в нем не признал бывшего односельчанина, не подал, радуясь встрече, руки. Только тщедушная, рыжей масти собачонка, оказавшаяся у ног, улучив момент,

когда он на нее посмотрел, лизнула ему руку. Чья же она? Он, кажется, видел ее около своего бывшего дома, она вертелась там, норовя поймать собственный хвост.

— Ну, если ты наша... если ты ихняя, то идем вместе. Веди!

И они пошли вместе, пожилой мужчина, вдруг обрета смелость и почувствовав прежнюю силу в ногах, и сопровождавшая его дворняжка. — она бойко подпрыгивала, отбрасывая в сторону зад; поравнявшись со своим домом — точно, их бывшим домом! — пролезла в щель под калиткой и скрылась в торчавшей поблизости конуре, мол, дальше можете идти без меня.

Родион Аверьянович мог, теперь вполне мог. Он обратил внимание, что на крыльце постланы новые широкие доски, покрашены охрой; половицы в сенях были старые, перекладыны под ними давно сгнили, и пол ходил ходуном. Машинально, по четко сработавшей памяти Лихов отыскал правой рукой скобку дверей и рванул на себя. В прихожей было как и тогда: слева белела известкой боковина русской печи с нишами для варешек, прямо, — занавешенная с боков, — дверь в горницу, с правой стороны, возле окна, — большой стол под клеенкой. На табурете, приставленном к столу, где обычно сидела мать, готовая при малейшей надобности сорваться и бежать на кухню, теперь восседала, руки на коленях, Варька. Не та Варька, статная девушка, какой она была тогда, когда он ее умыкал, а дородная бабища в полтора обхвата, затянутая в шерстяное трикотажное платье горчичного цвета, будто отлитая в бронзе. И лицо было бронзовое от весеннего солнца и ветра, тоже будто литое. Надо же так могуче заматереть.

— Ну, здравствуй, Варвара!

— Здравствуй, Родион, — ответила она просто, спокойно. — Раз наведался до старого, проходи и садись.

— Так ты куда-то, гляжу, собралась.

— Никуда я не собралась, по гостям ходить некогда, утренняя дойка на ферме закончилась, готовься к вечерней, да вот увидела в окошко тебя, сидишь у соседей на бревнах, думаю, в кои веки наведался в Займище, не пройдет мимо, заглянет из интереса, и тоже присела,

— В ожидании?

— В ожидании. А что?

— Да так, ничего, — раздеваясь в кутке, уклонился от объяснения Лихов. А хотелось, очень хотелось упрекнуть бывшую супругу, что когда надо было, она не ожидала. Теперь заждалась! Пересилил себя, заговорил о другом: — Поди, не рядовая доярка, начальство?

— А где и кто теперь не начальство? И ты, слышала я, у себя там начальник, и не маленький. Теперь не начальниками, покуда в яслях да в детском саду, а пошли в школу, и уже, смотришь, один над другим, кто староста класса, кто вожатый звена, кто санитар, кто санитарка. Мои-то, двое парней, двое девок, покуда учились, не вылазили из начальства. И теперь, взрослым, нет им передышки, то в председателях, то в секретарях.

— Всяк своей семьей живут дети и в Займище?

— Семьями. И кто где. Старший парень Сергей с женой, ребятишками тут, под одной со мной крышей. Ребятишки вместе с матерью в садике... У тебя, слышала я, один сын и тот не с тобой.

— Так вышло. Проживает в Москве, ударился в науку, завтрашний академик, получает намного больше моего, так опять здоровья сибирского нет. Хоть в чем-нибудь, да наперекосяк! — Родион Аверьянович вспомнил, какая у Ленки беда, почему плакала Верочка, и досадливо крякнул. Молодой еще совсем человек, а уже одолевают недуги; он, отец, перешагнул полустолетний рубеж, а у него только и старости, что седина в голове. Или вот она, Варька, да она, наверно, и не кашлянула за жизнь. А перетерпела всего, ох, конечно, перетерпела, в особенности в войну и сразу после войны, с двумя девочками, двумя парнями, без Степки. И вот ничего ей не сделалось. Да отдай ее замуж, она еще четверых народит.

Но когда Родион Аверьянович подсел к столу да заглянул в Варькино, хотя и отлитое из бронзы, лицо повнимательней, к удивлению заметил и сумеречную синеву под глазами, и застывшие красные искорки на выступах скул, — следы какого-то неблагополучия в сосудах; Варькина рука, лежавшая на клеенке, сколько ни тугая, ни прочная, оказалась перевитой набухшими венами, а пальцы, все пальцы были в кольцеобразных рубцах. Досталось бабе с коровами! Поди, надоила, пока



состоит в займищенском колхозе, целый Чулым молока! Кормила артельных коров да доила коров, рожала детей да кормила детей, — так и прошла молодая Варькина жизнь. С хлопотами и заботами, поди, некогда было вспомнить не только умыкавшего ее в юности Родьку, но и Степана. Хотя о Степке напрасно...

— Так и жила тут, знала ферму да дом?

— Дом да ферму, артельное да свое.

— Не сетовала на судьбу? Не раскаивалась?

— А в чем я должна была, интересно, раскаиваться? В чем? — переспросила она уязвленно и взывала. Но тотчас взяла себя в руки, осушила рукавом платья лицо. — Что не поехала к тебе тогда? Так, может, ты не очень и ждал, раз скоро женился.

— Не ранее же того, как тебе приехать с вещами.

— Ах, тебя по сегодня тревожат оставленные на мое попечение вещи?! — Она собрала лежавшие на голубом поле клеенки рубцеватые пальцы в увесистый, не женский кулак. — Так они были как твои, так и Степановы, вы же сродные братья, — усмехнулась она едко, — жили одной дружной семьей. Да только и Степан, — поперхнулась она, — не воспользовался богатством, то, что было увезено за реку, там и осталось, что спрятали в яме, погнило. А потом и Степана не стало... поди, сгнил.

— Да я же без умысла, просто так упомянул о вещах, — взмолился Родион Аверьянович.

— Фарфоровая посуда сгнить не могла, ее добыли из земли, — не слушала Варвара, — половину оставили у себя, половину унесли в детский сад с яслями, там не было ни чашки, ни блюдца. Что уцелело из половин, можешь проверить, если охота, забрать.

— Неохота!

— Искаться через столько лет о вещах, уцелели они или не уцелели!.. Тут люди не уцелели, столько мужиков займищенских не вернулось с войны. Бабы жили вытянули из рук, управляясь в колхозе. Твоя бывшая Варька по колено в навозе ходила и ходит. А ты приехав ее упрекать.

— Да не упрекаю я ее, нет!

— Судить явился, что она в ту пору не приехала к тебе, не привезла в сундуках и ящиках тряпки и черепки...

— Да не собираюсь ни судить, ни рядить! — обиженно сказал Родион Аверьянович и поднялся из-за стола, намереваясь пройти к вешалке. Только это и урезонило разошедшуюся было хозяйку, она замолчала и прикрылась стыдливо ладошкой. — Какой я тебе действительно через столько лет судья. Вся жизнь русского человека до революции укладывалась в этот срок. Это теперь долго живем, есть время и топать вперед и возвращаться к истоку. Вот подошел к крупному счету годов, съездил к сыну в Москву, поглядел на невестку, на внука, решил завернуть в Займище, в свой первоисток. Тоже поглядеть, что-то вспомнить. Но никак не упрекать ни тебя, ни других, ни деревню Займище, ни областной центр или Москву. — С объяснениями он совсем забыл, что собирался одеться, уйти, сделал круг по комнате и вернулся к столу. — Не знаю, кто ты: Варька, Варвара, Варвара Васильевна, как тебя правильнее именовать...

— Для кого как, — ответила она тихо, из-под ладошки.

— Скажем, Варвара. Ты ко мне, Варвара, с упреками, которые я тоже не принимаю. Так сложилась жизнь. И твоя и моя. Какие могут быть нынче претензии и упреки!

— Правда что! — нежданно для Родиона согласилась она и быстренько встала, никакая там не замученная возле коров да еще по колено в грязи, а дороднейшая, литая. Не старая. Вон даже заглянула в круглое зеркальце, висевшее на заборке. — Так самовар ставить, что ли?

— Не знаю... Дело хозяйское, — сказал Родион Аверьянович. Получилось так, что он вроде бы согласился на самовар, но подумал, как и о чем будут говорить за столом — опять ссориться? — и понял, что сидеть вдвоем с Варькой за самоваром вот сейчас, сию минуту — выше его сил, может, позже и в присутствии третьего или третьей. А теперь хотелось на воздух. И тут вовремя подвернулась спасительная мысль: к горячему неплохо бы горячительного; придется сбегать, как говорилось тогда, в потребиловку. — Какое предпочитаешь вино, белое или красное, Варвара?

— Какое подадут. А не подадут, так и никакое.

— Ну, что найдется, то принесу. — И Родион Аверьянович заторопился, срывая с вешалки попеременно

беличью шапку, — нахлобучил ее до ушей, шерстяной шарф, — обмотнул шею, пальто.

В действительности же он спешил только из дому, выскочил на крыльцо и остановился, жадно глотнув весенней солнечной свежести. День успел разгореться, поблескивали на солнце лужи и лужицы, шуршаще капало с крыш в остатки талого снега. Как в мире чудесно! И все в мире сегодняшнее, ничего вчерашнего и позавчерашнего. Сегодняшний, какой-то особенно голубой свет над старым домом, над протаявшей улицей. Не та, не прежняя Варька, нынешняя хозяйка в дому, обиделась, чуть произнес неосторожное слово, значит, цену себе знает. Не тогдашняя улица, по которой она теперь ходит, вон начинена галькой, чтобы не было грязи, по обеим сторонам ее вышагивают столбы.

Но больше сегодняшнего, мог убедиться, глядя с крыльца, Родион Аверьянович, было даже не в деревне, а за деревней, по Удинке и по лугам. Да там все было застроено каменным, — фермы, которая-то молочная, Варькина, бесчисленные четырехугольники ферм, свежепокрашенные суриком крыши и побеленные известью стены! В отдалении и по другую сторону располневшей в пору водополи Удинки вросло в землю что-то бело-коричневое, круглое. Что там непонятно еще?!

Не сегодняшнее, давнившее стало попадаться, когда шел в магазин. Крестовик Пентюхова Матюхи оказался на месте. Правда, в окнах висела — по-сегодняшнему! — белая марля: дом занимали аптека и фельдшерско-акушерский пункт. Оказался цел-невредим и дом Ивана Степановича в заречье, виднелся, поднятый на фундамент. Старым, нетронутым был бы центр Займища, если бы не новый среди всего посеревшего сельповский универмаг, он сверкал на солнце алюминием и стеклом. И чего-чего только не торчало из его по-городскому глазастых витрин.

Да не могли они быстро Лихова соблазнить, он не сразу зашел в магазин. Он еще попетлял по деревне, без конца натываясь то на чьи-то ворота со знакомой деревянной резьбой, то на знакомого петуха из заржавленной жести на коньке чьей-то избы. Все новое, ранее незнакомое, вызывало любопытство, все старое, открытое заново, чиркало острым по сердцу, вышибало слезу.

Вот как ездить через долгие-долгие годы в родные

места! Думал оглядеть знакомое сверху, как бы поглядеть по шерстке, а получилось — взадир. И с Варькой думал встретиться так, здравствуй и до свидания, а вышло — сразу копнули друг друга под сердце. И что дальше? Убежать бы, лучше всего убежать, так обещал что-то купить и вернуться. Придется вернуться, да лучше бы с кем-то вдвоем, чтобы не растравлять больше Варьку, не переживать самому.

Выручил Родиона Аверьяновича давний знакомый Ипат, оказавшийся в магазине. То был мало изменившийся Ипат Ветродуй, разве только у него напрочь вылезла борода, да изрядно согнулся хребет. Его и в гости приглашать не понадобилось, он напросился сам и потом наравне с Лиховым и Варварой пил белую, пил красное. Опять, теперь уже трое, вспоминали минувшее, давнее, но как-то вспоминали больше смешное, например, как Родька однажды развернул на дороге Ветродуевы сани вместе с хозяином и его лошаденкой, как потом откупался пшеницей. Никакого зла старик не попомнил, добродушно смеялся, широко разевая рот с редкими пеньками зубов, да заглядывал, щурясь, в бутылки, сколько там оставалось на дне.

В середине дня заскочил в дом, чтобы перекусить и снова бежать на работу, старший сын Варвары Сергей. «Степка!» — было первое, что подумал, увидев его, Родион Аверьянович; Степкин рост, ниже среднего, его широкая в плечах, кряжистая фигура. Даже в походке, с приплясом, было явно отцовское. Его, Лихова, Сергей как-то узнал и, здороваясь за руку, назвал по имени-отчеству. Сел за стол и снова поднялся, энергично пробежал к умывальнику. Вернулся с влажным лицом, с прилипшими к широкому лбу мокрыми светлыми — тоже отцовскими! — волосами. Заявил, что пить он не будет, он на работе, так что ни-ни.

Родион Аверьянович все следил за молодым хозяином дома, искал, как еще повторился в нем Степка, в чем именно. В голосе! В мягком голосе с шелестинкой!

— В животноводстве трудишься, как и мамаша, Сергей?

— В животноводстве. Только под началом у меня не в полном смысле животные, живые существа. Маленькие по сравнению с коровой или овцой, с крылышками, — он смешливо сощурился, — летают.

— Пчелы, что ли?

— Аха, пчелы.

— Ты, значит, пчеловодом на пасеке?

— Старшим пчеловодом, аха.

Это «аха» и было как раз Степкино, он произносил его с шелестинкой от придыхания и вот как-то передал сыну, может, когда учил его говорить.

— Пчеловодство у нас не последняя отрасль, даже важная, если считать по доходу. А доходы враз подскочили, как стали выезжать с пасеками подальше, в особенности на гари, где много кипрея, — без распросов охотно рассказывал гостю Сергей. Торопливо хлебал ложкой сдобренные сметаной жирные щи, торопливо рассказывал: — Гектар кипрея на гаях — пять центнеров чистого меда, разлитого по бочонкам. Аха! Так что есть резон выезжать. Пока сидим на месте, готовимся к главному медосбору. Не самый главный уже идет, правильной сказать, продолжается, а главный еще впереди. На сегодня основная работа в омшанике, подготовка к выносу и вынос подготовленных ульев. А всего их — о-хо! — если одному, то хватит управляться до заговенья, морковкиного. Всем наличным штатом подналегли.

— Чуть свет, уже на ногах, — подтвердила Варвара. — И мчится, мчится впереди меня к своим живым существам. Я осталась в коровнике, он держит курс на омшаник, что выстроен на другом берегу нашей Удинки. Заметил, Родион, когда с крылечка смотрел, большое здание за фермами?

— Круглое, что тебе цирк?

— Оно самое. Вот туда и торопится вечно, — продолжала Варвара, поглядывая на сына с укором, да невзаправдашним. — Так торопится, посмотри, весь вспотел. Подлить еще в миску?

— Я сам, сам.

— И вот всегда сам, и дома и у своих существ, собственными руками. И с карандашом сам, и с инструментом токарным, слесарным, плотницким сам. Всеми днями у пчел, будь там еда, и обедал бы, ужинал там. И ночевать бы в омшанике оставался, с пчелами в обнимку. Брат и сестра его живут в городе, работа у обоих негрязная, квартиры с удобствами, приглашали на жительство — где там, даже не

ответил письмом. Ему там неинтересно, ему хочется тут.

— Не тянет в город, Серега? — решил уточнить Родион Аверьянович.

— А у меня тут город.

— Город?

— Свой город, пчелиный, — ответил Серега с улыбочкой. — Многомиллионный, если считать, в каждом улье тысячи и тысячи душ, а всего ульев двести пятьдесят с гаком. Так что город поболее Москвы, а я того города мэра. — Он поднялся из-за стола и с приплясом — как Степка! — заспешил к вешалке, накинул на себя телогрейку. — Спасибочки за обед! До свиданьица, меня ждет мотоцикл.

— Пчелы тебя ждут! — вслед ему сказала Варвара.

«Второй Степка?» — подумал, уже без него, Родион Аверьянович. И от одной мысли, что живет на свететаккой человек, стало как-то особенно хорошо на душе. Существует Степкин город пчелиный, многомиллионный, и не где-нибудь, в Займище! (Оно, это Займище, без него, Родьки, не умерло, как и он не погиб без него!..) И за все это, за многое другое, за Варьку и за Ипата хотелось еще выпить по чарке. Но хватился, Ипат-Ветродуй спит. Сидит на стуле, полураскрыв рот, и тихонько похрапывает. Варька бодрствовала и была трезвой.

С разговорами они засиделись почти до самого вечера. Варвара даже на ферму свою не пошла, наказала что делать там заглянувшей на мгновенье соседке-доярке, женщине тоже справной. Родиону предложила остаться еще на денек.

И он согласился, хотя и нетвердо. А в потемки уже обнаружилось, что на станцию железной дороги идет попутный грузовик геологической партии. И Родион Аверьянович попросился на него. Варьке сказал так: распутица, бездорожье, как бы не завесновать.

Домой попал на другой день. Погода на Чулыме стояла студеная, протаявшие было дороги опять затянуло тонким ледком, и леспромхозовский вездеход со станции железной дороги быстро домчал Родиона Лихова до Кипрейной гари. Синими вечерними сумерками с чемоданом и баулом в руках Родион Аверьянович вхо-

дил торопливо в свой дом, уже глядевший на улицу и во двор освещенными окнами. Оставив у порога багаж и расстегнув на все пуговицы пальто, но не успев скинуть его, метнулся к вышедшей навстречу Алевтине. Он целовал ее, куда попадая: в мягко щекотавшие брови и в теплые, как оладушки, щеки, целовал, обнимая, в пульсирующую жилку на шее и в хрустящую раковинку уха.

И Алевтина не уклонялась от его ласки, немного удивленная, ойкала да говорила отрывисто:

— Ты что это, дед Родион?.. Да ты с ума сходишь на старости лет?.. Ой, всю измял, всю растрепал, сумасшедший, и чего только делается с тобой? — Он все-таки ранее не приезжал таким возбужденным и жадным на ласки. — Ты, может быть, выпивши? Так вроде запаха нет. Может, за тобой гнались по дороге разбойники?

— Еще скажешь, черти рогатые.

— Ведьмы с хвостами! Я же чувствую, в отлучке что-то произошло.

— Ничего особенного, значительного. Отпуск, безделье... А в безделье можно удариться в крайности... ежели молодой. — Он выпустил из объятий жену и наконец снял с себя шарф и пальто. — Ну, рассказывай, как тут и что?

— Ты рассказывай. Ты приехал, у тебя дорожные впечатления и новости. Прямиком из Москвы?

— Нет, заезжал в Займище, хотя и не очень попутно. На один день. Даже целого дня не был, несколько часов. — Родион Аверьянович почувствовал, его охватывает смущение, он, как мальчишка, краснеет и, чтобы не заметила смущения Алевтина, встал посередине комнаты, заслонив головой свисающую с потолка лампочку; теперь на лицо падала как-то вырубавшая тень. — Притащился туда часов в десять утра, а под вечер уже мчался на попутке обратно, — продолжал он, зачем-то оправдываясь, при этом сердясь на себя. — Ничего там из ряда вон выходящего. Но строятся. Неплохо живут. Твое Бараново видел — разрослось вширь, даже пытается лезть в вышину, так где в наше время иначе?

— Как там у Лени в Москве?

— В Москве? Ах, в Москве!.. Так я же писал тебе: замотались они оба с мальчишкой, Ленька даже позе-

ленел. — Родион Аверьянович хотел сразу сказать о его, Ленькиной, замеченной им, беде, да воздержался, не все сразу, потом. — Тебе надо было еще немного пожить там, дождалась бы меня, а то вышло — разъехались.

— Так ты написал, что дают отпуск, что скоро приедешь, а сам не приехал, ну, я и взяла обратный билет; позднее пришла от тебя телеграмма, первого прилетаешь, а у меня на билете — тридцать первого выезжать. Да что теперь убиваться — прошло! Мальчишка не болеет, здоровенький?

— Мальчишка, уезжал, вел себя молодцом. Так они же им только и дышат, мать и отец. И еще один дед, одна бабка, наши с тобой сват и сватья, должны были приехать к ним, подсобить. А уж на лето они снова заказывают тебя.

— Ну и съезжу опять, повожусь, — польщенная, сказала Алевтина. — А теперь давай, Родя, ужинать и пить чай, у меня только подогреть на плитке да поставить на стол.

После ужина Родион Аверьянович, неожиданно для Алевтины, засобиравшись в контору, что она даже упрекнула его, мол, не успел встретиться — и каким соловьем заливался при встрече! — уже побежал. Лихов притянул ее к себе, не в пример некоторым другим расплывшимся бабам, тонкую, гибкую, и поцеловал в щечку.

— Надо. Засекай, Алечка, время, через тридцать минут буду здесь.

И поскольку дал слово уложиться в тридцать минут, пришлось поторапливаться: по темным переулкам и улицам, по обледенелому гравию не шел, а бежал. Бежал легко, быстро, потому что сзади, обхватывая большими ладонями спину, подталкивал ветер. Надобность же сбегать в контору, понимал Родион Аверьянович, была довольно смешная: посмотреть, как там выглядит его кабинет. И все же бежал, торопился. Да еще волновался, так ли там, как он, уезжая, оставил, может, все разворочено без него, поставлено вверх дном.

Дело в том, что, уходя в отпуск и уезжая в Москву, Родион Аверьянович в минуту благодушия проговорился, что остающийся за него главный инженер может перебраться в директорский кабинет, в нем удобнее, два телефона, районный и внутренний, кроме того, до-



статочно стульев, чтобы усадить всех, кто приглашается на планерку, и вот теперь думал, терзая мнительностью себя: воспользовался Кузнецов неосторожно оброненным предложением или не воспользовался? Судя по характеру, должен был воспользоваться и все в кабинете переиначить. А переиначив в директорском кабинете, он не постесняется перетрясти в целом леспромхоз, не считаясь, что до него люди тоже работали, тоже старались сделать что-то полезное, нужное и добивались своего.

Рабочий день кончился, но некоторые из служащих еще оставались в конторе, на полу под дверями в рабочком лежала полоса света, за филенчатой дверью бухгалтерии шелкали счеты и верещали кедровками арифмометры. Родион Аверьянович на носочках, чтобы не привлекать чье-то внимание, прошел коридором в приемную с пустой вешалкой и зачехленной машинкой и открыл ключом дверь в свой кабинет, зажег электричество. Тихо и немножечко затхло. Значит, кабинет в основном пустовал. Ни малейшего табачного запаха, — значит, планерки проводились не здесь, на планерках обязательно накурили бы. Столы, стулья и телефоны, — все было на своих местах. Как и до отъезда, щетинились в керамическом высоком стакане ручки и карандаши, поблескивала в графине, поднявшись до плечиков, вода без мутнинки. Зеленое сукно письменного стола припорошила мелкая, только на свету ошутимая пыль. Главный инженер, конечно, приходил сюда, говорил с руководством района, но следов после себя не оставил. Ни-ни!

Родион Аверьянович вышел из кабинета и, стараясь не звенеть ключами, осторожно закрыл дверь, опять же на носочках, чтобы не услышали, не увидели и не догадались, зачем он, только что вернувшись из отпуска, приходил, проследовал коридором. Любопытство было удовлетворено. И удовлетворено было самолюбие: он здесь, в леспромхозе, хозяин. Ни главный инженер, ни кто-то другой под него не подкапываются. Было желание узнать, как сработал леспромхоз без директора, под водительством молодого главного инженера, дотянул ли до ста процентов месячный план, и Родион Аверьянович, возвратившись домой, мог бы позвонить начальнику планового отдела, наконец, самому Кузнецову, спросить, он не стал поднимать трубку, посчитал, что снова

обидит жену, она скажет: «Все вы, мужики, одинаковы, не успели войти в дом, уже из дому, не дорогой, не улицей, так по проволоке». Решил, что дождется утра. Не должен сплеховать главный инженер.

А план валки и вывозки древесины за апрель, оказалось, не выполнили. И главный инженер Кузнецов утром говорил об этом без сожаления, не смущаясь. Будто пили чай да оставили недопитый стакан!

Родион Аверьянович, сидевший перед Кузнецовым в приставленном кресле, поежился, крикая.

— Надо было как-то поднажать, поднатужиться.

— Как угодно, но выполнить? Любой, как говорится, ценой? Вы, я знаю, воевали с фашистами, вы там побеждали любой?

— Любой ценой! — подтвердил Родион Аверьянович. — А вы как думали, интересно? Вы считаете, могли победить не любой? Не везде, скажем, и не в каждом в отдельности случае, но побеждали, было бы вам известно, любой. И только так и могли победить!

— Минуточку...

— Других возможностей не было!

— Минуту, минуточку... Вы, Родион Аверьянович, противоречите сами себе.

— Исключено!

— Вы сказали, что побеждали любой ценой. Но вы одновременно и оговорились: «Не везде, скажем, и не в каждом в отдельности случае». Значит, и на войне было, побеждали не любой ценой. Побеждали и малой кровью. Так почему невозможно такое сейчас, в доброе мирное время? Почему любой ценой выполнять план?! А если я хочу получше раскинуть умом и, пусть сегодня в чем-то недотянуть, зато дать вдвойне и втройне завтра и послезавтра?..

— Слова, только слова!

— Без слов тоже нельзя.

— Разговоры! Одни разговоры!

Главный инженер встал за столом, сам маленький, прямо-таки подросток, а шея длинная, и голос басовитый, объемный:

— И откуда в вас, не понимаю, столько прямолинейности? И — боязни излишней?

— Откуда? — не сдержался и Родион Аверьянович и тоже встал. — Не догадаетесь, нет? Да оттуда, все

оттуда, из-под хомута и дуги, где приобретается опыт. А по опыту мне известно, что только дай себе спуск, подыщи причину и что-то не сделай сегодня, как причины найдутся, и что-то не будет сделано завтра. Только распусти вожжи! Только не дай в первой половине месяца кубики, их не будет и во второй. И пойдут накручиваться тебе на колеса долги, остановят, непременно остановят машину, — вот откуда и почему!

— Что ж, все это так, — сказал главный инженер примирительно. — Поддаваться самотеку нельзя, сидеть сложа руки, преступно. Так мы тут без вас, Родион Аверьянович, и не сидели. Мы искали возможности, как лучше, сноровистей выполнить увеличенный годовой план...

— ...заваливая план месяца. И что же, нашли?

— Да, нашли место, быстренько уточнили, там вполне можно валить и трелевать лес в летнее время. Уже нынче, сейчас! — выделил голосом Кузнецов. — Потому что там есть дороги. Есть жилье, не надо отстраивать заново, только подремонтировать что-то. А главное, есть лес, его хватит не на один год.

«Все же мальчишка! — подумал Родион. — Мальчишка рассказывает взрослому сказки!» Спросил мило- стиво и снисходительно, прощая его детскость, наив- ность:

— Где же вам посчастливилось раскопать клад?

— Да вот здесь, не так далеко от Кипрейной, кило- метрах этак в полста. — Кузнецов развернулся со скрипнувшим под ним стулом и встал перед картой уго- дий их леспромхоза, очертил рукой круг на серых и зе- леных квадратах, более серых. Родион Аверьянович и через стол точно определил, что там показывал этот юнец: верховья речушки Яранки, впадавшей ниже Кип- рейной гари в Чулым. Места вырубок военного време- ни! Точно, в тех местах есть дороги, их не успело раз- мыть, они не заросли травами, даже мосты сгнили и об- рушились не везде. Точно, там есть жилье. Но есть ли строевой лес?

— Там же вырубки. И по плану угодий хорошо вид- но, что вырубки, эта серятина. Или успел вырасти зано- во лес? Может, там не сосна, не лиственница, а, напри- мер, бамбук? Он быстро растет.

— Сосна и лиственница, сам проверял.

— По распадкам непроходимым, по кручам?.

— Не только. И не столько, было бы вам известно.

А лес хвойный, отличный.

— Тогда с неба свалился. В бурю, грозу, они на Чулыме разгульные.

— Нет!

Это было прежнее «нет», которое ни обойти, ни объехать, и Родион Аверьянович замолчал и поднялся, чтобы уйти. Сколько еще рвать нервы напрасно? Да наконец, он числится в отпуске, ему гулять еще более десяти дней. И он будет гулять. А этот молодой человек пусть похозяйничает. Наломает дров. Пусть! Ему-то, Лихову, что? Он сядет на свой персональный директорский вездеход и рванет с ружьишком подальше в тайгу. С кем-нибудь из старичков. Завтра же!..

## 9

А назавтра обнаружил случайно, что ребяташки рыбачат на Верхнем озере за поселком, добывают из-под льда сорожек и окуней. И тоже настроил мормышку. Поймать удалось немного, рыбок пятнадцать. Но и пятнадцать заняли две сковородки.

На следующий день оделся потеплее, хотя и весна, на случай, если припозднится, захватил питья и еды. Под рыбу взял вместо котелка старый рюкзак. И еще прихватил сачок, отыскавшийся в доме.

— Ну, пожелай, Алевтина, новой удачи.

— Ни пуха, говорят, ни пера!

День опять выдался теплый. Потоки мутной воды катились проулками Кипрейной, устремлялись в очистившийся возле берега и клокотавший Чулым. По лугам на обоих берегах реки стеклянно блестели вытявшиеся озерушки и лужицы.

А зажатое меж тремя холмами Верхнее озеро выглядело по-зимнему сонным. Снежная пустынная тишина. Стынь. Только кое-где на белом можно было заметить черные точки: ребячьи лунки и его личные, приготовленные им накануне; и выделялось соринкой короткое удище мормышки, которой он вчера натаскал сорожек и окуньков. Если посчастливится, натаскает и сегодня.

Раздумывая, как шустрые окуньки будут клевать; осторожно подергивать капроновую лесу, а потом вы-

рывать мормышку из рук, как он, Лихов, будет тащить рыбу, быстро-быстро выбирая обеими руками лесу, все вверх-вверх, потом в сторону, чтобы очередной красноперый стригун не сорвался с крючка и не плюхнулся в воду (тут, пожалуй, не выручит и сачок), Родион Аверьянович подходил к крайней проруби. Но он не сразу сообразил, что в ней творится: рыба плескалась, выныривая из глубины и опять уходя вглубь, чтобы вынырнуть снова. Мелкая рыба и покрупней, больше всего окуни; в глазах Лихова мелькало зеленоватое — их бока и красное — плавники. То вдруг, распугав мелюзгу, в чаше проруби начинала делать гимнастику белобрюхая рыбища. Прорубь походила на кипящий котел, в котором уже варилась уха.

Ведь что происходит, когда в глухом озере по весне не хватает жизненно важного кислорода!

Вот тут-то и пригодился Родиону Аверьяновичу сачок, он потянулся с ним к проруби и обмакнул его, а когда тот расправился в «кипятке», рванул кверху и на себя. Один трепыхун-окунок попался. Для начала ничего и один. Где один, там и два, там и одиннадцать. И точно, одиннадцать окуньков вытащил, пока распугал остальных.

Теперь Родион Аверьянович висел над лункой, опустившись на корточки и просунув сачок в горловину проруби на всю толщину льда. Висел, не двигаясь, ожидал, когда в бутылочного цвета цилиндре появится рыбка и всплывет вверх, чтобы проклюнуть носиком поверхность воды; чуть проклюнула и, вильнув хвостиком, булькнула, так поднимай скорее сачок.

Все заплывали красноперые окуньки, одиночно и стайками. Но вот дно проруби притенило. Что там еще?.. Лихов наклонился пониже. А там, в ледяном колодце, несуразно перевертывалось этакое колесо, только с головой и хвостом. Лещ! Скорей, скорей поддеть его снизу сачком. И вы, вы, окунишки, давайте сюда за компанию!.. Всей компанией выволок из проруби и — на снег.

Уже к полдню у него был полный рюкзак рыбы. Родион Аверьянович взвалил его на хребет, можно отправляться домой. Спина сразу же взмокла, охолодала, а он шел, старался не замечать, на ходу прикидывал: засолить рыбку, отменная будет закусочка. Половину можно

оставить себе, половину вместе с ягодами послать Ленке.

И вдруг, как молния, мысль: «А откуда там лес?»

Но Лихов вроде бы выдержал неожиданный удар, стал думать о другом, об охоте: хорошо бы подстрелить глухаря — опять же для москвичей, — хотя бы рябчика и тетерку. Завтра же махнуть с кем-то на вездеходе в тайгу!

А мчался уже через час. Один. С ружьем, но без патронташа. По знакомой дороге на речку Яранку. И только, кажется, разлетелся — уже владения займищенского Матюхи, все еще обложенные сугробами, но с вытаявшими гребнями крыш. Остановливаясь в поселке не стал, сиганул мимо дома с топившейся печкой — из трубы валил дым — дальше к Яранке, она пряталась за перевалом.

С перевала просматривалась и сама речка под вздувшимся льдом, заштрихованная кустами, и заречная, прикрытая дымкой, сине-зеленая тайга. Бескрайнее море хвойной тайги! И это в тех местах за Яранкой, где, судя по карте угодий, серятина вырубок сорок третьего года. Родион Аверьянович не первый раз видел издали эти места, в зимнюю и в летнюю пору, и, случалось, дивился виденному: откуда там зелень? Но никогда, никогда его не осеняло мыслью пройти туда и проверить, что там за лес. Каждые пять лет проводила ревизию древостоя специальная комиссия лесхоза, но и она, выходит, смотрела сквозь стекла очков, сквозь бумагу. А вот новый человек, этот мальчишка, не только разобрался в бумагах, но и съездил за Яранку, и походил там по хвойному лесу, и убедился: строевой лес, лиственница и сосна, руби зимой и летом, трелюй, выполняя увеличенный план. Он, Лихов, там, в конторе, еще прекался с главным инженером, возражал по инерции, а сам строил предположения, сегодня же догадался: цельный, никогда не рубленный лес, только кем-то зачисленный в вырубленные. Лес не в самых удобных местах, по каменистому склону, изрезанному ручьями, от жилья по тем условиям, военного времени, не так близко. Лес с примесью гарей. Но лес, строевой лес! И вплотную к нему подходят дороги, как эта, поперек перевала, и стоят, ждут людей готовые дома, целый поселок. Чем же это не клад?!

Мост через Яранку был цел, невредим, стоял, прочно впаянный в лед и мерзлую землю; Родион Аверьянович проскочил по нему на машине, даже не оглянулся. По ту сторону речки вырубки не углубились в хвойную целину и на один километр, что-то остановило тогдашних вальщиков и трелевщиков, повияляла проложенная в ту пору и теперь вытяявшая дорога между пеньков и валежин и уткнулась в стоявший стеной желтый сосняк. Так и плавилась на весеннем солнце притемненная временем желтизна крупномерных стволов.

Родион Аверьянович оставил на каменистой дороге машину, сам полез в гущу сосняка, то и дело проваливаясь в заледенелый после оттепели и звенящий по-стеклянному снег. Чем глубже в лес, тем круче подъем, тем крупномерней деревья. Эта закомелистость неохватных стволов на подъеме, конечно, и остановила тогда, в суровую военную пору, здешних заготовителей, они перекочевали с лошадаками в другие деляны, где легче взять древесину. Тоже люди мараковали, выгадывали и наверняка не в свою личную пользу, хотели выполнить и перевыполнить план. А тягла настоящего не было... А паек — семьсот граммов черного хлеба и к ним брусника да клюква, если набрал их тут же, в лесу, речной окунь с сорогой, если наловил их в реке...

Нет, не мог строго судить тех людей, предшественников своих, Родион Аверьянович, если они и выгадывали в чем-то и как-то. Если даже и путали карты, налагая серую краску там, где оставалось зеленое. Он и сам, мало ли, старался выгадывать, чтобы выполнить и перевыполнить планы, не лез в кручи, обходил сырые низины, хотя там и был лес. Трудно, ох трудно без осмотрительности, без смекалки в тайге!

Он поднялся по перевалу до самого гребня, — лес, хвойный лес! И по другому склону перевала, и далее, за новым распадком было сине от нетронутого хвойного леса. И были тут пробиты дороги, витиеватые, узкие, но раздвинь их бульдозерами где надо, подсыпь гравия, и пойдут современные лесовозы, попрут пачки хлыстов. Это неплохо придумано без него, пройтись с новой техникой по старым местам.

Возвращаясь к вездеходу, Родион Аверьянович взял немного левее и, одолев каменную россыпь, угодил в густой и ровный сосняк, не старый еще и не молодой,

где каждое дерево стояло, вытянувшись в струну. И ни сучочка на каждом до самой вершинки! А площадь ровная, чистая. И уж он ли, директор леспромхоза, не видел в Причулымье лесов, сосновых, лиственничных, кедровых, но и он залюбовался участком, подумал, ну, предшественники, ну, обронили жемчужину, только ради нее можно взобраться на перевал. Пооглядывался кругом, не окажется ли хоть что-то, на что можно присесть, и услышал, чирикнула белка, да и засек ее глазом, она взвилась по сосновому гладкому стволу до сучков, там, устроившись в развилке, насторожилась.

— Ну, чего ты боишься? Кого? — укорял ее Лихов. — Разве я тебя, дурнушку весеннюю, трону? У тебя вон шерсть клочьями. Давай мирно и на равных поговорим. — Он отыскал-таки, на что можно присесть: на обтаявший камень, и устроился на нем, подложив под себя кожаные рукавицы с крагами. — Значит, весна пришла, начинаешь линять? А как зиму жила? Запасы хоть какие-то были? Хватило их?.. Да не пугайся ты, дурочка, осторожно спускайся пониже. Ну... ну... ну!.. — И белочка стала спускаться, вниз головой и как бы обвивая собой дерево.— Вот так, так! И придут сюда люди с пилами, с топорами, не бойся. Ну, вырубят какой лес, так не весь, останется для тебя, зато на вырубках вырастет новый, и в нем будет еще слаще еда. И для нашего брата, людей, польза от вырубок. — Теперь белочка перестала спускаться, она с любопытством выглядывала из-за ствола и внимательно слушала, и Родион Аверьянович продолжал говорить с пушей охотой и доверительностью: — Видишь ли, тут наши были уже, давненько, не взяли всего, мы придем добирать. Развернемся. Еще развернемся! По предложению одного из наших товарищей, молодого да раннего. А я на него, бывало, грешил. И об Алексее Васильевиче думал не то, пока не получил от него поздравительной телеграммы. Укорял Варвару несправедливо. Даже Фроську опять заподозрил было в подкопе, а она... вон на что решилась она!..



# Содержание

Жизнь первая . . . . .	3
Жизнь вторая . . . . .	72
Жизнь третья . . . . .	127
Жизнь четвертая . . . . .	177
Жизнь пятая . . . . .	226

**Леонид Леонтьевич  
Огневский**  
ПЯТЬ ЖИЗНЕЙ  
В ОДНОЙ  
*Роман*

Редактор **Г. Коледенкова**  
Художник **А. Ленятский**  
Художественный редактор **Е. Прохоров**  
Технический редактор **Л. Киселева**  
Корректоры **З. Князькова, О. Гнеушева**

ИБ № 1587. Сдано в набор 30.05.80. Подписано к печати 10.10.80. А09168. Формат 84×108/32. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 15,67. Тираж 75 000 экз.  
Заказ 3631. Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР  
121351, Москва, Г-351, Ярецевская, 4

390012, Рязань, Новая, 69/12  
Рязанская областная типография